



**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

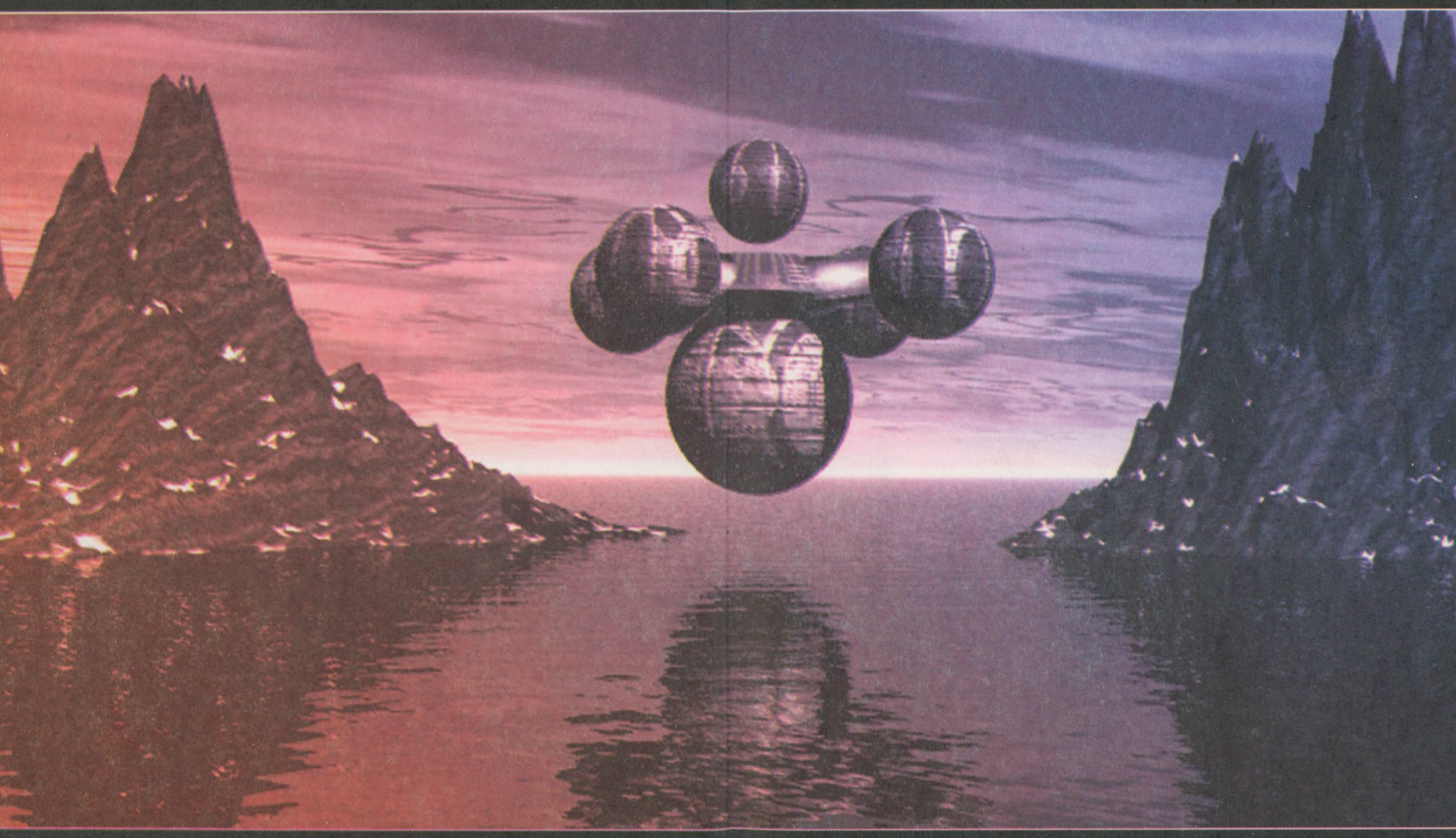
**ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»**

**ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»**



З В Е З Д Н Ы Й

Л А Б И Р И Н Т



З В Е З Д Н Ы Й



Л А Б И Р И Н Т



Л А Б И Р И Н Т

З В Е З Д Н Ы Й

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

**ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»**

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ • МОСКВА

2000

Серия основана в 1997 году

Серийное оформление Александра Кудрявцева

Художник Анатолий Дубовик

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству АСТ. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Рыбаков В.

Р93 Гравилет «Цесаревич»: Фантастический роман. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. — 352 с. — (Звездный лабиринт).

ISBN 5-17-004135-7

ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. Не в «королевстве датском», но в благополучной, счастливой Российской конституционной монархии. Что-то случилось — и продолжает случаться.

И тогда расследование нелепой, вроде бы немотивированной диверсии на гравилете «Цесаревич» становится лишь первым звеном в целой цепи преступлений. Преступлений таинственных, загадочных.

И тогда ответы на вопросы оказываются много невероятнее самих вопросов. И все сильнее трещат пока еще не очень видные швы России, в которой НЕ БЫЛО большевистского переворота. Только вот — НЕ БЫЛО ЛИ? Или?.. Ведь никто не знает, снится ли Чжуан-цзы, что он — бабочка, или бабочке, что она — Чжуан-цзы? Возможно, именно таков настоящий ПРИНЦИП БАБОЧКИ?

ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»

*Отец не почувствовал запаха ада
И выпустил Дьявола в мир.*

Альфред Гаусгоффер
Моабит, 1944

ГЛАВА ПЕРВАЯ

САГУРАМО

1

Упругая громада теплого ветра неторопливо катилась нам навстречу. Все сверкало, словно ликуя: синее небо, лесистые гряды холмов, разлетающиеся в дымчатую даль, светло-зеленые ленты двух рек далеко внизу, игрушечная, угловато-парящая островерхая глыба царственного Свети-цховели. И — тишина. Живая тишина. Только по-свистывает в ушах напоенный сладким дурманом дрока простор да порывисто всплескивает, волнуясь от порывов ветра, длинное белое платье Стаси.

— Какая красота, — потрясенно сказала Стася. — Боже, какая красота! Здесь можно стоять часами...

Ираклий удовлетворенно хмыкнул себе в бороду. Стася обернулась, бережно провела кончиками пальцев по грубой желтовато-охристой стене храма.

— Теплая...

— Солнце, — сказал я.

— Солнце... А в Петербурге сейчас дождь, ветер. — Снова приласкала стену. — Полторы тысячи лет стоит и греется тут.

— Несколько раз он был сильно порушен, — сказал Ираклий честно. — Персы, арабы... Но мы отстраивали. — И в голосе его прозвучала та же гордость, что и в сдержанном хмыке минуту назад, словно он сам, со своими ближайшими сподвижниками, отстраивал эти красоты, намечал витиеватые росчерки рек, расставлял гористый частокол по левому берегу Куры.

— Ираклий Георгиевич, а правда, что высота храма Джвари, — и она опять, привечая крупнокаменную шершавую стену уже как старого друга, провела по ней ладонью, — относится к высоте горы, на которой он стоит, как голова человека к его туловищу? Я где-то читала, что именно поэтому он смотрится так гармонично с любой точки долины.

— Не измерял, Станислава Соломоновна, — с достоинством ответил Ираклий. — Искусствоведы утверждают, что так.

Она чуть кивнула, снова уже глядя вдаль, и шагнула вперед, рывком потянув за собою почти черное на залитой солнцем брусчатке пятно своей кургузой тени. «Осто!..» — вырвалось у меня, но я вовремя осекся. Если бы я успел сказать «Осторожнее!» или тем более «Осторожнее, Стася!», она вполне могла подойти к самому краю обрыва и поболтать ножкой над трехсотметровой бездной. Быть может, даже прыгнула бы, кто знает.

— Ираклий Георгиевич, — не оборачиваясь к нам, она показала рукой вправо, вверх по течению реки Арагви, — а во-он там, за излучиной... какие-то руины, да?

— Развалины крепости Бебрисцихе. Там очень красиво, Станислава Соломоновна. И просто половодье столь любимого вами дрока, воздух медовый. Туда мы тоже обязательно съездим, но в другой раз. После обеда или даже завтра.

— Вряд ли после обеда, — подал голос я. — Стася все-таки с дороги.

К Джвари мы заехали по пути с аэродрома.

Стася обернулась и чуть исподлобья взглянула на меня широко открытыми, удивленными глазами.

— Я ничуть не устала. — Отвернувшись, добавила небрежно: — Разве что на вторую половину дня у тебя иные виды...

И снова, как все чаще и чаще в последние недели, я почувствовал себя словно в тысяче верст от нее, словно в тысяче лет от нее. Словно в могиле от нее.

Она неторопливо шла вдоль края площадки; мы волей-неволей за нею.

— И совсем они не шумят, сливаясь, — проговорила она, глядя вниз. — И не обнимаются. Обнимаются вот так. — Она мимолетно показала. Угловатыми змеями взлетели руки, сама изогнулась, запрокинулась пружинисто — и у меня сердце захолонуло, тело помнило. — А эти мирно, без звука, без малейшего всплеска входят друг в друга. Как пожилые, весь век верные друг другу супруги. Странно он видел...

— И монастырем Джвари не был никогда, — чуть улыбаясь, добавил Ираклий.

— Поэту понадобилось — значит, он прав, — сразу ответила Стася, не замечая, что атакует не столько реплику Ираклия, сколько предыдущую свою. — Если поэт

в придорожном камне увидел ужин — он сделает из него ужин, будьте покойны.

— Но ведь ужин будет бумажный, Станислава Соломоновна!

— Один этот бумажный переживет тысячу мясных.

С веселой снисходительностью Ираклий развел руками, признавая свое поражение, — как если бы в тупик его поставил ребенок доводом вроде «Но ведь феи всегда поспевают вовремя».

— Велеть сегодня разве бумажное сациви, — задумчиво проговорил он затем, — бумажное «ахашени»... — И подмигнул мне.

Стася, шедшая на шаг впереди, даже не обернулась. Ираклий чуть смущенно огладил бороду.

— Впрочем, боюсь, мой повар меня не поймет, — пробормотал он.

Как-то не так начинается эта долгожданная неделя, подумал я. Эта солнечная, эта свободная, эта беззаботная... Я прилетел вчера вечером, и мы с Ираклием почти не спали: болтали, смеялись, потягивали молодое вино и считали звезды, а я еще и часы считал — а утром гнали от Сагурамо к аэродрому, и я считал уже минуты и говорил: «Вот сейчас Стаська элеронами зашевелила», «Вот сейчас она шасси выпустила»; Ираклий же, барственно развалившись на сиденье и одной рукой небрежно покачивая баранку, хохотал от души и свободной рукой изображал все эти воздухоплавательные эволюции. И вот поди ж ты — пикировка.

Ираклий, видно, тоже ощущал натянутость.

— Я думаю иногда, — сказал он, явно стараясь снять напряжение и разговорить Стасю, — что российская куль-

тура прошлого века много потеряла бы без Кавказа. Отстриги — такая рана возникнет... Кровью истечет.

— Не истечет, — небрежно ответила Стася. — Мицкевич, например, останется как был. Его мало волновали пальмы и газаваты.

— Ах, ну разве что Мицкевич, — с утрированно просветленным видом закивал Иракий. Чувствовалось, его задело. — Как это я забыл!

— Конечно, в плоть и кровь вошло, — примирительно сказал я. — И не только в прошлом веке — и в этом... Считай, здесь одно из сердец России.

— Боже, какие цветы! — воскликнула Стася и кинулась с площадки вниз по отлогому склону, и длинное белое платье невесомым облаком заклокотало позади нее, словно она вздымала в беге пух миллионов одуванчиков. Изорвет по колючкам модную тряпку, подумал я, здесь не польские бархатные луговины... Но вслух не сказал, конечно.

— Серна, — ведя за нею взглядом, проговорил Иракий то ли с иронией, то ли с восхищением. Скорее всего и с тем и с другим.

Разумеется, зацепилась. Ее дернуло так, что едва не упала. Но уже мгновением позже любой сказал бы, что она остановилась именно там, где хотела.

— Признайтесь, Станислава Соломоновна, — крикнул Иракий, — в вас течет и капля грузинской крови!

Она повернулась к нам — едва не по пояс в жесткой траве и полыхающих цветах.

— Во мне столько всего намешано — не упомнить. — Голос звенел. — Но родилась я в Варшаве. И вполне горжусь этим!

— Действительно, — подал голос я. — И носик такой... с горбинкой.

— Обычный еврейский шнобель, — отрезала она и отвернулась, сверкая, как снежная, посреди горячей радужной пены подставленного солнцу склона.

— Ядовиток тут нет каких-нибудь? — спросил я, стараясь не выказывать голосом беспокойства.

Иракий искоса стрельнул на меня коричневым глазом и принялся перечислять:

— Кобры, тарантулы, каракурты...

— Понял, — вздохнул я.

Некоторое время мы молчали. День раскаленно дышал, посвистывал ветер. Иракий достал сигареты, протянул мне.

— Спасибо, на отдыхе я не курю.

— Я помню. Просто мне показалось, что сейчас тебе захочется. — Он вытряхнул длинную, с золотым ободком у фильтра, «Мтквари». Ухватив ее губами, пощелкал зажигалкой. Жаркий ветер сбивал пламя. Нет, занялось.

— От чего мы действительно можем кровью истечь, — сказал я, — так это от порывистости.

— Это как?

— Я и сам толком не понимаю. Навалиться всем миром, достичь быстренько и почить на лаврах. Только у нас могла возникнуть поговорка «Сделал дело — гуляй смело». Ведь дело, если это действительно дело, занятие, а не кратковременный подвиг, сделать невозможно, оно длится и длится. Так нет же!

Иракий с сомнением покачал головой:

— Нет, нет, даже язык это фиксирует. Возьми их «миллионер» и наше «миллионщик». Миллионер — это, судя по окончанию, тот, кто делает миллионы, тот, кто делает

что-то с миллионами. А миллионщик — это тот, у кого миллионы есть, и всё. В центре внимания не деятельность, а достигнутое неподвижное наличие.

Иракий затынулся, задумчиво щурясь на восьмигранный барабан храма. Казалось, барабан плавится в золотом огне. Страхивая пепел, легонько побил средним пальцем по сигарете. Вновь покачал головой.

— Во-первых, мы говорили о российской культуре, а ты говоришь о русском национальном характере. Уже подмена. А во-вторых, от чего характер действительно может истечь кровью — так это, прости, от какой-то упоенной страсти к самобичеванию. Даже поводы придумываете, как нарочно, хотя они не выдерживают никакой критики. Если следовать твоей логике, можно подумать, что «погонщик» — это тот, у кого есть погоны на плечах, — он легонько хлопнул меня по плечу, обтянутому безрукавкой, — а отнюдь не тот, кто скотину гонит.

— Уел, — сказал я, помолчав. — Тут ты меня уел. И где! В стихии моего языка!

— Свой язык слишком привычен. Бог знает, что можно придумать, если комплекс заедает. Со стороны виднее. — Он опять затынулся и опять искоса взглянул на меня, на этот раз настороженно: не обидел ли. — Хотя что значит со стороны... Одной ногой со стороны, другой — изнутри. Как многие в этой стране.

Теперь уже я коснулся ладонью его плеча.

— Послушай, Иракий. Вон те горы...

— Слева?

— Да, те, куда Тифлисский туннель уходит...

— Послушай, Александр, — в тон мне проговорил он. — Когда царь Вахтанг Горгасал, утомившись на охоте, спешился у незнакомого источника и решил омыть

лицо, он опустил в воду руки и удивленно воскликнул: «Тбили!» («Теплая!»). Оттуда и пошло название города. Запомни, пожалуйста.

— Прости. Хорошо, но почему ты мне пеняешь, а в Петербурге и где угодно слышишь по десять раз на дню «Тифлис» и — ни звука?

Он бросил окурок и тщательно вбил его каблуком в сухую землю, чтобы и следа его не осталось.

— Потому что чужие его пусть хоть Пном-Пнем называют. Ты же не чужой. Понял?

— Понял.

— Будешь еще говорить «Тифлис»?

— Амазе лапаракиц ки ар шеидзлеба!

— И речи быть не может... — машинально перевел он; у него сделался такой оторопелый вид, что я засмеялся. — Ба! Ты что, дорогой, грузинский учишь? И произношение как поставил!

— Увы, обрывки только, — признался я. — Разговорник полистал перед отлетом. А было бы время да способности — все языки бы выучил, честное слово. Приезжай хоть в Ревель, хоть в Верный — и себе приятно, и людям уважение. Но...

— Лопнет твоя головушка от такого размаха, — ухмыльнулся Иракий. — Вот действительно русский характер. Уж если языки — то все сразу. А если не все — то ни одного. В лучшем случае — от каждого по фразе. Имперская твоя душа... Побереги себя.

— Дидад гмадлобт*.

— Не стоит благодарности.

— Я вот что хотел спросить. В те горы как — погулять можно пойти? Тропки есть? Или там слишком круто?

* Большое спасибо (*груз.*).

Ираклий неторопливо перевел взгляд на Стасю. Она была уже шагах в пятидесяти.

— Да, да, я ее имею в виду.

— Ну, Станислава Соломоновна-то, я вижу, везде пройдет. — Он отступил от меня на шаг и с аффектированным скепсисом оглядел с головы до ног. Я улыбнулся.

— Обижаете, друг Ираклий. Конечно, после тридцати я несколько расплылся, но в юные лета хаживал и по зеркалу Ушбы, и на пик Коммунизма...

— О, ну конечно! Как я мог забыть! Чтобы правверный коммунист не совершил восхождения на свою Фудзияму!

— Дорогой, при чем тут Фудзияма! — начал кипятиться я. — Просто трудный интересный маршрут! И так уж судьбе было угодно, чтобы большинство ребят, залезших туда впервые и давших в двадцать восьмом году название, принадлежали к нашей конфессии!

Он засмеялся, сверкая белыми зубами из черной бороды.

— А тебя, оказывается, тоже можно вывести из себя, — сказал он. — Признаться, глядя, как с тобой обращаются некоторые здесь присутствующие, я думал, ты ангел кротости.

Я отвернулся, уставился на Мцхету. Пожал плечами.

— Тебе и тяжело так оттого, что у тебя всегда всё всерьез, — негромко сказал Ираклий. — И у тех, кто с тобой, — всё всерьез.

Я пожал плечами снова.

— А как Лиза? — спросил он.

— Все хорошо. Провожала меня вчера чуть не до трапа.

— Потому и летели разными рейсами?

— Ну, мы не говорили об этом вообще, но, наверное, Стася была уверена, что меня будут провожать. Она сама придумала себе какую-то отсрочку, чтобы лететь сегодня... даже не сказала какую.

— А Поленька?

— И Поленька провожала. Всю дорогу рассказывала сказку про свой остров, уже не сказку даже, а целую повесть. На одной половине живут люди, которые еще умеют немножко думать, но только о том, где бы раздобыть еду, а на другой — которые думать уже совсем не умеют. «Почему?!» — «Папа, ну как ты не понимаешь? Ведь Мерлин дал им вдоволь хлеба, и теперь они думать совсем разучились, потому что весь остров долго голодал и думать люди стали только о еде!» Видишь... Это уже не сказка, это философский трактат уже.

— Ей одиннадцать?

— Тринадцать будет, Иракий.

— Святой Георгий, как время летит. А Лиза... знает?

— Иногда мне кажется, что догадывается обо всем и махнула рукой, ведь я не ухожу. Вчера так смотрела... И так спокойно: «Отдыхай там как следует, нас не забывай... Ираклию кланяйся. Ангел тебе в дорогу». Иногда кажется, что догадывается, но гонит эти мысли, не верит. А иногда — что и помыслить о таком не может, а если узнает, просто убьет меня на месте, и правиль...

— Ш-ш.

Подходила Стася — неторопливо, удовлетворенно; громадная охапка цветов — как младенец на руках. Богоматерь. И один, конечно, воткнула себе повыше уха — нежный бело-розовый выстрел света в иссиня-черных, чуть вьющихся волосах. Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце испечет голову...

— Какой красивый цветок. И как идет тебе, Стася. Как он называется?

— Ты все равно не запомнишь, — ответила она и, не останавливаясь, прошла мимо нас, вдоль теневой стены храма к тропинке, ведущей на спуск.

Ираклий, косясь на меня, неодобрительно, но беззвучно поцокал языком ей вслед. Я со старательной снисходительностью улыбнулся: пусть, дескать, раз такой стих напал. Но на душе было тоскливо.

— Всякая женщина — это мина замедленного действия, — наклонившись ко мне, тихонько утешил Ираклий. — Никогда не знаешь, в какой момент ей наскучит демонстрировать преданность и захочется продемонстрировать независимость. Но это ничего не значит. Так... — Он усмехнулся. — Разве лишь ногу оторвет взрывом, и только.

Я смолчал. Преданность на людях Стася не демонстрировала никогда.

Перед спуском она обернулась, удивленно глянула на нас чуть исподлобья.

— Что же вы? Идемте.

Мы пошли. Младенец колыхал сотней разноцветных головок.

Напоследок я обвел взглядом пронзительно прекрасный простор внизу — еще шаг, и вершина, на которой стоял Джвари, выгибаясь за нашими спинами, скрыла бы долину. Сердце защемило от любви к этому краю. Разве любовь может быть безответной? Ираклий... его друзья... «Мои друзья — твои друзья!» Откуда же тогда это черное чувство, застилающее ослепительный свет южного дня, — чувство, что эта красота уже не моя, что я вижу ее в последний раз? Кто надышал на меня эту

тму? Странно, но я уверен: она откуда-то извне, из неведомых мне теснин, она — чужая...

Мы начали спускаться. Навстречу нам, вываливаясь из громадного туристического автобуса, плотной вереницей поднимались увешанные видеоаппаратурой люди, послышалась многоголосая испанская речь, и я порадовался, как нам повезло — мы были у Джвари только втроем.

Авто Ираклия дожидалось на обочине, там, где мы его оставили час назад, — роскошный белоснежный «Руссо-Балт» типа «ландо», с откидным верхом. Верх убран, дверцы — настежь, ключ зажигания с янтарным брелком в виде головки Эгле Королевы ужей — наверняка подарок какой-нибудь прибалтийской красавицы — вызывающе доверчиво торчит из приборной доски. Ираклий весь в этом. Впрочем, вероятно, его авто знают в округе.

— Ираклий Георгиевич, можно, я сяду рядом с вами, впереди?

— Почту за честь, Станислава Соломоновна.

Она протянула мне младенца.

— Подержи ты, пожалуйста. Здесь не помещается, закрывает руль. А просто на сиденье кинуть — растреплется.

— Конечно, подержу, какой разговор.

Ни с одним человеком нельзя повстречаться дважды, думал я, одиноко усаживаясь на просторное заднее сиденье. Пока человек жив, он меняется ежесекундно, пусть даже сам до поры того не замечает — и вот проходит неделя, пусть даже пять дней, и он иной, ты встречаешься уже не с тем, с кем расстался; тот же рост у него, те же привычки и пристрастия, но сам он — иной, он тебя не помнит; и — все сначала. И ведь со мною тот же ад; ведь и я живу и, значит, меняюсь ежесекундно. Так нечестно! Не хочу!

А притворяться прежним собой, чтобы не поранить того, с кем встретился после пятидневной разлуки, — честно?

Значит, порядочный человек должен быть нечестным, чтобы скомпенсировать нечестность мира. Ведь это подлый, подлый мир, коль скоро он так устроен: бережный — лжет, честный — чуть что, рубит наотмашь...

Горячий ликующий ветер, огибая ветровое стекло, бил в лицо. Разливы цветов на обочинах мелькали и сметали друг друга. Шипя, дорога танцевала навстречу, как змея.

Прекрасный нечестный мир.

Ираклий лихо затормозил у самых ворот своей сагурамской дачи. Выскочил из машины, галантно распахнул дверцу со стороны Стаси.

— Прошу.

Потом, ухмыляясь, открыл дверцу мне. С букетом я был совершенно беспомощен.

— Прошу и вас.

Навалившись обеими руками, сам распахнул перед нами створку ажурных ворот. Полого вверх, в темную глубину сада, уходила дорожка.

— Добро пожаловать в приют убогого чухонца.

Забавно, он уже не в первый раз называет так свое родовое гнездо. Я никогда не решался спросить, в чем тут дело. Подозреваю, игра сложилась уже давно, благодаря многолетней фамильной дружбе князей Чавчавадзе с баронами Маннергейм. Корни ее уходят годы, пожалуй, в тридцатые. Вот и Ираклий в свое время долго служил вместе с Урхо. Я с Урхо никогда не был особенно близок, и никогда мне не доводилось бывать в его особняке под Виипури, но, думаю, случись такое, у ворот он непременно пригласил бы войти в бедную саклю, при-

лепившуюся к крутому склону соплеменных гор. Или что-нибудь в этом роде.

Наконец-то тень. Только в саду я понял, как, при всей своей любви к солнцу, с непривычки устал от него. Настоящей прохлады не было, однако и здесь сухой, прогретый воздух томно играл листвой, кольхался среди деревьев, причудливо катая волны запахов от одного к другому, так что, проходя мимо олеандра или жасмина, мы вдруг ощущали на миг аромат глицинии, а возле глицинии вдруг проносились струйка тягучей патоки дрока. Хотелось сесть на землю, привалиться спиной к стволу хотя бы вот этой фиштанки, зажмуриться и дышать, дышать.

— Хочу обратить ваше внимание, Станислава Соломоновна, — древний источник. Он волшебный. Еще триста с лишним лет назад люди заметили, что каждый глоток снимает один грех.

— О-о! У меня как раз такая жажда! Нужно пить и пить!

Она стремительно подбежала к высокой тумбе красного кирпича, в нише которой журчала чуть слышно кристально чистая влага. Стараясь стоять подальше, чтобы не забрызгать платье, и даже отведя одну руку за спину, ладошкой другой она черпала и пила, пила. Не простудилась бы... Только что с солнцепека, а горлышко-то у нее слабенькое, я знал.

Отвернулась, выпрямилась, отряхивая руку. Лицо — счастливое, глаза сверкают, и чуть вздрагивает безымянный цветок в черных кудрях. И влажно поблескивает подбородок.

— Вкусная! И двадцать семь грехов как не бывало! А можно еще, он не обмелеет?

— Сколько вашей душе угодно, Станислава Соломоновна. Я вижу, вы великая грешница. Или решили заpastись на будущее? Только не простудитесь.

Он будто читал мои мысли.

Может, и читал слегка. Друг.

— Александр тоже вчера набросился было. — Ираклий лукаво посмотрел на меня и подмигнул. — Но потом быстро понял, что есть напитки куда более целебные.

Стася совсем по-детски вытягивала шею, чтобы с подбородка не капнуло на платье.

— Еще пятнадцать. — Опять повернулась к нам, вытирая улыбающиеся губы тыльной стороной ладони. — А? Нет, целебнее нет.

— А молодые вина? — явно оскорбился Ираклий.

— Спасибо, Ираклий Георгиевич, но это не для меня. С нею что-то случилось?

Она вдруг подошла ко мне. Взглянула чуть исподлобья.

— Здесь можно принять душ, Саша? Я успею до обеда?

— Разумеется. Сейчас я провожу.

Наконец-то что-то родное в интонации. И тоски — как не бывало, лишь удивление: что за тьма мне пригрезилась, из какого ящика Пандоры? Ведь все хорошо, все чудесно. Покой, солнце. Дышать...

— Как красиво здесь, — сказала она.

— Да. Я знал, что тебе понравится. Идем.

— Знаешь, что я подумала там, у Джвари? Совершенно необходимо иногда увидеть воочию те прекрасные места, о которых до этого только читал и только от поэтов знал, как они прекрасны. Тогда сразу становится ясно, что и остальное прекрасное, о чем мы читаем — совесть, преданность, любовь, — тоже не выдумка.

— А тебе иногда кажется, что выдумка?

Она пожала плечами:

— Как и тебе.

— Ну не-ет...

Она усмехнулась с грустным всепрощающим превосходством.

— Кому-нибудь другому рассказывай. Я-то уж знаю.

Старый дядя Реваз, будто спрыгнувший с картин Пиромани, сидел в плетеном кресле у входа, в тенечке, обмахиваясь последним номером «Аполлона», и явно поджидал нас — увидел и сразу встал.

— Гамарджобат, мадам! Гамарджобат, батоно княз!

— Добрый день, дядя Реваз.

«Реваз» и «княз», благодаря его произношению, составили, на мой взгляд, идеальную рифму. Я коротко покосился на Стасю — заметила ли она? Не подвигнет ли эта деталь, например, на эпиграмму? Мне всегда было ужасно приятно и даже лестно, если в ее стихах я угадывал отголоски впечатлений, коим я был пусть не виновником, но хотя бы свидетелем. Нет, ее лицо оставалось отстраненным.

— Это Станислава Соломоновна, большой талант, — проговорил я. — Это Реваз Вахтангович, большая душа.

— Здравствуйте, Реваз Вахтангович.

— Заходите дом, прошу. Дом прохладно. — Он говорил с сильным акцентом, но мне и акцент был мил, и акцент был пропитан солнцем. Сделал шаг в сторону, пропуская Стасю к ступенькам, и, когда она прошла, наклонился ко мне. Сказал вполголоса: — Вам депеша пришел, батоно. В конверт. — И, сунув руку в карман широких штанов, добыл конверт. Протянул мне.

— Спасибо, дядя Реваз. — Я оттопырил правый локоть, а дядя Реваз сунул мне конверт под мышку — я прижал его к боку и, по-прежнему с врученным мне Стасей стоглавым младенцем на руках, вошел в дом.

Здесь, в действительно прохладной прихожей, Стася и княгинюшка Тамрико уже ворковали, успев познакомиться без меня.

— Мужчины всегда не там, где надо, спешат и не там, где надо, опаздывают, — сказала княгинюшка, заведя меня. — Я уже все знаю — и как нашу гостью зовут, и про Джвари, и что нужен душ. Вы свободны, Саша.

Да. Стася умела быть стремительной, мне-то довелось это испытать.

— Тогда я действительно поднимусь на минутку к себе и хоть руки освобожу.

— Я велю принести вам вазу с водой. — Княгинюшка взглядом опытного эксперта смерила букет. — Две вазы.

— Ты положи его пока аккуратненько, — сказала Стася, стоя ко мне спиной. — Я приду — разберусь.

Я свалил букет на стол, рванул конверт по краю. Конечно, бумага раздернулась не там, где надо, — пальцы спешили и волновались; бросающаяся в глаза надпечатка «Князю Трубецкому А. Л. в собственные руки» с хрустом лопнула пополам.

Так я и знал, сплошная цифирь. Несколько секунд, кусая губы, я бессмысленно смотрел на выпавший из конверта маленький твердый листок с шестью колонками пятизначных чисел, потом встал. Открыл шкаф; из бокового кармана пиджака достал комп-шифратор, оформленный под записную книжку. Вложил в щель листок и надавил пальцами на незаметные точки гнезд опознавателя; пару секунд опознаватель считывал мои отпечатки пальцев, индекс пота... Потом на темном табло брызнули мельтешащие бестолковые буквы и, посуетившись мгновение, сложились в устойчивую строку: «Получени-

ем сего надлежит вам немедля вернуться столицу участия расследовании чрезвычайной важности. Товарищ министра государственной безопасности России И. В. Ламсдорф».

Я отложил дешифратор. Вне контакта с моей рукой он сразу погасил текст. Я поднялся и медленно подошел к распахнутому в сад окошку. Оперся обеими руками на широкий подоконник. Солнце ушло с него, наверное, с полчаса назад, спряталось за угол дома, но подоконник до сих пор был теплее, чем руки. Отсюда, со второго этажа, поверх сверкающей листвы, долина открывалась на десятки верст — едва ли не все главные земли древнего Картли.

Вот тебе и отдохнул.

Вот тебе и побыл с любимой в раю.

Упоительный запах цветущего под окном смолосемянника сразу стал не моим. Далеким, как воспоминание.

Нет, все-таки надо закурить. Я закрутился по комнате в поисках сигарет; обнаружил. Снова подошел к окну и дунул мерзким дымом в благоухающий простор. Слышно было, как внизу, за углом, перешучиваются по-грузински мальчишки, волокущие багаж Стаси из авто в дом.

Милейший Иван Вольфович! Чтобы он отбил мне такую шифровку, должно было случиться нечто действительно выходящее из ряда вон. Ведь мы виделись с ним только вчера поутру, и он, теребя свои старомодные бакенбарды, взбивая их указательным пальцем, так откровенно, так по-домашнему завидовал мне. «Какие места! Какой язык! Цинандали, кварели, киндзмараули... каждое слово исполнено глубочайшего смысла! Отдохните, батенька, отдохните. Имеете полное право. Дело тарбагатайских наркобаронов съело у вас полгода жизни».

И вот извольте. «Получением сего...»

Нет, дудки. Могли же мы задержаться на прогулке до вечера! А дядя Реваз мог, например, уснуть, нас не дождавшись. Да мало ли как что могло! До утра я с места не сдвинусь!

Но все же — что стряслось?

Не хочу, не хочу думать об этом! Уже забыл!

А ведь что-то страшное... И завтра ли, послезавтра — мне опять в это лезть с головой.

— Друг Александр! — зычно крикнул Иракий снизу. — Стол накрыт!

2

— Ты устал, любимый.

— Нет.

— Устал. Целуешь через силу.

— Нет, Стася, нет.

— Я же чувствую.

— Ты уже не хочешь?

— Всегда хочу. Всегда лежала бы так. Но ты отдохни чуточку.

Как нежно произнесла она это «чтч». Варшава.

— Я никуда не денусь, Саша.

— Я денусь.

— Ты денешься. А я не денусь. Когда понадобится — всегда буду под рукой.

Она не лгала. Но и не говорила правду. Она просто — говорила.

Села. Спустила ноги на пушистый, во весь пол, ковер. Озабоченно посмотрела в сторону окошка. Простор подергивался медовой дымкой.

— Как ты думаешь, не слышно было, как я тут повизгивала?

— Мягко сказано... — пробормотал я.

— Я же соскучилась, — объяснила она и встала. Медленно подошла к окну. Я смотрел. Она чувствовала мой взгляд, конечно, и не оборачивалась — неторопливо шла и давала мне любоваться вволю. Почти танцевала. Упругая, гибкая, смуглая — на миг я показался себе факиром с флейтой, заклинаящим из последних сил... кого?

— Вечерет, — сказала она. Помолчала; я любовался. — Сейчас мы к Бебрисцихе уже не поедем, конечно.

— У меня и впрямь оказались иные виды на вторую половину дня.

Она не ответила. Наверное, уже не помнила этих своих слов.

— Но вот завтра с утра, — мечтательно произнесла она, помедлив. — Подумать только, целую неделю будем здесь! Я так благодарна тебе.

И вдруг, вскинув руки, закружилась по комнате. Иссиня-черные волосы разлетелись стремительной каруселью, грудь искусительно трепетала. Уже опять хотелось стиснуть ее ладонью.

— Как хорошо! Как хорошо! Я счастливая!

«Получением сего...»

Уже не помню! Не помню!

— Чудесные букеты ты сделала.

— Что-что, а уж это я умею. — Она повернулась ко мне и чуть удивленно глянула исподлобья. Будто для нее сюрпризом оказалось: я смотрю на нее, а не на букеты. — Как ты смотришь...

— Как?

— Хорошо. Я на Лизу похожа?

Горло перехватило. Я сглотнул.

— Совсем не похожа.

— А в постели похожа?

— Совсем не похожа.

— Ты по-разному чувствуешь со мной и с нею?

— Совсем по-разному.

— Не все равно?

— Нет.

— Ты был с ней счастлив, пока мы не налетели друг на друга?

— Я и сейчас с ней счастлив. И с тобой счастлив.

Она улыбнулась чуть презрительно.

— Тебе надо было принимать магометанство, а не коммунизм.

— Тогда я не смог бы пить вина.

— Ой, дура я дура! — Она всплеснула руками. — Лезу с разговорами, а мужик, естественно, еще дернуть хочет! Давай я накину что-нибудь и сбегая вниз, там на столе оставалась бутылка.

— Ты слишком заботлива.

— Не бывает «слишком». Еще древние вещали: благородная женщина после близости должна заботиться о возлюбленном, как мать о ребенке, — ибо женщина в близости рождается, а мужчина умирает. И спортсменами подмечено: после этого дела показатели у женщин улучшаются, а у мужчин — фюить!

— Постараемся выжить, — ответил я и, сунув руку в щель между изголовьем постели и стенкой, достал почти полную бутылку «ахашени». — Простите, Иван Вольфович, ничего не помню.

Стася засмеялась.

— Будешь?

— Нет. Я от тебя пьяна, этого достаточно.

Я налил себе пару глотков в бокал, выпил. Спросил осторожно:

— Ты в порядке?

— В абсолютном. Да не тревожься ты, просто здоровый образ жизни. Я и курить перестала.

— Да что стряслось?

Она засмеялась лукаво. Погладила один из букетов. Ей действительно нравилось, как я на нее смотрю, и она прохаживалась, прогуливалась по комнате — от шкапа к стене с кинжалами и саблями, от сабель — к стене с семейными фотографиями, потом к огромной напольной вазе... Из волос над ухом, подрагивая, так и торчал забытый стебелек анонимного цветка, голый и сирый, ему нагота не шла; все лепестки мы ему перемолотили о подушку.

— Ты же меня так упрашивал! Такой убедительный довод привел!

— Какой?

— Не скажу.

— Полгода как отчаялся упрашивать...

— До меня, как до жирафа. Не тревожься, Саша. Просто я подумала: я на четыре года старше нее, надо очень за собой следить. Хоть паритет поддерживать. — И вдруг высунула на миг кончик языка. — Я ведь даже не знаю, как она выглядит. И Поленька. Ты бы хоть фотографии показал.

— Зачем тебе?

— Родные же люди.

— Не будь это ты, я решил бы, что женщина безмерно красуется.

— Это значит, я безмерно красиво чувствую. А чувствую я, что безмерно люблю тебя.

— С тобою трудно говорить. Ты так словами владеешь...

— Ты владеешь мной, а я владею словами. Значит, ты владеешь словами через наместника. Царствуй молча, а говорить буду я.

Присела на подоконник, голой спиной в залитый желто-розовым цветом сад.

— Слова... Они, окаянные, просто созданы для обмана. Люди очень разные, у каждого — своя любовь, своя ненависть, свой страх. А слово на всех одно и то же. Тот, кто произносит, подразумевает совсем не ту любовь и не тот страх, который подразумевает, услышав, собеседник. Поэтому лучше уж вообще молчать на эти темы... или говорить лишь для того, чтобы порадовать того, кто рядом... или, если всерьез, объяснять именно свою любовь. Ведь для одного этого слова нужно целый роман, целую поэму написать. Я вот, пока летела, — она улыбнулась, — два стихотворения про тебя сочинила. Правда, то, что они про тебя, никто не поймет.

— А я? — глупо гордясь, спросил я.

— А ты, — она опять улыбнулась, — и подавно.

— Прочти.

— Нет.

— Прочти.

— Нет, нет. Не хочу сейчас. Ведь чем больше разжевываешь свое понимание, тем дальше уходишь от чужого. Зачем мне от тебя удаляться? Вот ты, рядом. Это не так уж часто бывает. Скоро опять усвищешь куда-нибудь, а тем временем я опубликую — тогда и прочтешь. — Она поставила одну ногу на подоконник, обхватила ее руками. — Какой воздух чудесный идет снаружи. — Глубоко вздохну-

ла. — Мы еще погуляем перед ужином, правда? И из источника попьем.

— Обязательно. И перед ужином, и перед сном.

— Перед сном это особенно необходимо.

«...Немедля вернуться в столицу...»

Я налил себе полный бокал и выпил не отрываясь. Из бокала будоражаще пахло виноградниками, плавающими в солнечном океане.

— На аэродром ты ехал из дома?

— Дом... — Солнечный океан хлынул в кровь. — Дом — это место, где можно не подлаживаться. Не контролировать слова. Быть усталым, когда устал, быть молчаливым, когда хочется молчать, — и при этом не бояться, что обидишь. Не притворяться ни мгновения — ни жестом, ни взглядом...

— Так не бывает.

— Наверное. Поэтому у меня никогда не было дома.

— А может, просто тебя никогда не было дома?

— Удачный апперкот.

— Саша, я не хотела обидеть! Ты лучше всех, я-то знаю! Просто я очень хочу быть твоим домом... и мне кажется, у меня бы получилось. Но как подумаю, что ты будешь заходить домой в гости два-три раза в месяц, а в остальное время будешь в другом... а может, и в третьем — то тут, то там дома будут появляться и осыпаться с тебя, как листья, засыхающие от недостатка тебя... Ох, нет, не надо. Все ерунду я говорю. Капризничая. Не слушай. Это потому, что я расслабилась, уж очень мне хорошо. А если бы я вдруг от тебя родила, ты бы меня бросил?

— Нет, конечно, — медленно сказал я.

— Нет? Правда нет? — Голос у нее зазвенел, и осветилось лицо.

— Глупое слово — бросил. Гранату бросают... камень. А ты же — моя семья. Был бы с вами, сколько бы получалось. Но, видишь ли... уже переломленный. Потому что уже никогда не чувствовал бы себя порядочным человеком.

— А сейчас чувствуешь?

Это была пощечина. Пощечина ниже пояса, так умеют только женщины. Да, не мне говорить о порядочности. С усилием, будто выгребаящий против мощного течения катерок, я отставил бокал подальше; в райской тишине резко ударило стекло.

— Не очень. Но откуда доставляю тебе радости больше, чем горя, — ты сама так говоришь...

— Да, конечно, да! То — что?

— То это имеет хоть какой-то смысл.

— Но ведь тогда у меня будет еще больше радости, Саша!

— А у него? Я же не смогу уделять ему столько внимания, сколько... он заслуживает.

— Мне ты тоже не всегда уделяешь столько внимания, сколько я заслуживаю. Но кто скажет, что я у тебя расту плохая?

Стихия. Слова — не более чем летящие по ветру листья. Если пришел ураган — листья должны срываться и лететь, но их полет ничего не значит. Он значит лишь, что пришел ураган. Ураган уйдет — они осядут. И дурак, нет, садист тот, кто, подойдя к плавающему в грязи листочку, начнет корить его: «Ведь ты уже летал, ну-ка, давай еще, это так красиво!»

Значит, действительно честнее молчать, не пуская на ветер слов, и молча делать то, что хочешь; просто стара-

ясь по возможности не повредить при этом другим, тоже молча?

— Стаська, ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Конечно, не понимаю, мое дело бабье. Но ты-то, самец, положи руку на сердце — неужели тебе не будет хотя бы лестно?

Я только головой покачал.

— Натурально, если бы без ссор и дрызг — я бы ужасно гордился.

Встала с подоконника, улыбаясь. Неторопливо подошла ко мне.

— Против твоей воли я ничего никогда не сделаю.

Присев у меня в ногах, наклонилась. Завороженно смотрела, как я, вздрагивая, набухаю под ее взглядом, — и сама безотчетно вздрагивала вслед за мною.

— Ну, вот, — сказала почти благоговейно, — ты снова меня хочешь.

Коснулась кончиками пальцев. Потом, встав надо мной на колени, коснулась грудью. Потом губами. Снова отстранилась, вглядываясь. Распущенные волосы свешивались почти до простыни.

— Он мне напоминает птенца какой-то хищной птицы. Требовательный и беззащитный. Чуть подрос — а так и норовит уже клеваться! А ведь сам, один, ничего не может, нужно прилетать, из любого далека прилетать к нему и кормить, кормить...

Подняла лицо. Глаза сияли.

— Я люблю тебя, Стася, — сказал я.

— Я буду прилетать. Из любого далека, хоть на день, хоть на час, на сколько скажешь. Буду, буду, буду! — Провела кончиками пальцев по полуоткрытым, запекшимся от поцелуев губам. — Хочешь сюда?

— Нет. Лучше подари самцу самку.

Стремительной гибкой молнией она повернулась ко мне спиной, упала на бок — только упруго вздрогнул матрац. Колочий вихрь волос ожег мне щеку.

— Так?

3

К программе «Время» мы опоздали буквально на минуту. Когда, шкодливо досмеиваясь и дошептываясь, мы спустились в гостиную, Ираклий и Тамрико уже сидели перед телевизором, и я сразу понял, что произошло нечто чудовищное. Ираклий обернулся на звук шагов, лицо его было серым.

— ...В десять семнадцать по петербургскому времени, — мертвым голосом сообщал диктор. — Гравилет «Цесаревич» следовал с базы Тюратам, где великий князь Александр Петрович находился с инспекционной поездкой, в аэропорт Пулково. Обстоятельства катастрофы однозначно свидетельствуют о том, что имел место злой умысел...

— Боже! — вырвалось у княгинюшки.

Я помертвел. Я все осознал мгновенно — даже то, что ни спасения, ни отсрочки нам со Стасею нет. Я взглянул на нее — она слушала, вытянув шею, как давеча у источника, и лоб ее был страдальчески сморщен. Я достал из кармана пиджака шифратор с депешей, коснулся пальцами гнезд и показал ей табло. Секунду она непонимающе вчитывалась, потом с ужасом заглянула мне в глаза.

— Это я получил днем, — сказал я. — Думал до завтра потянуть.

Она взяла мою руку с шифратором, поднесла к губам и поцеловала.

— Спасибо за сегодня.

Я подошел к телефону. Поднял трубку, стал нащелкивать номер. У меня за спиной Стася что-то объясняла хозяевам — я не слышал.

— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Петербург? Двадцать два пятьдесят?

— Успеем, — отрывисто произнес Ираклий. — Докачу.

— Забронируйте одно место...

— Два! — отчаянно крикнула Стася.

Я растерянно обернулся к ней.

— Стасик, может, отдохнешь еще на солнышке...

Она даже не удостоила меня ответом. Отвернулась даже.

— Два места. Кажинская Станислава Соломоновна. Трубецкой Александр Львович. Нет, не Леонович, просто Львович. За полчаса, понял. Гмадлобт дахмаребисатвис*.

Положил трубку. Она едва не выскользнула из потных пальцев.

Ираклий подошел ко мне. Веско положил ладони мне на плечи и сильно встряхнул. Он как-то сразу осунулся.

— Найди их и убей, — с жесткой хрипотцой сказал он.

— Постараюсь, — ответил я.

— Я кофе сварю вам, — тихо сказала Тамрико.

Уже в авто, посреди звездной благоуханной ночи — тоненький серпик плыл так спокойно, — она спросила, когда Ираклий отошел закрыть ворота:

— Лиза будет тебя встречать?

— Нет. Они знать-то не знают.

— Хорошо. Значит, сможем еще там поцеловаться на прощание.

* Благодарю за помощь (груз.).

— Я приду, Стася! — Горло у меня перехватило от нежности и сострадания. Я знал, это неправда, никто ни к кому не может прийти дважды. — Я приду!

— Я твой дом, — ответила она.

В ласковой темноте то тут, то там зыбко позванивали цикады.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕТЕРБУРГ

1

Сеть питаемых гелиобатареями орбитальных гравитаторов за какой-нибудь час протащила семисотместную громаду лайнера по баллистической кривой от Тбилиси до Петербурга.

В пути мы почти не разговаривали, лишь обменивались какими-то проходными репликами. «Хочешь к окну?» — «Все равно темно». — «А у тебя лицо успело подзагореть, щеки горят». — «Это у меня от тебя щеки горят, Саша». — «Давай выпьем еще кофе?» О предстоящем я старался не думать; глупо строить досужие версии, ничего не зная, — обрывки их во множестве долетали до меня и в очереди на регистрацию, и в очереди у трапа, уши вяли. Соседи шелестели газетами, вспыхивали то тут, то там вертевшиеся вокруг катастрофы приглушенные разговоры — я все пытался поймать Стасин взгляд, все посматривал на нее сбоку, но

она сидела, уставившись вперед и точно окаменев, и лишь обеими руками гладила, ласкала, баюкала мою ладонь, отчаянно припавшую сквозь неощутимую белую ткань к теплой округлости ее бедра. Только когда пилот отцепился от силовой тяги и, подруливая в аэродинамическом режиме, стал заходить на посадку, Стася, так и не пожелав встретиться со мною взглядом, внезапно начала читать. У нее даже голос менялся от стихов — становился низким, грудным, чуть хрипловатым. Страстным. Будто орлица клекотала. Это был голос ее естества, так она стонала в постели. И я гордился: мне казалось, это значило, что иногда я могу дать ей такое же счастье, какое ей дает основа ее жизни, ось коловращения внешней суеты — ее талант. «Как бы повинность исполняю. Как бы от сердца улетаю тех, что любил. Тех, что люблю». У нее было много текстов, написанных от лица мужчин. Наверное, тех, с которыми она бывала; я догадывался, что мужчин у нее было побольше, чем у меня женщин. Если этот текст был из тех, что она написала по дороге сюда, значит, так она представляла себе меня. На душе стало еще тяжелее — она ошибалась. С ней я не испытывал никакой повинности; наверное, я просто запугал ее, слишком часто и со слишком большим пиететом произнося слова «долг», «должен»... как она бесилась, когда я, вместо того чтобы сказать «Вечером я хочу заехать к тебе», говорил: «Вечером нужно заехать к тебе»; а для меня это были синонимы. От ее сердца я никуда не улетаю и не мог улететь. Я просто этого не умел. От лица мужчин она тоже писала себя.

Столица встретила нас ненастьем. Лайнер замер; Стася, поднявшись, набросила плащ. Он был еще чуть влажным. И багаж ее был еще чуть влажным — тот же косой, холодный дождь, который напитал его влагой поутру,

окатывал его теперь, вечером, когда носильщик, побрякивая и покрикивая: «Поберегись!» — катил его к стоянке таксомоторов. Дождь то притихал, то, повинувшись злобному сумасбродству порывов ветра, вновь набрасывался из промозглой тьмы, он шел волнами, и недавнее грузинское сияние уже казалось мимолетным радужным сполохом, привидевшимся во сне. Засунув руки в карманы грошового китайского плащика, небрежно набросив капюшон и даже не утрудившись застегнуться, Стася в легких туфельках шагала прямо по ледяному кипению черных луж.

— Не простудилась бы ты, Стасенька.

Она будто не слышала. В бешеном свете посадочных огней ее лицо призрачно искрилось. Она так и не повернулась ко мне. Мы так и не поцеловались на прощание. Хотя меня никто не встречал. Над нами то и дело с протяжным шипящим шумом планировали идущие на посадку корабли, их позиционные огни едва пробивались через нашпигованный водою воздух. Мы с носильщиком перегрузили Стасин багаж, я сунул парню целковый («Премного благодарен-с...»), Стася молча шагнула в кабину, молча захлопнула дверцу, и таксомотор повез ее в скромную квартирку, которую она вот уж год снимала в третьем этаже приличного дома на Каменноостровском; а я, ладонью сгоняя воду с лица, вернулся в здание аэровокзала, сдал на хранение свой саквояж — я чувствовал, мне скоро снова лететь, — и из автомата позвонил в министерство.

— А-ле?

— Иван Вольфович!

С языка едва не сорвалось машинальное «Добрый вечер». Успел ухватить за хвост.

— Слушаю, говорите!

— Это Трубецкой. Я в Пулково.

— Ах, батенька, заждались мы вас!

— Теперь же ехать?

— Да уж натурально теперь же. Не тот день, чтоб мешкать.

Вот и я укрылся в кабине авто. Из кармана насквозь мокрого пиджака извлек насквозь мокрый платок, принялся вытирать лицо, шею, волосы. Свет фонарей мерцал на бегущих по стеклам струйках, крыша рокотала барабаном.

— Дворцовая, милейший.

И как последние два часа я гнал от себя мысли о предстоящем, старательно не слушая доносившиеся справа-слева обрывки вертевшихся вокруг несчастья разговоров, так теперь я, словно пыль из ковра, принялся выбивать из памяти лихорадочно ласковые Стасины руки и ее мертвенный, унесшийся в пустоту взгляд.

Великий князь Александр Петрович. Тридцать четыре года... было. Щепетильно порядочный человек, одаренный математик и дельный организатор. Мечтатель. Официально — глава российской части российско-североамериканского проекта «Арес-97». Фактически — правая рука престарелого Королева; ловил каждое слово великого конструктора, всегда готов был помочь делу и своим моральным авторитетом, и своим государственным влиянием. Мне доводилось несколько раз встречаться с ним на разного рода официальных и неофициальных мероприятиях, и от этих встреч всегда оставалось теплое чувство; на редкость приятный был человек. Невозможно представить, чтобы у него были враги. Такие враги.

Таксомотор вывернул на Забалканский проспект. Молодой шофер небрежно покручивал баранку и что-то едва слышно, угрюмо насвистывал. Сверкающее месиво капель валилось сквозь свет фар. Время от времени под протекторами коротко и свирепо рычали лужи.

«Арес-97». С той поры, как стало ясно, что термоядерный привод — дело неблизкое, решено было двинуться по тому отлаженному пути, каким с конца пятидесятых шли здесь, на планете. На стационарные гелиоцентрические орбиты в промежуток между орбитами Земли и Марса предполагалось обычными беспилотными устройствами с жидкостным приводом забросить две серии мощных гравиторов, которые, при определенном расположении — оно повторялось бы с периодичностью всего лишь в полтора года, — обеспечивали бы перемещение корабля практически любого тоннажа с постоянным ускорением десять метров в секунду за секунду. Инерционная фаза перелета, таким образом, вовсе ликвидировалась бы, космонавтам не пришлось бы сталкиваться ни с невесомостью, ни с ее неприятными последствиями, а время перелета сократилось бы со многих месяцев до — и это в худшем случае — недель. Помимо того, единожды подвесив в пространстве цепочку тяговых гравиторов, проблему коммуникации Земля — Марс можно было бы решить раз и навсегда — во всяком случае, пока не появятся некие принципиально новые возможности типа, например, прокола трехмерной метрики. Каждые полтора года, безо всяких дополнительных затрат, не прожигая многострадальную атмосферу новыми выхлопами дюз и минимально теребя еще не вполне изученные, но уже весьма настораживающие геофизические аспекты огненного пробоя неба, станет возможно, если возникнет на то желание, отпра-

лять к Марсу корабль хоть с двадцатью, хоть с тридцатью людьми на борту или даже целые эскадры по восемь — десять кораблей с пятичасовыми интервалами; а горячие головы уже размечтались и о колонизации красной планеты. Тяговая цепочка должна была состоять из двадцати звеньев — десять гравиторов обеспечивали бы разгон от Земли и обратное торможение на пути к Земле, десять — торможение на пути к Марсу и обратный разгон от Марса. Если учесть вдобавок, что за три десятка лет эксплуатации орбитальной сети гравиторов ни один лайнер не потерпел аварии на тяговом участке полета, такой вариант экспедиции выглядел не только более экологичным, не только более дешевым, но и куда более надежным, нежели любой реактивный, — даже если бы Ливермор или Новосибирск выдали наконец термомод. Полет намечался на сентябрь девяносто седьмого года. Осуществление проекта шло со всеми возможными реверансами и знаками уважения лидирующих стран друг к другу; с церемонной, поистине азиатской вежливостью соблюдался полный паритет. Голова в голову, гравитор к гравитору — мы штуку, и они штуку, приблизительно раз в полгода, но не обязательно в один и тот же день. Мы разгонный, и они разгонный. Они тормозной, и мы тормозной. На первую половину июля планировался очередной запуск — пятого и шестого из околоземной десятки; дату еще надо было уточнить и согласовать со штатниками. Пробыв два месяца безвылазно на тюратамском космодроме, великий князь вырвался на пару дней в столицу, чтобы отчитаться о готовности к делу перед государем, Думой и кабинетом.

Надобно незамедлительно снестись со штатниками и выяснить, не было ли у них попыток диверсий или покушений.

Или это какой-то их патриот шизоидный...

Бред.

Третьи страны... Есть отрывочные сведения о наличии в Японии, в Германии кругов, задетых малым, с их точки зрения, участием их держав в интернациональном проекте века. По их мнению, это роняло престиж их наций. Горе-националисты, пес их ешь. Хорошо, что их мало и что обычно их никто не слушает.

Немцы в свое время очень настаивали, чтобы «в целях соблюдения полного равновесия участия основных сторон» все старты осуществлялись с одного и того же космодрома, причем какой-либо третьей страны, и тут же с беззастенчивой настойчивостью предлагали свою космическую базу в море Бисмарка — не ближний свет возить туда через океан все материалы что штатникам, что нам!

Нет, нет. Бессмысленно сейчас строить версии. Я тут ничем не отличаюсь от располагающих нулевой информацией остолопов, болбочущих о масонском заговоре и о том, что Господь покарал за гордыню человека, вздумавшего влезть на небо. Слышал я сегодня такое — смотрел на Стасю, чувствовал Стасю, но слышал краем уха.

Все. Стася уже дома, в тепле, уже наверняка приняла ванну, залегла под одеяло с какой-нибудь книгой или рукописью, или телеэкран мерцает чем-нибудь развлекательным напротив постели — так славно бывает лежать рядом, обнявшись, щека к щеке, и бездумно-радостно смотреть какую-нибудь белиберду... Хватит! Что она сейчас думает обо мне — мне отсюда не изменить, хоть кулак изгрызи.

Или я слишком зазнаюсь, и она сейчас совсем не обо мне думает?

А ведь каких-то пять часов назад она горланно, протаяжно вскрикивала подо мною... и танцевала: я счастливая!

Но — утром? Как презрительно она вела себя утром, у Джвари!

Господи, неужели это было? Неужели это было сегодня — жар, стрёкот, синий простор? И самая большая трагедия — то, что родная женщина держится отчужденно.

Все, хватит.

Приехали.

2

Министерство госбезопасности располагалось в левом крыле старого здания Генштаба. Показав слегка удивленному моим видом казаку отсыревший пропуск, я взбежал по широкой лестнице на третий этаж — белый пиджак, светло-голубая рубашка с открытым воротом, белые брюки, белые летние туфли; ни дать ни взять миллионщик на палубе собственной яхты.

В туфлях хлюпало. Нет, не миллионщик, конечно, — погонщик. Подневольный офицер.

Коридоры были пустынные, и казалось, здание спит, как и полагалось бы в этот час. Но по едва уловимым признакам, которых, конечно, не заметил бы никто чужой, я чувствовал, что там, за каждой закрытой дверью, — развороченный муравейник. Естественно. Таких штук не случалось на Руси со времен графа Палена. Правда, был еще Каракозов — совсем больной человек... Да еще закомплексованный Пестель витийствовал в эмпиреях о цареубийстве во благо народных свобод. Интересно, оставить его с Александром Павловичем наедине — неуж-

то и впрямь поднялась бы рука? Или крепостным пере-
доверил бы — дескать, ты, Ванька, сперва выпусти по
моему велению своею косою кишки помазаннику божию,
а уж посла будет тебе воля... Перепугали мечтательные
предки Николая Павловича так, что ему потом всю жизнь
от слова «свобода» икалось — ну и вел себя соответствен-
но, мел мыслителей из аппарата, оставлял одних непе-
речливых воров; чуть не прогадил Россию...

Секретарь — молодец; даже бровью не повел, зави-
дев в сих суровых стенах такое чудо в перьях, как ны-
нешний я.

— Иван Вольфович ждет вас, господин полковник.
Прошу.

И растворил передо мною тяжелые двери.

Ламсдорф встал из-за стола и, отчетливо похрусты-
вая плотной тканью выутюженного мундира, пошел ко
мне навстречу, протянул обе руки. Костистое остзейское
лицо его было печально вытянуто.

— Экий вы южненький, батенька, экий вы мокрень-
кий... Уж простите старика, что этак бесцеремонно вы-
дернул вас из картвельских кущей в нашу дрякву. Вы
возглавьте следствие. И назначал не я. — Он потыкал
пальцем вверх. — Есть факторы... То есть не подумайте,
Христа ради, — он всерьез испугался, что допустил бе-
стактность, — будто я вам не доверил бы... Но устали
ж вы за весну, как черт у топки, мне ль не знать!.. Сюда,
голубчик, присаживайтесь. Мы сейчас радиаторчик вклю-
чим, подсохнете. — Покряхтывая, он выкатил масляный
обогреватель из-за выдавшей виды китайской ширмы, при-
крывавшей уголок отдыха — столик, электрочайник, коро-
бочки со сладостями; генерал был известный сладкоежка.
Воткнул штепсель в розетку. — Чайку не хотите ли?

— Благодарю, Иван Вольфович, я так наобедался у князя Ираклия, что теперь два дня ни есть, ни пить не смогу. Давайте уж лучше к делу.

— Ай, славно, ай, мальчики мои молодцы! Хоть денек успели урвать. Какая жалость, что князь Ираклий так рано в отставку вышел!

— Ему в грузинском парламенте дел хватает.

— Да уж представляю... Тепло там?

— Тепло, Иван Вольфович.

— Цветет?

— Ох, цветет!

Он горестно вздохнул, уселся не за стол, а в кресло напротив меня. Закинул ногу на ногу, немилосердно дергая левую бакенбардину так, что она едва не доставала до эполета. В черное, полуприкрытое тяжелыми гардинами окно лупил дождь.

— К делу, говорите... Страшное дело, батенька Александр Львович, страшное... Уж и не знаю, как начать.

Я ждал. От радиатора начало помаленьку сочиться пахнущее пылью тепло.

— В восемь сорок три вылетел цесаревич с Тюратама. С ним секретарь, профессор Корчагин, знали вы его...

— Не близко. Консультировался дважды.

— Ну да, ну да. Это когда вы от нас входили в госкомиссию по аварии на Краматорском гравимоторном. Помню, как же. — Он замолотил себя указательным пальцем по бакенбардам, затем снова поволок левую к плечу. — Врач, два офицера охраны и два человека экипажа, люди все свои, постоянные, который год с цесаревичем...

— Никто не спасся? — глупо спросил я. Жила какая-то сумасшедшая надежда, вопреки всему услышанному.

Иван Вольфович даже крикнул. Обиженно покосился на меня. Встал, сложил руки за спиною и, сутулясь, наискось пошел по кабинету. Поскрипывал паркет под потертым ковром.

— Батенька, — страдальчески выкрикнул генерал, остановившись у стола, — они же с трех верст падали! С трех верст! Что вы, право!

С грохотом выдвинув один из ящиков, он достал пачку фотографий и вернулся ко мне.

— Вот полюбуйтесь-ка на обломочки! Аэросъемка дала...

Да. Я быстро перебрал фотографии. Что да, то да. Иными фрагментами земля была вспахана метров на пять в глубину.

— Разброс обломков близок к эллиптическому, полторы версты по большой оси. И ведь не просто падали, ведь взрыв был, голубчик мой! Весь моторный отсек снесло-разнесло!

— Мина с часовым механизмом или просто сопряженная с каким-то маневром? Скажем, при первом движении элерона — сраба...

— Ах, батенька, — вздохнув, Ламсдорф забрал у меня фотографии и, выравнивая пачку, словно колоду карт, несколько раз побил ее ребром о раскрытую ладонь. — Разве разберешь теперь? Впрочем, обломки, конечно, будут еще тщательнейшим образом исследованы. Но, по совести сказать, так ли уж это важно?

— Важно было бы установить для начала, что за мина, чье производство, например.

— Вот вы и займетесь... Ох, что ж я, олух старый! — вдруг встрепенулся он. Размахивая пачкой, словно дополнительным плавником-ускорителем, он чуть ли не вприпрыжку вернулся к столу, поднял трубку одного из

телефонов и шустро нащелкал трехзначный номер. Внутренний, значит.

— Ламсдорф беспокоит, как велели, — пробубнил он виновато. — Да, прибыл наш князь, уж минут двадцать тому. Ввожу помаленьку. Так точно, ждем.

Положил трубку и вздохнул с облегчением.

— Ну, что еще с этим... Взорвались уже на подлете, неподалеку от Лодейного Поля их пораскидало. Минут через шесть должны были от тяги отцепляться и переходить на аэродинамику... Так что с элеронами, или с чем там вы хотели, — не проходит, Александр Львович. С другой стороны, в Тюратаме уже тоже чуток надыбали. С момента предполетной техпроверки и до момента взлета — это промежуток минут в двадцать — к кораблю теоретически имели доступ четыре человека. Все — аэродромные техники, народ не случайный. Один отпал сразу — теоретически доступ он имел, но возможностью этой, так сказать, не воспользовался — работал в другом месте. Это подтверждено сразу пятью свидетелями. Все утро он долизывал после капремонта местную поисковую авиетку. Что же касается до трех остальных...

Мягко открылась дверь в дальнем конце кабинета. Нет, через которую впустили меня. Вошел невысокий, очень прямо держащийся, очень бледный человек в партикулярном, траурном; в глубине его глаз леденела молчаливая боль. Я вскочил, попытался шелкнуть каблуками хлюпающих туфель. До слез было стыдно за свое разухабистое курортное платье.

— Здравствуйте, князь, — тихо сказал вошедший, протягивая мне руку. Я осторожно пожал. Сердце заходило от сострадания.

— Государь, — проговорил я, — сегодня вместе с вами в трауре вся Россия.

— Это потеря для всей России, не только для меня, — прозвучал негромкий ответ. — Алекс был талантливый и добрый мальчик. Ваш тезка, князь...

— Да, государь, — только и нашелся ответить я.

— Иван Вольфович, — произнес император, чуть оборотясь к Ламсдорфу, — вы позволите нам с Александром Львовичем уединиться на полчаса?

— Разумеется, ваше величество. Мне выйти?

— Пустое. — Император чуть улыбнулся одними губами. Глаза все равно оставались как у побитой собаки. — Мы воспользуемся вашей запазушной приемной. — И он сделал мне приглашающий жест к двери, в которую вошел минуту назад.

Там произошла заминка; он пропустил меня вперед — я, растерявшись, едва не споткнулся. Он мягко взял меня за локоть и настойчиво протолкнул в дверь первым.

В этой комнате я никогда не бывал. Она оказалась небольшой — скорее чуланчик, нежели комната; смутно мерцали вдоль стен застекленные стеллажи с книгами; в дальнем от скрытого гардинами, сотрясаемого ливнем окна углу стоял низкий круглый столик с двумя мягкими креслами и сиротливой, девственно чистой пепельницей посередине. Торшер, задумчиво наклонив над столиком тяжелый абажур, бросал вниз желтый сноп укромного света. Император занял одно из кресел, жестом предложил мне сесть в другое. Помолчал, собираясь с мыслями. Достал из брючного кармана массивный серебряный портсигар, открыл и протянул мне.

— Курите, князь, прошу.

Курить не хотелось, но отказаться было бы бестактным. Я взял, он тоже взял; спрятав портсигар, предложил мне огня. Закурил сам. Пальцы у него слегка дрожали. Придвинул пепельницу — ко мне ближе, чем к себе.

— Хороша ли княгиня Елизавета Николаевна? — вдруг спросил он.

— Благодарю, государь, слава богу*.

— А дочь... Поля, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь, государь. Я благополучен.

— Вы еще не известили их о своем возвращении из Тифлиса?

— Не успел, государь.

— Возможно, пока еще и не следует на всякий случай... А! — С досадой на самого себя он взмахнул рукой с сигаретой и оборвал фразу. — Не мое это дело. Как лучше обеспечить успех — думайте вы, профессионалы. — Помолчал. — Я предложил, чтобы вы, князь, возглавили следствие, по некоторым соображениям, их я раскрою чуть позже. А пока что...

Он глубоко затянулся, задумчиво глядя мне в лицо выпуклыми, тоскующими глазами. Сквозь конус света над столиком, сонно переливая формы, путешествовали дымные амёбы.

— Скажите, князь. Ведь вы коммунист?

— Имею честь, государь.

— Дает ли вам ваша вера удовлетворение?

— Да.

— Дает ли она вам силы жить?

* Слово «Бог» произносят с большой буквы истинно верующие и с маленькой — те, у кого это лишь привычное присловье, наравне, например, с «елки-палки» или «мать честная». — *Примеч. авт.*

— Дает, государь.

— Как вы относитесь к другим конфессиям?

— С максимальной доброжелательностью. Мы полагаем, что без веры в какую-то высшую по отношению к собственной персоне ценность человек еще не заслуживает имени человека, он всего лишь чрезвычайно хитрое и очень прожорливое животное. Более того, чем многочисленнее веры — тем разнообразнее и богаче творческая палитра человечества. Другое дело — как эта высшая ценность влияет на их поведение. Если вера в своего бога, в свой народ, в свой коммунизм или во что-либо еще возвышает тебя, дает силы от души дарить и прощать — да будет славен твой бог, твой народ, твой коммунизм. Если же вера так унижает тебя, что заставляет насилловать и отнимать, — грош цена твоему богу, твоему народу, твоему коммунизму.

— Что ж, достойно. Не затруднит ли вас в двух словах рассказать мне, в чем, собственно, состоит ваше учение?

Вот уж к этому я никак не был готов. Пришлось всерьез присосаться к сигарете, потом неторопливо стряхнуть в пепельницу белоснежный пепел.

— Государь, я не теоретик, не схоласт...

— Вы отменный работник и, безусловно, преданный России человек — этого довольно. Разглагольствования богословов меня всегда очень мало интересовали, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Теоретизировать можно долго, если теория — твой удел; но в каждодневном биении сердца любая вера сводится к нескольким простым и самым главным словам. Я слушаю, князь.

Я еще помедлил, подбирая слова. Он смотрел ободрающе.

— У всех стадных животных, государь, существуют определенные нормы поведения, направленные на непричинение неоправданного вреда друг другу и на элементарное объединение усилий в совместных действиях. Нормы эти возникают вполне стихийно — так срабатывает в коллективе инстинкт самосохранения. Человеческая этика, в любой из ее разновидностей, является не более чем очередной стадией усложнения этих норм ровно в той мере, в какой человек является очередной стадией усложнения животного мира. Однако индивидуалистический, амбициозный рассудок, возникший у человека волею природы, встал у этих норм на пути. Оттого-то и потребовалось подпирать их разнообразными выдуман-ными сакральными авторитетами, лежащими как бы вне вида хомо сапиенс, как бы выше его. И тем не менее, сколь бы ни был авторитетен тот или иной божественный источник призывов к добру и состраданию, всегда находились люди, для которых призывы эти были пустым звуком, ритуальной игрой. С другой стороны, всегда находились люди, которым не требовалась ни сакрализация, ни ритуализация этики; в простоте своей они вообще не могут вести себя неэтично, им органически мерзок обман, отвратительно и чуждо насилие... И то и другое — игра генов. Один человек талантлив в скрипичной игре, другой — в раскрытии тайн атомных ядер, третий — в обмане, четвертый — в творении добра. Но только через четвертых в полной мере проявляется генетически запрограммированное стремление вида сбросить себя. Мы убеждены, что все создатели этических религий, в том числе и мировых — буддизма, христианства, ислама, — принадлежали к этим четвертым. Ведь, в сущности, их требования сводятся к одному интегральному

постулату: благо ближнего превыше моего. Ибо «я», «мой» обозначает индивидуальные, эгоистические амбиции, а «ближний», любой, все равно какой, персонифицирует вид хомо. Расхождения начинаются уже на ритуальном уровне, там, где этот основной биологический догмат приходится вписывать в контекст конкретной цивилизации, конкретной социальной структуры. Но беда этических религий была в том, что они, дабы утвердиться и завоевать массы, должны были тем или иным образом срастаться с аппаратом насилия — государством и, начиная включать в свои заповеди требования насилия, в той или иной степени превращались в свою противоположность. Всякая религия стремилась стать государственной, потому что в этой ситуации все ее враги оказывались врагами государства с его мощным аппаратом подавления, армией и сыском. Но в этой же ситуации всех врагов государства религии приходилось объявлять своими врагами — и происходил непоправимый этический надлом. Это хорошо подтверждается тем, что чем позже возникала религия, то есть чем более развитые, жесткие и сильные государственные структуры существовали в мире к моменту ее возникновения, тем большую огосударствленность религия демонстрирует. От довольно-таки отстраненного буддизма через христианство, претендовавшее на главенство над светскими государями, к создавшему целый ряд прямых теократий исламу.

— Очень логично, — сказал император. Он слушал внимательно, чуть подавшись вперед и не сводя пристальных глаз с моего лица. Вяло дымились забытые сигареты.

— Мы полностью отказались от какого бы то ни было ритуала. Мы совершенно не стремимся к организованному взаимодействию со светской властью. Мы апелли-

руем, по сути, лишь к тем, кого я назвал четвертыми, — к людям с этической доминантой в поведении. Им во все времена жилось нелегко, нелегко и теперь. Они совершенно произвольно принимают на себя первый удар при любых социальных встрясках, до последнего пытаюсь стоять между теми, кто рвется резать друг друга, — и потому зачастую их режут и те и другие. Они часто выглядят и оказываются слабее и беспомощнее в бытовых дразгах... Мы собираем их, вооружаем знаниями, объясняем им их роль в жизни вида, закаляем способность проявлять абстрактную доброту чувств в конкретной доброте поведения. Мы стараемся также облегчить и сделать почетным уподобление этим людям для тех, кто не обладает ярко выраженной этической доминантой, но по тем или иным причинам склоняется к ней. Это немало.

— Чем же заняты ваши... уж не знаю, как и сказать... теоретики?

— О, у них хватает дел. Ну, например. Сказать: благо ближнего важнее — это просто. Просто и претворить эти слова в жизнь, когда с ближним вы на необитаемом острове. Но в суетном нашем мире, где ближних у нас уж всяко больше одного, ежечасно перед человеком встают проблемы куда сложнее тех, что решают математики в задачах о многих телах.

— Неужели и здесь вы считаете возможным выработать некие правила?

— Правила — никоим образом, государь. Но психологические рекомендации — безусловно. Определенные тренинги, медитативные практики... но я не силен в этом, государь, прошу простить.

— Хорошо. — Он наконец стряхнул в пепельницу длинный белый хвостик пепла, уже изогнувшийся под

собственной тяжестью. — Я как-то упустил... Ведь коммунизм начинался как экономическая теория.

— О! — Я пренебрежительно махнул рукой. — Ополоумевшая от барахла Европа! Похоже, Марксу поначалу и в голову ничего не шло, кроме чужих паровых котлов и миллионных состояний! «Бьет час капиталистической собственности! Экспроприаторов экспроприируют!» В том, что коммунисты отказались от вульгарной идеи обобществления собственности и поднялись к идее обобществления интересов, — львиная заслуга коммунистов вашей державы, государь.

— Ленин... — осторожно, будто пробуя слово на вкус, произнес император.

— Да.

— Обобществление интересов — это звучит как-то...стораживающе двусмысленно.

— Простите, государь, но даже слово «архангел» становится бранным, когда его произносит сатана. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы всем навязать один общий интерес, а о том, чтобы всякий индивидуальный интерес учитывал интересы окружающих и, с другой стороны, чтобы всякий индивидуальный интерес, весь их спектр, был равно важным и уважаемым для всех. Это — идеал, конечно... как и всякий религиозный идеал.

— В молодости я читал какие-то работы Ленина, но признаюсь, князь, они не заинтересовали меня, не увлекли.

Я помедлил.

— Рискну предположить, государь, что в ту пору вы были молоды и самоуверенны. Жизнь представлялась веселой, азартной игрой, в которой все козыри у вас на руках.

— Возможно. — Император улыбнулся уголками губ. — При иных обстоятельствах я с удовольствием побеседовал бы с вами и об этом, вы изрядный собеседник. Но сперва покончим с тем, что начали. В изложенном вами я не вижу религиозного элемента. Вполне здоровое, вполне материалистическое, чрезвычайно гуманистическое этическое учение, и только. Через несколько минут вы поймете, почему я так этим интересуюсь. Скажите мне вот что. Возможен ли религиозный фанатизм в коммунизме и какие формы он может принять, коль скоро сам коммунизм религиозного элемента, как мне кажется, не имеет?

— Ваше величество. Чем отличается этическая религия от этического учения? Лишь тем, что ее догматы опираются на некий священный авторитет, некую недосказанную истину, каковая, в сущности, и является предметом веры, — а все остальные предписания уже вполне материалистично вытекают из нее. Священным авторитетом для нас является вид хомо. Недоказуемой истиной, в которую нужно поверить всем сердцем, — то, что вид этот заслуживает существования. Ведь это не из чего не следует логически. Никто не написал этого кометами на небесах. Люди вели и ведут себя зачастую так, словно бы им все равно, родится ли следующее поколение или нет. Презрение к людям лежит в основе такого поведения — подсознательно укоренившееся, в частности, еще и оттого, что все религии рассматривают наше бытие лишь как предварительный и греховный этап бытия вечного. Уверовать в то, что сей греховный муравейник есть высшая ценность, — нелегко, а иным и отвратительно. То, что я рассказывал прежде, было от ума — а вот то короткое и главное из сердца, что вы просили, государь, своего рода символ веры. Род людской нуждается в суще-

ствовании, значит, каждый человек нуждается в помощи, значит, всякое мое осмысленное действие должно приносить кому-то пользу. И речь идет не только о благотворительности или тупом жертвовании собой. Коль скоро наш сложный социум для своей полноценной жизни требует тысяч разнообразных дел, лучше всего помогать людям я могу, делая как можно лучше свое дело. Значит, всякий мой успех — для людей, но ни в коем случае — люди для моего успеха.

— Достойная вера, — проговорил император. — Я мог бы, правда, спорить относительно грешного муравейника как высшей ценности — но спор по поводу истинности недоказуемых истин... или, скажем, даже так — равнодоказуемых истин, есть удел злобных глупцов, ищущих повода для драки.

— Истинно так.

— А в целом вы столь привлекательно и убедительно это изложили... все кажется таким естественным и очевидным, что впору мне принимать ваши обеты.

— Я был бы счастлив, ваше величество, — сказал я. — Но, боюсь, для российского государя сие непозволительно формально.

Он снова чуть усмехнулся.

— Я наслышан о том, что ваши товарищи в подавляющем большинстве своем являются прекрасными людьми и в высшей степени надежными работниками. Мне отраднo видеть, что влияние вашей конфессии неуклонно растет, ибо ее благотворное влияние на все сферы жизни страны неоспоримо. И теперь я лучше понимаю почему. Но вот в чем дело...

Глаза его опустились, теперь он избегал встретиться со мною взглядом. Помедлив, он вновь достал и открыл

портсигар. Протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Император, поразмыслив, защелкнул портсигар и убрал.

— Иван Вольфович уже сказал вам, что в круге подозреваемых с самого начала оказалось только четыре человека. Один отпал сразу. Двое других уже найдены, допрошены и отпущены; очевидно, они ни в чем не замешаны. Некие странности, как мне сказали, были замечены незадолго до катастрофы в поведении четвертого... смотрите, какое совпадение — в моем перечислении, как и в вашем, он четвертый. И этот четвертый исчез.

— Как исчез?

— Его нигде нет. Его не нашли ни на работе, ни дома, ни в клубе... Он не уезжал из Тюратама. И, похоже, его нет в Тюратаме. И он... он — коммунист, Александр Львович. Ваш товарищ.

Я сцепил пальцы.

— Теперь понимаю.

— Я предлагаю вам, именно вам, взяться за это дело, ибо мне кажется, вы лучше других сможете понять психологию этого человека, проанализировать его связи, представить мотивы... Бог знает, что еще. Но именно поэтому я предоставляю вам и право тут же отказаться от дела. Никаких нареканий не будет. Возвращайтесь в Грузию, возвращайтесь домой, куда хотите, вы заслужили отдых. Если совесть не позволяет вам вести дело, где основным подозреваемым сразу оказался член вашей конфессии...

— Позволяет, — чуть резче, чем хотел, сказал я. — Более того, я должен в этом разобраться. Тут что-то не так. Я не верю, что коммунист мог поднять руку на наследника престола... да просто на человека! Я берусь.

— Благодарю вас, — сказал император и встал. Я сразу вскочил. — Как осиротевший отец благодарю. — Он помедлил. — За тарбагатайское дело, с учетом прежних заслуг, министр представил вас к ордену святого Андрея Первозванного. Через Думу представление уже прошло, и приказ у меня на столе.

— Это незаслуженная честь для меня, — решительно сказал я. — Первым кавалером ордена был генерал-адмирал граф Головин, одним из первых — государь Петр... — Я позволил себе чуть улыбнуться. — Все мои прошлые, да и будущие заслуги вряд ли могут быть сопоставлены с деяниями Петра Великого.

— Кто знает, — уронил император. — Но я подожду подписывать приказ до конца этого расследования. — Он нарочито помедлил. — Чтобы не отвлекать вас церемонией награждения... Теперь — Бог с вами, князь. Ступайте.

3

Было около трех, когда я вошел в свой кабинет. Усталость давала себя знать, и кружилась голова — почти бессонная веселая ночь накануне, Джвари и Сагурамо, Ираклий и Стася, киндзмараули и ахашени; а потом, судорожным рывком, словно кто-то казацкой шашкой полоснул по яркой театральной декорации, вновь МГБ и эта странная аудиенция... Сколько всего уместилось в одни сутки!

Но я благодарил судьбу, что это дело досталось мне. Что-то в нем было не так.

Я вскипятит немного воды, сделал крепчайший кофе, насыпав с горя в чашку сразу ложки четыре. Пока дымя-

шаяся густая жидкость остывала до той кондиции, чтобы пить можно было, не шпарясь, все-таки выкурил еще одну сигарету. Прихлебывая, тупо созерцал, как ползают по воздуху, извиваясь, прозрачно-серые ленты. Платье мое уж высохло, от кофе я наконец согрелся окончательно.

Ватная тишина забухла в кабинете. Даже дождь угомонился, и с площади, от окна, не доносилось ни звука.

Стася, наверное, уже спит. Если только не мучается, бедняга, бессонницей снова. Впрочем, вряд ли, она сегодня так устала. Меня вдруг словно кинули в кипяток; перед измученными, пересохшими глазами вдруг ослепляюще польхнуло ярче яви: в медовом свете южного вечера она проводит по вишневым, чуть припухшим губам: хочешь сюда? Телеграмма уже лежала в шифраторе — но я думал, что целая ночь впереди! Вот она, эта ночь. Зеленое время на табло настольных электронных часов мерно перепархивало с одной цифры на другую. Три двенадцать.

И Лиза спит, конечно.

Или я ничего не понимаю, а она, давно догадавшись обо всем, одиноко лежит без сна и мысленно видит меня там, в кипарисовом раю, обнимающем не ее?

Даже страшно утром звонить.

Вот он, мой кипарисовый рай. Не сдержавшись, я с силой ударил ладонями по столу. Звук оказался свято-татственно громким.

И Поля, разумеется, спит без задних ног. Если только не забралась под одеяло с лампой и книжкой, если только не портит опять глаза, паршивка. Сколько раз мы с Лизой ловили ее на этом, объясняли, уговаривали — нет, как об стену горох.

Я вдруг сообразил, что уже по ним соскучился.

Может, поехать домой прямо сейчас? Здесь рядом. Может, они обрадуются.

Ведь все равно до утра начать работать невозможно.

Невозможно. Невозможно, чтобы коммунист стал убийцей. Не верю. Тут что-то не так.

На пробу я ткнул пальцами в кнопки селектора. И совершенно противу всяких ожиданий немного сиплый голос Куракина сразу отозвался:

— Слушаю.

— Федор Викентьич, дорогой! Никак не ожидал вас застать...

— Александр Львович! Да как это не ожидали, Ламсдорф не сказал вам, что ли? Он же категорически запретил мне уходить, еще в конце дня позвонил и сказал, что вы будете с минуты на минуту и что я непременно вам понадоблюсь. Спите, говорит, по крайности за столом.

— Ну и как, спали?

— Сейчас вот покемарил часок. — Он откашлялся.

— Ну и чудесно. Зайдите ко мне.

Через минуту заместитель мой уже входил в кабинет; лицо бодрое, словно и не спал только что, скрючившись в служебном кресле, — кто сказал, что крепостное право отменили?

Мундир будто сейчас из-под утюга, любо-дорого глядеть. Не то что я. Куракин вошел и, не сдержавшись, по-свойски прыснул.

— Да, извлекли вас, видать, из климата не в пример благостнее нашего!

— Зато всем сразу видно, как я спешил. Будем вести следствие по катастрофе «Цесаревича», поздравляю вас.

— Значит, вы взялись? Вольфович сказал, что это еще не точно.

— Это точно. Да вы садитесь, Федор Викентьевич, в ногах правды нет. Особенно в такой час. С Лодейнопольским гэбэ связывались?

— Неоднократно.

— Сбор фрагментов они завершили?

— На момент последнего разговора — это в двадцать один ноль две было...

Как раз когда мы со Стасей, перемурлыкиваясь, спустились в гостиную.

— ...не закончили. Очень уж много мелочи, грунт порой буквально просеивать приходится. А там еще речушки, болота...

— Хорошо. То есть плохо, конечно, но шире штанов не зашагаешь. Завтра спозаранку надо связаться с кем-нибудь из ведущих конструкторов и узнать тактично: не мог ли, черт возьми, мотор сам дать такой эффект. Ну хоть один шанс из миллиона — вдруг что-то там перегорело, перегрелось, расконтачилось...

— Ламсдорф уже связывался. Профессор Эфраимсон с кафедры гравимеханики Политеха клялся, что это абсолютно исключено.

— Ученые головы умные, Федор Викентьевич, но квадратные. Тут практик нужен. О! Я сам свяжусь с Краматорским гравимоторным, там меня должны помнить, побеседуем задушевно. Дальше. Надобно послать одного-двух наших экспертов для тщательнейшего исследования фрагментов. Пусть найдут остатки мины. Чья мина? Какая? Как устроена? Если они этих остатков вообще не найдут, то пусть хоть просчитают, какого характера был взрыв, какой силы... И — быстро! И все обломки — к нам, сюда. С ними возиться придется, я думаю, не раз и не два.

— Понял.

— Завтра я вылечу в Тюратам. Там что-то интересное уже нащупали, я так понял Ламсдорфа, но это все — испорченный телефон.

— Кого бы вы хотели взять?

Я помедлил.

— Совсем я отупел на югах. Впереди телеги лошадь запрягаю. Давайте-ка мы очертим круг лиц, участвующих в деле. И кроме них уже — ни-ни. Пусть будет нас, скажем, четыре группы. Вы — мой заместитель, так им и будете; ни в какую из групп ни вы, ни я не входим. Общее руководство, так сказать. Группа «Аз» — эксперты, мозговой центр. Специалист по гравимеханике, специалист по взрывным устройствам и... вот еще что. Специалист по измененным состояниям психики.

Брови Куракина чуть дрогнули.

— Это как?

— По правде сказать, сам толком не знаю. Посмотрите среди врачей-наркологов, что ли... Кто-то, кто разбирается в аффективных действиях, в действиях в состоянии наркотического бреда... В гипнопрограммировании, вот! Это еще лучше.

— Понял, — с сомнением сказал Куракин.

— Три человека. Группа «Буки» — скажем, тоже три человека. Этим суждено рыться в архивах, картотеках, поднимать, когда понадобится, пыль ушедших лет. Группа «Веди» — обычные детективы. Ну, не обычные, конечно, а получше. Думаю, нам будет зеленая улица, дадут любых. Четыре человека. И группа «Добро» — скажем, шесть человек. Наша охрана. И на них же, в случае необходимости, выпадет силовое взаимодействие с возможным противником.

Я намеренно пропустил четвертую букву алфавита. В подобных случаях я всегда поступал так. Пусть нашим боевикам уже само название их отряда постоянно напоминает о цели, о смысле их деятельности. А то знаю я — с пистолетом в руке, под пулями очень легко сорваться в бестолковую ненависть. Были прецеденты.

— Подработайте состав пофамильно, Федор Викентьевич. А я посмотрю. Часа вам хватит?

— Попробую.

— Попробуйте. Я буду здесь.

— Разрешите идти?

— Да, конечно. Какие уж тут политесы.

Дверь за ним закрылась, и снова в уши будто впихнули по целому мотку ваты. Глаза жгло. Словно я отсидел глазные яблоки. И начинала болеть голова — запульсировало то ли в затылке, то ли в темени. Скорее всего и там, и там. За окнами не светлело, хотя уже шло к четверем. Как часто бывает, вместо белых ночей природа подсовывала нам черные тучи.

Очень хотелось уже позвонить Лизе. И Стасе. И той и другой. Просто узнать, как они там. Нет, пожалуй, сначала Стасе. За нее я беспокоился больше, она могла простудиться в аэропорту.

Что это я там ляпнул государю о тяготах, переживаемых математиками при решении задач о многих телах? Вот уж действительно, что телах, то телах.

Нет, в такой час звонить домой — в тот ли дом, в этот ли — совершенно невысказано. И я позвонил в Лодейнопольский отдел — уж там-то наверняка кто-нибудь не спит.

Там действительно не спали, более того, дожидались звонка из столицы. Сбор фрагментов гравилета был пре-

крашен в двадцать три сорок семь. То, чего не нашли, уже не найдет никто, разве что по случаю — дождь, земля размокла, болота вздулись... Все, что удалось отыскать, с максимальной осторожностью сложено под крышей, в приемной отдела и на лестнице. Лодейнопольцы сами даже не пытались как-то анализировать найденное, даже грязь не счищали, боясь что-то упустить или видоизменить ненароком. Я одобрил и сказал, что не позже полудня эксперты будут.

Так. Чуть не забыл. То есть совершенно забыл; первоначально подумал, а потом забыл в суматохе — и понятно, собственно, почему. В работоспособность этой версии я не верил. Но для очистки совести решил раскрутить ее до конца. Чем черт не шутит. Позвонил в шифровальный — там дежурство круглосуточное, не то что дома.

Впрочем, у дома иные прелести.

— Трубецкой говорит.

Там уже знали, что это значит.

— Вашингтонскому атташе Каравайчуку. «Строго секретно. Срочно. Постарайтесь как по официальным каналам, так и любыми иными доступными вам средствами узнать, не происходило ли когда-либо, особенно в последнее время, попыток диверсий либо террористических актов в сфере североамериканской части проекта «Арес-97». Не имеет ли ФБР данных о готовящихся в настоящее время или предотвращенных в прошлом акциях подобного рода. Мотив не камуфлируется: МГБ России в связи с катастрофой гравилета «Цесаревич» обрабатывает версию, согласно которой некие силы оказывают противодействие реализации проекта в целом. Центр». Немедленно зашифруйте и отправьте.

С этим тоже пока все.

Что же меня так насторожило? Слепая убежденность в том, что товарищ по борьбе не способен на преступление, — это, конечно, лирика; хотя и ее сбрасывать со счетов не стоит, но полагать, будто человек, когда-то давший обет «всяким своим умыслом и деянием по мере сил и разума стремиться к вящей славе рода человеческого», может порешить ближнего своего, лишь сойдя с ума, — все же перебор. Но ведь было еще... Как сказал государь? «Странности были замечены в его поведении незадолго до катастрофы». Вот. Какие странности? Почему Ламсдорф ничего подробнее не сказал? Вздор, вздор, хорошо, что не сказал, надо лететь и разбираться самому. Еще четыре часа ждать. Хуже нет — ждать. И что особенно обидно и тягостно — сейчас делать нечего, а придет утро, и хоть разорвись: и Лиза, и Стася, и Тюратам, и Лодейное Поле...

Дверь открылась, и влетел, помахивая листком бумаги, радостный Куракин.

— Есть такой специалист! — крикнул он, широко шагая к столу. Уселся, кинул ногу на ногу и пустил ко мне через стол лист с рядами фамилий. — Странно даже, что мы сразу не сообразили. Это от бессонницы, не иначе. Я поначалу даже обиделся — заданьце, думаю, типа зашибись. Пойди туда — не знаю куда. Но компик все держит в бестолковке. Вольдемар Круус, помните? Он деблокировал память гипноамнезийникам, проходившим по делу «Зомби».

Еще бы не помнить. Действительно, странно, что не сообразили сразу. Не раскачались еще. Круус — блестящий психолог.

— Другое дело, — сменил тон Куракин, — я не понимаю, зачем он вам понадобился... в данном случае. Вот список, посмотрите.

— Уже смотрю, — ответил я, вчитываясь в фамилии. — Так, «Аз» — отлично... угу...

Куракин был явно доволен собою. Управился почти на четверть часа раньше срока.

— «Буки» — согласен. Молодцом, Федор Викентьич.

Он цвел. От сонной припухлости щек, что я отметил час назад, не осталось и следа.

— «Веди» — согласен. Отличные ребята. «Добро»... стоп. Тарасов?!

— Что такое? — растерялся Куракин.

Я поднял лицо от списка. Только таких вот проколов не хватало нам с самого начала. Ужасно не хотелось устраивать разнос тому, кого минуту назад заслуженно хвалил, но...

— Он же буддист!

Майор молчал, хлопая ресницами. Кажется, он еще не понимал.

— Кто дал вам право, майор Куракин, ставить человека в ситуацию, в которой почти наверняка от него потребуется выбирать между долгом по отношению к требованиям его веры и долгом по отношению к делу и соратникам? Вы что, не понимаете, к какой психологической травме это может привести?

Куракин на глазах становился красным как рак.

— Я уж не говорю об интересах дела. Тарасов — прекрасный сыскарь, спору нет, но при огневом контакте с возможным противником вполне может засбоить. А это не шутки!

У бедняги даже лоб вспотел. А глаза сразу погасли — стали как у снулой рыбы.

— Виноват, господин полковник, — безнадежно проговорил он.

— Такие мелочи могут дорого стоить. А кандидатура хорошая, давайте перебросим его в «Веди». А на его место поставим, например, Веню Либкина. Я его помню по Тарбагатаю, отличный боец.

— Он в отпуске, — тихонько сказал Куракин.

Я взял свой тропический пиджак за лацканы и помаhal ими, как крыльями.

— Вообще-то я тоже в отпуске... Ну да ладно. Пусть кто-нибудь иной, посмотрите сами. Веня тоже устал.

Уселся обратно, подпер гудящую голову обоими кулаками и стал читать дальше.

Список завершал Рамиль Рахчиев, и я снова улыбнулся. Это уж то ли майор хотел сделать мне приятное, то ли мальчик еще вчера, услышав, что дело дают мне, загодя напросился сам. Он старался повсюду быть ко мне поближе, и, признаюсь, я сам испытывал к молодому крымчаку нечто вроде отцовских чувств. С отцом Рамиля, крупным океанологом Фазилем Рахчиевым, я познакомился восемь лет назад; обстоятельства знакомства не слишком располагали к нежным чувствам: кто-то из экипажа «Витязя», пользуясь тем, что у науки нет границ и корабль заходит в самые разные порты, переправлял на нем разведанные для, как быстро удалось выяснить, иранской спецслужбы, а когда мы сели вражине на хвост, он умело и удачно постарался навести подозрения на Рахчиева, благо тот был единственным мусульманином на судне. Но я не купился, и мы с Фазилем подружи-

лись, и я стал желанным гостем в его доме, в крымской деревеньке Отузы.

Блаженно и мечтательно улыбаясь листу бумаги, я свесил голову меж кулаков. Три года подряд мы с Лизой и Полей гостили у них летом, снимали двухкомнатный коттедж с верандой в полуверсте от моря, в уютнейшей Отузской долине, у самого Карадага. Как сладко было ехать в насиженное, быстро ставшее родным местечко — катить по шоссе от Симферополя через Карасу-базар на Феодосию, за Узун-Сыртом поворачивать направо... и на каждом перекрестке пропеченные солнцем крымчаки прямо из распахнутых багажников своих авто наперебой предлагают ледяной кумыс и благоуханные медовые дыни. Море дивное, природа красоты удивительной; на весельной лодчонке плавали с визжащей от восторга Полькой к Шайтановым воротам, в золотом рассветном мерцании поднимались на Карагач, к Скалам-Королям, встречать безмятежно всплывающий из-за Киик-Атлама солнечный диск, купались в карадагских бухтах до истомы... а уложив Полину спать, убегали с Лизой за медовую скалу, и в двух шагах от поселка, но уже в дикой, скифской степи, прямо под пахнущими сухой полынью звездами молодо любили друг друга. А по утрам Полушка-толстушка, нахалка такая, — в ту пору она действительно была, мягко говоря, полновата, это сейчас вытянулась в лозиночку, — кралась к хозяйскому дому подсматривать, как знаменитый океанолог, подстелив под колени коврик и повернувшись лицом на юго-восток, оглаживая узкую бороду, что-то беззвучно говорит и по временам бьет поклоны; и, возвращаясь, делала страшные глаза и громогласным шепотом рассказывала: «А потом он делает знаешь как? Он делает вот так! А потом вот так лбом —

бум! Совершенно все не по-нашему! А губами все время: бу-бу-бу! бу-бу-бу! Так красиво! Пап, а если я уже крещеная, я могу стать мусульманкой?» — «Маму спрашивай». — «Мам?» — «Нельзя». — «Ой как жалко! Ну почему нельзя сразу и то, и то?!» А по вечерам часами сидели за длинным столом у хозяйского дома, под виноградными сводами, — «немножко кушали»; Роза Рахчиева делилась секретами татарской кухни, Лиза — секретами русской и прибалтийской; Фазиль рассказывал про моря, я — про шпионов, и кончавший школу, стремительный и сильный, как барс, Рамиль слушал, думал и выбрал героем меня. Как же он счастлив был, когда после выпуска из училища оказался в Петербурге, со мною рядом.

А после долгого ужина, уложив Поленьку спать, убежали с Лизой купаться по лунной дорожке, и прямо на знаменитой карадагской гальке или даже в воде...

— Господин полковник!

Куракин осторожно тронул меня за плечо. Я вздрогнул; и тут-то голова моя наконец провалилась между разъехавшимися кулаками.

— А? Что?

— Господин полковник, проснитесь!

4

— Лизанька, доброе утро.

— Саша, милый! Здравствуй! Откуда ты?

От облегчения у меня даже колени размякли. Я присел на стол, чувствуя, что губы сами собой начинают улыбаться. Голосок родной, обрадованный, безмятежный. Все хорошо.

— Представь, я здесь. Но ненадолго.

— Что-нибудь случилось?

И встревожилась сразу по-родному. Не отчуждаясь, а придвигаясь ближе.

— Да нет, пустяки. Я заскочу сейчас домой на часок. Может, ты не пойдешь в универ нынче... или хотя бы отложишь?

В летнее время Лиза давала консультации по европейским языкам для абитуриентов. Остальной год — там же преподавала. И занятие доброе, и все ж таки еще какие-то деньги. Лишних не бывает.

— Постараюсь. Сейчас позвоню на кафедру.

И ни одного лишнего вопроса, умница моя.

— Как Полушка?

— Все хорошо. Новую сказку пишет вовсю! На тех, кто умел думать только о еде, напал великан-обжора...

— Изященько. Ох, ладно, что по телефону. Бегу!

— Ты голодный?

— Не знаю. Наверное, да.

— Поняла, сейчас распоряжусь. Жду!

Обычно я ходил домой пешком. Монументальные места, дышащие по-северному сдержанным имперским достоинством; из всех городов, что я видел, такую ауру излучают лишь Петербург да Стокгольм. Через Дворцовую площадь, под окнами «чертогов русского царя», как писал Александр Сергеевич когда-то, и на выбор: либо через мост к университету и Академии художеств, мимо возлюбленных щербатых сфинксов, либо по набережной мимо львов к Синоду, либо через Адмиралтейский сквер и Сенатскую площадь, а дальше опять-таки через мост, Николаевский; потом, похлопав по постаменту задумчивого Крузенштерна, еще чуток вдоль помпезной набе-

режной и направо, к небольшому, ухоженному особняку в Шестнадцатой линии. Но теперь не было времени, я вызвал авто.

Я как обнял ее, так и не мог оторваться. Светлая, свежая, нежная, и даже угловатый деревянный крестик из-под ее халата вклинился мне в грудь по-родному. Она прятала лицо у меня на груди и стояла смиренно; и думала, наверное, о бедных абитуриентах, которые придут к урочному часу и с раздражением узнают, что занятия перенесены на полдень. Я слышал, как колотится ее сердце, и сам терял дыхание. Скользнул ладонью по ее гибкой спине, потом еще ниже, плотнее прижимая ее тело к своему. Возбуждение этих диких суток сказывалось во всем; Лиза, послушно прильнув бедрами, чуть запрокинулась, подняла порозовевшее лицо, заглядывая мне в глаза, и с задорно утрированным изумлением спросила:

— Ой, что это там такое острое?

На ранний шум из двери ведущего в детскую коридорчика высунулась Поля и, мгновенно срисовав обстановку, с визгом скатилась по лестнице к нам. Скоро маму догонит ростом. Широко распахнула тоненькие руки и загребла в объятия нас обоих. Она с ранних лет очень любила, когда мы обнимаемся, и всегда норовила присоединиться. Иногда даже сама начинала возглавлять: «Что это вы ровно брат с сестрой сидите? А ну обнимитесь! Поцелуйтесь!» И когда мы, посмеиваясь, соприкасались губами, восторженно и хищно взвизгивала, с размаху прыгала к нам на колени, одной рукой обнимала за шею меня, другой — маму и совалась мордашкой к нам, чтобы целоваться а-трау.

— Папенька приехал! Папчик! Наш любименький! А я не успела дописать сказку! А ты уже отдохнул?

— Да, Польша, — ответил я. — Я уже отдохнул.

— Здорово, мам, правда? Как быстро!

— Долго ли умеючи, — сказала Лиза. У нее было счастливое лицо. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в небритый подбородок.

5

Гудок. Гудок. Гудок. Еще гудок. Неужели успела куда-то уйти? Мутное марево сотен приглушенных разговоров и сотен шаркающих шагов висело в громадном зале, время от времени его продавливал шкворчащий голос громкоговорителей, объявляющих рейсы. Невозмутимый доктор Круус, свесив в длинной руке строгий чемоданчик, стоял поодаль и все посматривал на часы. Шалишь, до посадки еще восемь минут. Климов и Григорович из группы «Веди», азартно жестикулируя, что-то доказывали друг другу, присев прямо на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.

Щелчок.

— Стасенька, алло! Доброе утро!

— Саша! — Голос измученный, больной. — Господи, ну нельзя же так! Я всю ночь не спала, ждала, когда ты позвонишь...

Вот тебе.

— А я, наоборот, боялся разбудить, думал — отдыхаешь.

— Да уж отдохнула, поверь. Врагу не пожелаешь. Ты где?

— В аэропорту. Улетаем сейчас по делам.

— Надолго?

— Точно не знаю. На несколько дней, не больше.

— Ты успел поспать?

— Да, конечно.

— Домой забежал? — Вопросы заботливые, а тон чужой. «Повинность исполняю... от сердца улетаю...» Может, это она уже исполняет повинность? При таком тоне можно отвечать лишь, что все в порядке.

— Все в порядке. Забежал, конечно.

— Тебя покормили? В сухое переоделся?

— Все-все в порядке. Ты-то как?

— Да пустяки.

Это могло значить и что сырость опять ударила по бронхам. И что какой-нибудь журнал опять задерживает с выплатой и в доме нет денег. И что угодно. Очень значимое слово «пустяки», когда его произносят так. Но пытаться о подробностях бесполезно — не скажет ни о чем. Остается либо бессильно гадать до зуда под черепом, либо махнуть рукой, дескать, все равно сейчас ничем помочь не могу. Но так вот раз махнешь, два махнешь, три махнешь — и близкий человек становится чужим. А раз погадаешь, два погадаешь, три погадаешь — и сбрендишь. Широкий выбор.

— Стасик, я как только вернусь — сразу позвоню.

— Звони.

— Знаешь, ужасно хотелось забежать прямо посреди ночи...

— Ну и забежал бы.

Я глотнул воздуха.

— Стасик, но ты так ушла в порту...

— Обычно ушла, ногами. Саша, тебе, наверное, уже пора. — Она словно разглядела со своего Каменноостровского, что Круус опять отследил время и, тактично

не глядя в мою сторону, сделал знак сыскарям; те поднялись — Климов набросил на плечо ремень яркой молодежной сумки с нарисованными на раздутом боку пальмами и девицами в купальниках, Григорович, прядая плечами, поудобнее упокоил на спине старомодный рюкзак. Конспираторы.

Я и не знал, что сказать. От беспомощности слезы наворачивались.

— Береги себя, Сашенька, умоляю, — глухо сказала Стася и повесила трубку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЮРАТАМ

1

Жара.

Зыбко трепещет горизонт. Степь еще не сожжена, еще не стала мертвенно-коричневой и пыльной, но уже тронута жесткой желтизной. Раскалено бледно-голубое предвечернее небо; ни облачка на нем, лишь темная крапинка ястреба перетекает через зенит.

От Каспия сюда, отсюда к Алтаю, через Алтай в Монголию и дальше, дальше, обрываясь лишь вместе с материком, тянется этот изумительный, не знающий себе равных, раскатанный и утрамбованный тысячелетним солнечным половодьем травяной океан.

Великая степь. Грандиозный котел, кипевший двадцать веков. Сколько раз он выплескивал обжигающие оседлый мир волны! Великая культура; не столько, быть может, по конечным достижениям своим — хотя нам ли, забившимся в тяжелые утесы неподвижных домов, судить об этом, — сколько по своеобразию и по длительности этого своеобразия.

Едет гуннов царь Аттила...

Где-то здесь — ну может, немного южнее — прошли когда-то те, кто, поначалу залив половину Руси кровью, затем выдержав волну ответной экспансии, давно стал с этой Русью как бы двумя сторонами одной медали; драгоценной медали, которой скупая на призы история награждает тех, кто сумел выжить и сжиться.

Священная земля.

Словно бы в задумчивости отойдя подальше от остальных и улучив момент, когда на меня не смотрели, я опустился на колени и быстро поцеловал эту сухую и крепкую, как дерево, землю. Поднялся. От ангаров уже шпарил, подпрыгивая на невидимых отсюда неровностях, открытый джип; уже виден был начальник тюратамского гэбэ полковник Болсохоев, стоявший в кабине рядом с шофером и отчетливо подпрыгивающий вместе с джипом. Одной рукой он вцепился в ветровое стекло, другой придерживал за козырек фуражку. Я медленно пошел ему навстречу. Джип подлетел и, передернувшись всем телом, остановился как вкопанный; Болсохоев, с заранее протянутой рукою, соскочил на землю. Мы обменялись рукопожатием.

— Здравствуйте, Яхонт Алдабергенович.

— Здравствуйте, Александр Львович, с прибытием. — Он тронул фуражку, до этого, видимо, нахлобученную

слишком туго, чтобы не сдуло. — Да, Ибрай вас очень точно посадил. С этого самого места взлетал «Цесаревич». До ангаров триста двадцать метров. Тягач, который выкатил гравилет со стоянки на поле, вел Усман Джумбаев. И по его собственным словам, и по всем свидетельствам — к аппарату он не подходил. Привел тягач из гаража — вон там наши гаражи, слева, — не выходя из кабины дождался, когда зацепят; вывел на поле, дождался, когда отцепят, опять-таки не выходя из кабины, и вместе с техником Кисленко вернулся в гараж.

За разговором мы незаметно подошли к авиетке, доставившей нас из Верного. Я представил Болсохоеву своих людей, притаившихся от солнца в тени небольшого, наполовину остекленного корпуса.

— Я еще нужен, Яхонт Алдабергенович? — спросил молодой пилот, высунувшись из кабины.

Болсохоев вопросительно посмотрел на меня. Я жестом отпасовал вопрос обратно к нему.

— Тюратам — вот он, три версты, — сказал Болсохоев, махнув рукой в сторону раскинувшегося по северному горизонту, плавящегося в мареве массива белоснежных многоквартирных домов. — Там, — полковник ткнул на юго-запад, — стартовые столы, это подальше, верст семнадцать. Но, как я понимаю, нам туда не нужно?

— Пока не нужно.

— Тогда лети, голубчик, — сказал Болсохоев пилоту.

Тот кивнул, повел ладонью прощально и втянул голову в кабину. Параболические приемники нагребне авиетки шевельнулись, оживая, усталились в одну точку, и авиетка беззвучно взмыла вверх. Все стремительнее... вот слепяще моргнул отсвет солнца, отраженный каким-то

из стекол кабины, вот уже стала темной крапункой, как ястреб, — и пропала.

— Рассказывайте дальше, Яхонт Алдабергенович, — попросил я.

— Степа Черевичный все утро возился в соседнем к «Цесаревичу» гнезде, — кивнув, продолжил Болсохоев. — Один наш поисковик, «Яблоко», третьего дня вернулся с капремонта, а Степа такой придира... Сенсор какой-то плохо реагировал, западал контакт, что ли, и он перебирал схему. До «Цесаревича» ему было шаг шагнуть. Но в ангаре же всегда народ. Другие техники и вдобавок охранник, выставленный у «Цесаревича» после техосмотра, божатся, что Черевичный из моторного отсека «Яблока» не вылезал. После отлета наследника он там еще часа четыре возился, даже на обед опоздал. Наконец, сам охранник, Вардван Нуриев. Девять лет беспорочной службы. В показаниях свидетелей — мельком видевших его техников, рабочих, ходивших туда-сюда, есть, конечно, дырки в минуту-две, но в целом все сходятся на том, что вплотную он к гравилету не подходил. И потом: за полчаса до того, как заступить на пост, он пришел на службу, через проходную пришел, с совершенно пустыми руками.

— Взрывное устройство мог ему передать, например, хоть тот же Черевичный. Оно могло быть заранее припрятано, скажем, где-то в «Яблоке». Достаточно полминуты...

— Да, так тоже могло быть. Версий много, но наиболее вероятным представляется иное. Однако, если позволите, Александр Львович, сначала у меня к вам вопрос.

— Ради бога, Яхонт Алдабергенович, ради бога.

— Факт минирования «Цесаревича» абсолютно доказан? — Болсохоев голосом подчеркнул слово «абсолютно». — Не получится так, что мы понапрасну...

— А почему вы спросили, Яхонт Алдабергенович? У вас есть какие-то сомнения?

— Да как сказать... — смущенно пробормотал полковник и вдруг, решившись, выпалил: — Не то что сомнения, а просто в голове не укладывается!

Круус понимающе поджал губы и отвел взгляд, сокрушенно кивая. Климов хмыкнул, терзая желтыми зубами дешевую папиросину зловещего вида. Григорович, прикрываясь от солнца ладонью, следил за ястребом, вязнувшим в блеклой синеве.

— Вот мы с вами говорим сейчас, будто о чем-то довольно заурядном, дело как дело... а чувствую я себя как в бреду, как в сне кошмарном! Вот так вот за здорово живешь грохнуть семь человек — и мало того, Александра Петровича! Его же все любили тут... Может, просто все-таки несчастный случай?

— Увы, Яхонт Алдабергенович, — ответил я. — Формально еще не доказано, но физики уверяют, что мотор никак не мог дать взрыва. Я утром в Краматорск специально звонил, говорил с тремя инженерами гравимоторного завода — нет. Все, как один: нет. Ну а что до факта — мои люди спозаранку вылетели в Лодейное Поле, чтобы тщательно осмотреть собранные фрагменты корабля. От вас попробуем позвонить туда — может, что-то уже установили.

Болсохоев помолчал.

— Ну, тогда в машину, что ли? — сказал он угрюмо. — Едем к ангарам?

Не торопясь, мы двинулись к джипу. Первым собрал Климов:

— Не поместимся.

— Да, действительно. — Болсохоев даже сбился с шага. — Простите... я одного вас ждал, Александр Львович. Что-то мне не так передали.

— Идемте пешком все вместе, — предложил я. — Как раз по дороге успеете окончательно обрисовать ситуацию.

Болсохоев с готовностью кивнул и сделал ждавшему в джипе шоферу освобождающий жест рукой. Джип, тихонько урчавший на холостом ходу, начальственно рывкнул и прыгнул с места; круто развернулся, кренясь и пружинисто подскакивая, и понесся к гаражам.

— Подозрения прежде всего падают на Игоря Фомича Кисленко только лишь потому, что он, в отличие от перечисленных мною троих, исчез бесследно сразу после отлета «Цесаревича», — заговорил Болсохоев. — С другой стороны, он дважды на протяжении последних минут перед взлетом оставался с аппаратом практически наедине — ни из аппарата, ни из тягача его не было видно. В ангаре он один зацепил за носовые крючья два буксировочных троса; тут его, правда, мог видеть охранник. Охранник за этой операцией в действительности не следил, но Кисленко этого знать не мог. Проходивший мимо механик Гушин видел мельком, как Кисленко возится со вторым тросом, но ничего подозрительного в его действиях не заметил, мы беседовали с Гушиным очень тщательно. И наконец, самый вероятный момент — отцепление тросов. Это две-три минуты, и вокруг — никого. Магнитную, например, мину пришлепнуть где-нибудь у кормы — секундное дело, если знать, где ей не угрожает быть сорванной воздушным потоком. Кисленко, опытнейший технарь, такое укромное место, безусловно, мог придумать.

Действительно, было во всем этом что-то от кошмарного сна. В разговоре то и дело мелькало: опытнейший

технар, беспорочная служба, проверенный человек, надежный работник... И ведь иначе и быть не могло — Тюратам! А в то же время семь ни в чем не повинных людей погибли страшной смертью.

А каково сейчас великой княгине Анастасии? Красавица, умница, настоящий друг; мне довелось танцевать с нею на последнем рождественском балу — как она ловила взгляд мужа!

Каково было бы Лизе или Стасе, если бы меня...

А мне, если бы ее или ее?

До чего же беззащитно человеческое тело! Даже лаская, можно ненароком сделать больно; что уж говорить о намеренном вреде. Как эта божественная капелька нуждается в опеке, в заботе; сколько ослепительно прекрасных чувств и поступков висит на волоске, в полном рабстве у тонюсенькой кожицы, у ничтожных грязных бляшек на стенках сосудов, у какой-то там синовиальной жидкости, у потайной капли гормонов — беречь, беречь друг друга, помогать и прощать, пестовать, как больных, ведь все мы больны этой плотью, хрупкой, как раковина улитки, и жадной до жизни, как жаден до солнца зеленый лист. Иначе просто не выжить!

— А что, собственно, значит — исчез? — спросил я.

— Исчез — это исчез, и все тут, — вздохнул Болсохов. — Вскоре после отлета пошел домой обедать — он живет тут относительно неподалеку, на ближней окраине Тюратама: от остановки автобуса, который ходит между аэропортом и городом, ему ходу минуты три, поэтому и обедал он обычно не в столовой, а дома... И тут — сообщение получаем из столицы. Ну, пока раскрутились — еще час прошел, не меньше. Туда, сюда — нет Кисленко. Все под рукой, а его, как у вас в России говорят,

будто корова языком слизнула. С работы ушел, домой не пришел. Мы на вокзал, на автовокзал, в пассажирский аэропорт, всем кассирам, всем постовым суем фотографию — нет, не помнят. Конечно, это не гарантия — мог проскочить, и его не запомнили, или на попутках удрал, да мало ли... Но — странно все же. И ведь какая тут еще несуразица — он, как обыск показал, перед тем как из дому на работу идти в то утро, все документы уничтожил.

— Как это? — опешил я.

— Водительские права сжег — корочки обгоревший кусок нашли в пепельнице, и все. Над паспортом куражился, будто озверел — рвал по странице и жег, орла изрезал ножиком и тоже подпалить хотел, но обложка обуглилась только, жесткая... В той же пепельнице еще зола, уж не поймешь от чего.

— Как же он на работу попал?

— Пропуск, значит, сохранил.

— А вы этот пропуск по городу поискать не пытались? В мусоре, в урнах... и просто так, на тротуаре каком-нибудь, на лестнице?

— Признаться, нет.

— Если быть логичным, он сразу после дела должен был избавиться и от последнего из столь ненавистных ему документов. Скажем, прямо в автобусе швырнул под сиденье и еще каблуком потоптал... или в канаву на обочине. Нет, пожалуй, не найти, если в канаву. А в автобусе — пожалуй, найти, Яхонт Алдабергенович! И в урне найти!

Он с сомнением покачал головой. Зато Круус удовлетворенно засопел, закивал.

— А в больницах вы искали его?

— А как же! Все три стационара, все травмпункты, профилакторий... даже в моргах смотрели. Нету. И происше-

ствий никаких не было — ни драки, ни наезда, ни убийства, ни несчастного случая. То, что после дела его кто-то ликвидировал, мы сразу подумали. Нигде ничего.

— Да, понимаю. Но... я имел в виду кое-что иное. Психиатрическая есть в Тюратаме?

Болсохоев удивленно покосился на меня.

— Нет.

— А пункты неотложной наркологической помощи?

— Как же не быть, семь штук. Нет-нет да и попадет пьяненький... да и дурь просачивается иногда из Центральной Азии. Думаете, техник первого ранга Кисленко, пустив на воздух наследника российского престола, так напоролся на радостях в ближайшей подворотне, что даже до дому не дошел и вот уж сутки прочухаться не может?

— Не совсем так. Но вот что мне покоя не дает. Преступление, которое выглядит немотивированным, совсем не обязательно должно иметь неизвестный нам мотив. Оно и на самом деле может оказаться немотивированным.

За спиной у меня опять раздалось удовлетворенное сопение Крууса. Болсохоев обескураженно провел ладонью по лицу.

— Упустил, — признался он. — Не пришло в голову. А ведь верно: Асланов, последним видевший Кисленко накануне, обмолвился, что тот был как бы не в себе!

— Вот видите. Надо будет очень тщательно поговорить со всеми, кто его видел в последние сутки перед катастрофой. И с его домашними. Есть у него домашние?

— Жена и мальчишек двое.

— Значит, и с женой. Теперь вот что. — До ангаров оставалось совсем немного, и я хотел покончить с этим

щекотливым для меня вопросом, пока вокруг минимум людей. — Мне сказали, что Кисленко — коммунист.

— Да.

— Давно?

— Двенадцать лет.

— Кто принимал у него обеты?

— Алтансэс Эркинбекова. — Голос Болсохоева приобрел уважительный, едва ли не благоговейный оттенок.

— Здесь, в Тюратаме?

— Да.

— Нам с нею нужно будет поговорить.

— Это невозможно, Александр Львович. Три года назад она умерла. — Болсохоев испытующе покосился на меня, видимо размышляя, как я сообразил секундами позже, не сочту ли я то, что он собирался сказать, за неуклюжую попытку подольститься к столичной штучке — ему, конечно, сообщили уже, что эмиссар центра по вероисповеданию является товарищем подозреваемого, — а потом решительно закончил: — Хоронили всем городом, как святую.

— В таком случае нужно будет поговорить с нынешним настоятелем Тюратамской звезды, — невозмутимо сказал я.

Разговор прервался. Последние три десятка метров мы прошли молча; распаренный северянин Круус, не в силах долее сдерживаться, то и дело вытирал лицо просторным, чуть надушенным платком. Открыв перед нами дверь административного флигеля, Болсохоев, пряча глаза, пробормотал невнятно:

— И все-таки, знаете... Кисленко был непьющий.

2

В кабинете начальника охраны аэродрома, где мы временно обосновались, было сравнительно прохладно; шелестел и поматывал прозрачно мельтешащей головой вентилятор. Крууса в сопровождении одного из местных работников, молодого ротмистра-казаха, явно счастливого тем, что ему выпало участвовать в расследовании столь поразительного злодеяния, я отправил по наркопунктам; Григоровича — домой к Кисленко, наказав осмотреть все доскональнейше не просто так, а именно на предмет поиска других следов аномального, алогичного поведения подозреваемого — уж очень меня насторожили эти горелые документы; Климову велел осмотреть рабочее место Кисленко в поисках любого тайника либо следов изготовления мины. Трое ребят Болсохоева двинулись, бедняги, за пропуском — нудная и малоперспективная работа, но пренебрегать нельзя было ничем. Кабинет опустел — остались сам Болсохоев да я. Он, отдуваясь, чуть вопросительно покосился на меня и растегнул китель, потом — верхнюю пуговицу рубашки. Уселся напротив вентилятора, сокрушенно покачивая головой от всех этих дел, и на какой-то миг показался мне удивительно похожим на вентилятор — такое же круглое, плоское, понурое и доброе лицо. Только от вентилятора веяло свежестью, а от Болсохоева — жаром. Я вытер потный лоб тыльной стороной ладони, присел на край стола возле телефонов, положил руку на трубку.

— Вот еще что я хотел спросить вас, Яхонт Алдаберганович.

— Слушаю вас, Александр Львович.

— Собственно, если бы что-то было, вы бы мне и сами сказали... но все же. Не было ли каких-то попыток помешать работе на столах или... каких-то покушений на занятых в «Аресе» специалистов...

— Конечно, сказал бы, — ответил Болсохоев. — Это — буквально первое, что и мне пришло в голову. А раз первое — значит, неверное, так весь мой опыт показывает. Ничегошеньки, Александр Львович. Чисто. Если бы было, я бы знал... и все равно сразу поговорил на эту тему и с начальником охраны космодрома, и с молодцами, отвечающими за безопасность ведущих специалистов. Ничего. Ни шантажа, ни подметных писем, ни покушений, ни диверсий. Это не «Арес».

— Откровенно говоря, я тоже так думаю, — проговорил я и поднял трубку. Набрал на клавиатуре код Лодейного Поля, потом номер телефона, потом сразу — код, включающий экранировку линии. Посредине клавиатуры зажглась зеленая лампочка, и в трубке тоненько, чуть прерывисто засвистело — значит, разговор пошел через шифратор и подслушивание исключено.

Повезло. Подошел сразу Сережа Стачинский из группы «Аз».

— Это Трубецкой. Что у вас, Сережа? Осмотрелись?

— Так точно, Александр Львович. Все правильно, никаких сомнений. Диверсия.

Так. Я на секунду прикрыл глаза. Ну, собственно, никто и не сомневался. И все-таки прав Болсохоев — не укладывается в голове. Раздвоение личности: уже семнадцать часов занимаюсь преступлением, а в глубине души до сих пор не могу поверить, что это действительно преступление, а не несчастный случай.

— Вы уверены? — все-таки вырвалось у меня.

Стачинский помедлил.

— Господин полковник, ну не мучайте себя, — проговорил он мягко. — Сомнений нет.

— Какая мина? Чья? Удалось установить? — Я забросал его вопросами, и тон, кажется, был немного резковатым — но мне очень не хотелось выглядеть раскисшим.

— Фрагменты, конечно, в ужасном состоянии, — ответил Стачинский. — Мы перевезем их в Петербург и все осмотрим еще раз в лаборатории. Но предварительное заключение такое: мина-самоделка, кустарного производства. Патрон с жидким кислородом, плюс кислотный взрыватель, плюс магнит, плюс обтекатель. Все гениальное просто. Такой пакостью нас всех можно извести, ежели поставить это дело на поток. Нашлепнута была под левым параболоидом тяги — параболоид сбрило в долю секунды, гравилет сразу закрутило вдоль продольной оси... в общем, вот так.

— Понятно, — сказал я. Голос чуть сел, я кашлянул осторожно.

— Что? — не понял Стачинский.

— Ничего, Сережа, это я кашляю. Горло перехватило от таких новостей. Когда вы в Петербург намерены двигаться?

— Часа через три. Я только что закончил осмотр. Сейчас начинаем паковаться — уложимся и вылетаем сразу.

— Вы уж там... осмотрите корабль перед вылетом.

— Тьфу-тьфу-тьфу. Правда, собственной тени пугаться начнешь. Адово душегубство какое-то.

— Еще вопрос, Сереженька. Сколько времени нужно, чтобы укрепить такой гостинец на обшивке?

Стачинский хмыкнул.

— Две с половиной секунды. Секунда — чтобы запустить руку за пазуху или в висящую на плече сумку, секунда — чтобы вынуть, и полсекунды — чтобы, поднявшись на цыпочки, сделать «шлеп!»

— Понял, — опять сказал я. — Ладно... Как там погода?

— Спасибо, что хоть не льет. А у вас?

— А у нас — льет с нас, — ответил я. — Ну, счастливо. Если в лаборатории что-то выяснится дополнительно — звони. Я пока обратно не собираюсь.

Повесил трубку и поднял глаза на смиренно ждущего Болсохоева — тот жмурился, подставляя лицо вентилятору; волосы его, черные и жесткие, ершились и танцевали в потоке воздуха.

— Ну вот, — сказал я. — Взрывное устройство, которое мог бы собрать и ребенок. Хорошо, что у нас так редко дети с подобными наклонностями. Кислородный патрон и кислотная капсула.

Болсохоев открыл глаза и опять удрученно покивал. Потом вдруг встрепенулся, чуть косолапя — видно, ногу отсидел — подбежал к телефону и сдернул трубку. Я отодвинулся, чтобы не мешать. Болсохоев набрал какой-то короткий номер и, дождавшись, когда там поднимут трубку, темпераментно заговорил по-казахски. Я отодвинулся еще дальше; тут уж я, черт бы меня побрал, не мог сказать даже «дидад гмадлобт». Отвратительное ощущение — безъязыкость; сразу чувствуешь себя посторонним и ничтожным. Болсохоев делал виноватые глаза, а улучив момент, прикрыл микрофон рукою и шепотом сказал:

— Извините, Александр Львович. Сегодняшний дежурный по складу не понимает по-русски.

— Оставьте, Яхонт Алдабергенович. Это не он не понимает по-русски, а я не понимаю по-казахски. К сожалению. Я к вам прилетел.

Болсохоев чуть улыбнулся, уже слушая, что ему говорят оттуда. Потом что-то сказал, кивнув, и повесил трубку. Помолчал. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Не далее как позавчера Кисленко получал на складе жидкий кислород. Восемнадцать патронов. На вчерашний день планировался длительный сверхвысотный полет экологического зонда «Озон», это для него.

— Надо проследить судьбу каждого патрона, — сказал я. — Не мог ли кто-то кроме...

— Проследим, — ответил Болсохоев. Помедлил. — Да он это, он, Александр Львович.

— И выяснить, кто дал Кисленко приказ на получение кислорода и когда. — Я снова потер лоб. — Ох вижу, что он... Давайте свидетелей, Яхонт Алдабергенович. И первым — того, кто видел, что Кисленко «как бы не в себе».

Наладчик Асланов показал, что позавчера, то есть в день накануне катастрофы, он встретил Кисленко у проходной. Видимо, тот возвращался из дома после обеда. Он стоял у внутреннего выхода, уже на территории аэродрома, и разглядывал собственный пропуск, очевидно, только что предъявленный им охраннику. Асланов пошутил еще — дескать, себя на фотографии узнавать перестал, стареешь-толстеешь? Кисленко поднял на него глаза, и они были какие-то странные, погасшие и тупо-недоуменные, словно техник и Асланова, старого своего приятеля и неизменного партнера по домино и нардам, не узнал, вернее, не сразу узнал, а с трудом вспомнил.

Асланова поразило лицо Кисленко — оно было усталым и то ли ожесточенным, то ли горестным. «Я было подумал, у него по меньшей мере жена при смерти», — сказал Асланов. Впрочем, это выражение мгновенно пропало, Кисленко овладел собой. Он как-то невнятно отшутился — Асланов даже не запомнил, как именно, — но произнес непонятную, запомнившуюся фразу: «С ума все пошло, что ли...» Асланов, слегка обидевшись, попросил уточнить, но Кисленко, видимо, уже окончательно очнувшись, засмеялся, хлопнул его по плечу и сказал: «Это я о своем». Потом пошел к ангарам. Отзыв о Кисленко, в целом, самый положительный: отличный товарищ, прекрасный работник, настоящий коммунист.

Электротехник Чониа показал, что вечером того же дня застал Кисленко в мастерской, тот что-то вытачивал на токарном станке. Кроме него, в помещении никого уже не было. Чониа, зашедшему в мастерскую случайно, в поисках потерянной записной книжки — он нашел ее позже совсем в другом месте, в столовой, — показалось, что Кисленко был смущен и обеспокоен встречей. Чониа ни о чем его не спрашивал, но Кисленко сам пустился в объяснения: дескать, варганит сынишке подарок ко дню рождения... Между прочим, у сыновей Кисленко дни рождения в ноябре и в марте. Но в ходе разговора Чониа об этом не вспомнил — он был озабочен потерей и быстро ушел. Отзыв о Кисленко в целом — самый положительный: такого справедливого, отзывчивого, всегда готового помочь человека редко встретишь.

Сразу трое свидетелей показали, что в утро перед катастрофой Кисленко выглядел сильно возбужденным. Но значения этому не придали тогда — все были в приподнятом настроении, зная, что предстоит встреча с вели-

ким князем, человеком, которого, как я лишний раз убедился, все здесь глубоко уважали. Зато, вернувшись с поля на тягаче, Кисленко преобразился — из него будто пружину какую-то вынули, он оглядывался, как бы не очень хорошо понимая, где он и что здесь делает. Вздвигивал от малейшего шума; когда к нему неожиданно обратились сзади, вскрикнул. Впрочем, он почти сразу ушел. Обедать, так решили все. Отзывы о Кисленко — самые положительные.

В обогатитель регенерационной системы готового к полету «Озона» были установлены все восемнадцать патронов. Запуск был сорван лишь начавшейся в связи с гибелью «Цесаревича» суматохой. Элементарная проверка показала, что один из установленных патронов — пустой, уже отработанный. Устанавливал патроны Кисленко. Накладную на получение кислорода подписал начальник метеослужбы космодрома Сапгир. Полеты такого профиля были довольно обычной практикой: метеорологи тщательно следили за состоянием атмосферы на различных высотах над Тюратамом, пытаясь однозначно выяснить, влияют на нее губительным образом или все-таки нет запуски больших кораблей.

Около восьми вечера мы с Болсохоевым позволили себе прерваться и выпить по стакану кофе с бутербродами. Но не успел я и первого глотка спокойно проглотить, как посыпались очередные новости.

Вернулись ребята Болсохоева и гордо протянули Яхонту Алдабергеновичу пропуск Кисленко. Они нашли его в одном из рейсовых автобусов, ходивших от аэродрома к городу и обратно; нашли бы и раньше, но, как на грех, как раз сегодня этот автобус не вышел на линию, что-то там было не в порядке с коробкой передач. Пропуск ва-

лялся на полу под одним из сидений, полуприкрытый отставшей от металлического днища резиновой подстилкой. Он был совершенно цел; очевидно, Кисленко над ним уже не упражнялся. Прихлебывая кофе, я со скорбным удивлением рассматривал лицо на фотографии — обычное лицо славного человека средних лет, испуганно-напряженное, как это всегда бывает на фото в служебных документах, с близорукими морщинками у глаз, с небольшой родинкой на левой щеке, с мягкими губами; под левый параболоид этот человек поставил мину. Не понимаю, думал я, не понимаю. «С ума все походили, что ли...» Не понимаю. И тут явился Григорович — ничего не нашедший Климов пришел еще раньше и тихо стушевался в углу, у открытого окна, тет-а-тет со своими жуткими папиросами. Григорович тоже ничего не нашел — никаких иных странностей, кроме обгоревших корочек документов. И жена Кисленко, уже не на шутку встревоженная исчезновением мужа и нашей активностью, ничего интересного не смогла для него припомнить. Правда, в ночь перед катастрофой Кисленко почти не ложился; она оставила его в кабинете, с непонятной пристальностью изучавшего позаимствованный у старшего сына школьный учебник «История России в новое время» — почитает с каким-то изумлением, поднимет глаза, шевеля губами, потом опять почитает. Но разве это предосудительно?

А в целом он был как всегда. Очень усталый только. Очень. Опустошенный какой-то. Но она решила, что просто было много работы в связи с отлетом наследника, и ничего спрашивать не стала.

Одну странную фразу он сказал ей, и от этой фразы теперь, задним числом, можно было белугой завить. Уже

уходя поутру на работу в день катастрофы, чмокнув жену в щеку, он улыбнулся как-то необычно жестко и проговорил: «Ну ладно. Иду отдуваться за вас за всех, чистоплюев блаженненьких. Жаль, до самого мне уж не дотянуться». Она спросила, что он имеет в виду, — а он не ответил.

Я снова нацелился было на свой бутерброд, и позвонил телефон. Болсохоев снял трубку, алекнул, послушал и протянул трубку мне.

— Круус, — сказал он.

— Трубецкой, — произнес я в трубку.

— Мы нашли его. — От явного волнения Круус сильнее обычного растягивал свои каучуковые эстляндские гласные. — Приезжайте, это пятый пункт неотложной наркологии. Кисленко очень плох. И хуже всего то, что я не понимаю, что с ним.

3

Кисленко нашли около двух часов дня на улице, неподалеку от остановки автобуса аэродром — город, но не той, на которой он обычно выходил, а двумя позднее; похоже, свою он просто-напросто проехал. Видимо, уже в автобусе ему стало худо, он начал терять разумение — но еще выбрался как-то, добрел до укромной, притаившейся на бережку арыка, в тени карагачей, скамейки и тут окончательно потерял сознание. В какое время это было — точно сказать невозможно; Тюратам — город рабочий, днем на улице редко кого встретишь. Набрели на Кисленко два гимназиста, шедшие домой после занятий. Кликнули городского. Вот картина: завалившись на-

бок, сидит на лавочке человек, изо рта — струйка слюны, припахивает спиртным, брюки мокрые, моча. Конечно, городской решил, что человек пьян до утери человеческого облика. Вызвал «хмелеуборщиков». Те, хоть случай и редкий, особенно рефлексировать не стали; привезли на пункт, сделали промывание желудка, укол и оставили просыпаться. Во время перевозки Кисленко бормотал что-то, как бы бредил, но кто же прислушивается в таких случаях? Правда, один санитар, из молодых, видно, ему все это еще в диковинку казалось, зафиксировал на редкость, с его точки зрения, нелепую фразу — нелепостью своей она в память и врезалась. Неразборчиво пробубнив что-то насчет, как он непонятно выразился, «демогадов», Кисленко вдруг очень ясно сказал: «Народу жрать нечего, а вам тут обычных начальников мало, еще и царей опять развели...» Двое других подтвердить показания молодого коллеги не взялись, но один неуверенно покивал: да, про царя что-то было, но что именно — не отложилось.

Лишь утром врачи забеспокоились всерьез — Кисленко не приходил в себя; уже он явно не спал, а был без сознания и по временам дико вскрикивал. Взяли анализы. Следов употребления наркотиков не обнаружили, следы алкоголя — в минимальном количестве. Столь гомеопатическая доза никак не могла вызвать подобный эффект. Наверное, так я подумал, Кисленко просто хлебнул граммов полста спирта для храбрости перед самым делом или сразу после него, чтобы расслабиться. Не более. Но расслабиться у него не получилось.

Его пытались привести в себя. От средств самых элементарных, вроде нашатыря, до сложных комплексных уколов — все перепробовали, и все тщетно. Пытались

установить личность, но документов никаких не обнаружили, а когда, постепенно начав соображать, что случай очень уж нетривиальный, затеребили городское полицейское управление, тут уже и Круус приехал.

— Для очистки совести я повторил все анализы, — рассказывал Круус, а я вглядывался в запрокинутое, иссохшее, уже покрытое седоватой щетиной лицо Кисленко на подушке. Оно было так не похоже на фотографию в пропуске... Словно техник прошел через какую-то катастрофу, через жуткую, средневековую войну, где сдирают кожу с живых, где младенцев швыряют в пламя. Время от времени губы его беззвучно шевелились. Свет настольной лампы, стоявшей на стандартной больничной тумбочке у изголовья, вырубал из лица резкие черные тени, они казались пробоинами. — Ничего, чисто. Никаких следов психотомиметиков, галлюциногенов, препаратов, усиливающих внушаемость... вообще никаких препаратов, кроме тех, что ему вводили здесь. Память вашу имплицитно высказанную гипотезу, я пытался разблокировать ему память. — Губы Крууса слегка задрожали. Засунув руку куда-то глубоко под явно с чужого плеча белый халат и повозившись на груди, он извлек свой просторный носовой платок и вытер лицо. Мельком я отследил, что платок уже выдохся. Пахло медикаментами, пахло влажным кафельным полом, пахло мучающимся на постели человеческим телом — но духами не пахло. — И тут, Александр Львович, я едва не оказался на соседней койке надолго.

— Что такое?

Круус упихал платок обратно.

— Он пришел в себя. Он открыл глаза, он сел в постели. Помню, я еще успел обрадоваться — мол, все идет

хорошо, сейчас начнем разбираться... И тут он закричал: «Нет! Не хочу! Он ведь живой! Он мне улыбается!» Признаюсь вам, такой муки, такого отчаяния я не наблюдал никогда в жизни. Он попытался соскочить с постели. Его с трудом удерживали двое санитаров. Тогда он стал кричать: «Убейте меня!» И я, отчасти от испуга, а отчасти желая хоть как-то успокоить его, притупить его очевидные, хотя совершенно непонятные мне страдания, поспешил погрузить его в сон. Успокоительный, релаксационный сон.

— Его крики вы как-то фиксировали?

— Все на диктофоне. И еще там — фраза, которая, без сомнения, пополнит и украсит ваш список странных фраз, произнесенных Кисленко за последние сутки. Заснул он мгновенно, но поначалу спал беспокойно, метался и словно бы боролся с кем-то. И вдруг внятно рявкнул: «Да что ж ты женщину-то!.. Омон хуев, кого защищаешь? Они, Иуды, Россию продают, а вы тут с дубинами!» Потом беззвучно еще что-то пробормотал — я пытался читать по губам, но смысла не уловил — и вдруг тихонько так, беспомощно: «Флаг, флаг выше... пусть видят наш, красный...» И уже потом — все. У меня даже зубы скрипнули. «Тихонько», «беспомощно» — что же происходит? Бедный, бедный человек!

Как это сказал Ираклий? «Найди их и убей». Вот, нашел.

— Омон, — медленно повторил я незнакомое слово.

— Что значит это слово, я не знаю, — сразу сказал Круус.

Черт боднул меня в бок.

— А что значит следующее за ним, знаете?

Круус с достоинством поджал губы.

— Пф! Али я не россиянин? — спросил он со старательным волжским поокиванием.

— Ну, хорошо, хорошо, Вольдемар Ольгердович, извините. Вы уверены, что правильно расслышали?

— Кисленко отчетливо окает, сильнее, чем я сейчас изобразил. Сомнений быть не может. Два «о» и ударение на последнем слоге.

— Может, что-то блатное? Надо будет проконсультроваться у кримфольклористов... Хотя откуда технику Кисленко знать?..

— Возможно, имя? — предположил, в свою очередь, Круус. — Это было бы очень удачно. Хотя... — как и я, оборвал он себя, — тогда почему дальше идет множественное число: «с дубинами»?

— Как вы насчет перекурить, Вольдемар Ольгердович? — спросил я.

— Охотно. Мне это помещение уже несколько... — Он не подобрал слова и даже не стал напрягаться, чтобы закончить фразу, — и так все было понятно.

— Я тут посижу, — подал голос Болсохоев. В комнате уместалось семь коек, и все они были свободны — за исключением той, на которой страдал в своем непонятном забытии Кисленко. Полковник, сцепив пальцы и сгорбившись, сидел на соседней сиротливо и грустно. — Вдруг он еще что-нибудь скажет.

Мы вышли в коридор. Прошли мимо виновато глядевших медиков — один тут же нырнул в дверь за нашими спинами, Круусу на смену; прошли мимо заплаканной жены Кисленко, когда-то, видимо, красивой, но уже сильно расплывшейся таджички — Круус, собрав губы трубочкой, чуть покачал головой отрицательно в ответ на ее отчаянный взгляд.

Наркопункт был упрятан в глубине небольшого, но плотного и пышного скверика, и рыжий свет уличных фонарей сюда не долетал. Мы отошли за угол, чтобы не была в глаза резкая лампа над входом, и уселись на скамейку во мраке, под громадными звездами, лезущими с бархатного неба сквозь просветы в узорных листьях чинар.

У Крууса дрожали руки, я дал ему огня. Затлели оранжевые огоньки. Было тихо.

— Гипнотическое программирование? — спросил я.

— Я понимаю, — неторопливо заговорил Круус, — вас, как неспециалиста, все наводит на эту мысль. Действительно, нам известны отдельные случаи, когда преступники, для того чтобы осуществить какие-то короткие акции чужими руками, руками случайных людей, на которых и подозрение-то пасть не может, прибегают к этому изуверскому приему. — Он нервно затаился, и это движение представляло собою решительный контраст деланному спокойствию речи. — Как это происходит? Вначале человек подвергается форсированному внушению, как правило, с предварительным введением в организм препаратов, облегчающих эту операцию. С едой, с питьем или — аэрозоль... Скажем, гексаметилдекстриализергинбромиды или что-то в этом роде, не важно. Важно то, что их следы можно обнаружить в организме еще недели через две-три после введения — а я их не обнаруживаю. А еще неделю назад никто — это вы мне сами сказали — не знал, что великий князь соберется в Петербург. Дальше. О полученном внушении человек не помнит и живет себе припеваючи. Но в определенный момент, под воздействием какого-то заранее введенного в программу детонатора — кодового слова, открытки с

определенным изображением, появления человека с определенной внешностью, наконец, просто специфического боя часов, был такой случай, — на некоторый промежуток времени человек превращается в робота и совершает ряд некоторых, строго заданных действий. Его способность к их варьированию в зависимости от конкретной ситуации минимальна.

— Вы хотите сказать, что для того, чтобы Кисленко собрал кислородную мину, именно этот тип мины должен был вложить ему в подсознание преступник?

— Совершенно справедливо, — кивнул Круус.

— Значит, преступник должен был заранее знать, что накануне отлета «Цесаревича» Кисленко получит на складе кислород?

— Бесспорно.

— Но решение о запуске пилотируемого зонда «Озон» было принято на несколько дней раньше, чем стало известно об отлете «Цесаревича».

— Вот видите. Опять нестыковка. Но самое главное дальше. Исполнив программу — передав, скажем, пакет кому-либо, установив мину, да, мину, были прецеденты, — «пешка» ничего о своих действиях не помнит и опять живет припеваючи. И даже если доходит дело до допросов, отрицает все с максимальной естественностью. Я ни разу не слышал, чтобы программа конструировалась иначе, для преступников это самый привлекательный вариант. При разблокировании памяти, если оно удастся, — мне оно, как правило, удается, — скромно вставил Круус, — «пешка» вспоминает о том, что совершила в бессознательном состоянии, и иногда даже вспоминает саму операцию внушения. Хотя реже, здесь стоят самые мощные

блоки... А в данном случае, прошу заметить, все наоборот. Кисленко почти за сутки до преступления выглядит, словно очнулся в незнакомом мире. Но выглядит он вполне осмысленно, просто недоуменно — а «пешка» выглядит, наоборот, туповато, автоматически, но ничему не удивляется. Затем Кисленко быстро адаптируется, вся его память в его распоряжении, и ведет себя не только осмысленно, но и, простите, находчиво — из явно случайно подвернувшихся под руку материалов мастерит взрывное устройство.

— Может, все-таки Сапгир или кто-то из высших начальников администрации аэродрома? — совсем теряя почву под ногами, беспомощно предположил я. — Они ведь знали о планируемом полете «Озона»...

Но не о близком отлете «Цесаревича», тут же одернул я себя. Об этом никто не знал. Великий князь принял решение лететь внезапно — понял, что может позволить себе выкроить пару дней.

— Дальше, — не слыша меня, вещал Круус. — Совершив акцию, он, вместо того чтобы забыть о ней и стать нормальным, становится еще более ненормальным. Фактически он находится в шоке, и, вероятнее всего, именно от содеянного. Когда я пытаюсь разблокировать ему память, вместо того чтобы вспомнить преступного себя, он, судя по его дикому крику «Не хочу! Он живой!», становится прежним, обычным собой, добрым и славным человеком, который теперь не может жить с таким грузом на совести. Когда я оставляю его в покое, он продолжает бороться непонятно с кем, пребывая в каком-то иллюзорном мире. Что это за мир, по нескольким обрывочным фразам сказать нельзя, но, уверяю вас,

в теле Кисленко поселился сейчас кто-то другой. И с прежним Кисленко они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть.

— Шизофрения... — пробормотал я. Круус пожал плечами. — А документы? — вспомнил я. — Почему он жег документы?

— Что я могу сказать? — снова пожал плечами психолог. — Надо везти его в Петербург — там, во всеоружии, попробуем разобраться. И надо спешить. Он буквально на глазах сгорает.

Из тишины донесся стремительно накатывающий шум авто. Торопливый низовой свет фар лизнул нежную кожу деревьев — зеленоватые днем стволы вымахнули из тьмы мертвенно-белыми призраками и спрятались вновь. Отбросив окуроч, я встал посмотреть, кто подъехал.

Как я и ожидал, это был Григорович. Отъезжая с аэродрома сюда, я послал его побеседовать о Кисленко с настоятелем здешней звезды коммунистов. Беседа ничего нового не дала. Замечательный человек, честный, шепетильно порядочный, всегда буквально рвущийся помочь и защитить. Мухи не обидит. После смерти Алтансэс Эркинбековой был одним из кандидатов на тюратамского настоятеля. Едва-едва не прошел.

— Да, — сказал я с тяжелым вздохом, — здесь больше делать нечего. Конечно, пощиплем версию с начальниками, но... Доктор, перелет нашему страдальцу не повредит?

Круус долго отлавливал свой платок. Добыл наконец. Вытер губы. Потом лоб.

— Понятия не имею, — ответил он затем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СНОВА ПЕТЕРБУРГ

1

Ее я любил совсем иначе. Она была как девочка: наверное, такой и пребудет. И поначалу, долго, я словно бы ребенка баюкал и нежил, а она доверялась и льнула; но в некий миг, как всегда, эта безграничная мужская власть над нежным, упругим, радостным вдруг взламывала шлюзы, и я закипал; а она уже не просто слушалась — жадно подставлялась, ловила с ликующим криком, и я распахи-вал запредельные глубины и выворачивался наизнанку, тшась отдать этой богоравной пучине всю душу и суть; и действительно на миг умирал...

Спецрейсом мы вылетели ночью и, немного догнав солнце, оказались в Пулково глубоким вечером. Прямо с аэровокзала я позвонил Стасе — никто не подошел. И теперь, хотя прежде чем вернулось дыхание, вернулось, опережая его, грызущее беспокойство о ней — не расхворалась ли, где может быть в столь поздний час, исправен ли телефон, — я был счастлив, что поехал на Васильевский.

- Родненький...
- Аушки?
- Ненаглядный...
- Да, я такой.
- Ты соскучился, я чувствую.
- Очень.
- Как мне это нравится.

— И мне.

— Как мне нравится все, что ты со мной делаешь!

— Как мне нравится с тобой это делать!

— Может, ты поесть еще хочешь? Ты же толком не ел весь день!

— Я люблю тебя, Лиза.

— Господи! Как давно ты мне этого не говорил!

— Разве?

— Целых двенадцать дней!

— А ты...

— Я очень-очень крепко тебя люблю. Все сильнее и сильнее. Если так пойдет, годам к пятидесяти я превращусь просто в белобрысую бородавку где-нибудь у тебя под мышкой. Потому что мне от тебя не оторваться.

— Не хочу бородавку. Хочу девочку.

— А как тебя Поленька любит! Ты знаешь, по-моему, уже немножко как мужчину. Ей будет очень трудно, я боюсь, отрешиться от твоего образа, когда придет ее время.

— Когда родители любят друг друга, дети любят родителей.

— Правда. Смотрит на меня, и тебя любит; смотрит на тебя, и меня любит...

— Тебе не тяжело со мною, Лиза?

— Я очень счастлива с тобой. Очень-очень-очень.

Листья на ветру.

Но разве виновны они в том, что не умеют летать сами? Кто дерзнет вылавливать их из ветра и кидать в грязь с криком: «Полет ваш — вранье, вас стихия тащит! То, что вы летите сейчас, совсем не значит, что вы сможете летать всегда...»?

Сквозь занавеси из окон сочилось скупое серое свечение. В столовой за неплотно закрытой дверью мерно

тикали часы. Бездонно темнел внизу ковер, дымными призраками стояли зеркала. Дом.

Ее дыхание щекотало мне волосы под мышкой — там, где она собиралась прирасти. Почти уложив ее на себя, я обнимал ее обеими руками, крепко-крепко, почти судорожно — и все равно хотелось еще сильнее, еще ближе.

И как всегда после любви, я на некоторое время стал против обыкновения болтлив. Хотелось все мысли рассказать ей, все оттенки... хотя бы те, что можно.

— ...Ты никогда не говорил так подробно о своих делах.

— Потому что это дело не такое, как другие. Ты понимаешь, я все думаю — наверное, это не случайно оказался именно он. Такой справедливый, такой честный, такой готовый помочь любому, кто унижен. Ведь он и в бреду продолжал защищать кого-то, сражаться за какой-то ему одному понятный идеал. Вот в чем дело. Просто идеал этот оказался чудовищно извращен.

— Я не могу себе такого представить.

— Я тоже. Но он, я чувствую, представлял. Это было для него естественным. Словно кто-то чуть-чуть сменил некие акценты в его душе — и сразу же те качества, которые мы привыкли, и правильно привыкли, ставить превыше всего, сделались страшилищами. Знаешь, прежде я думал, что нет у человека качеств совсем плохих или совсем хороших, что очень многое зависит от ситуации. Водной ситуации мягкость полезна, а в другой она вывернется в свою противоположность и превратится в слюнтяйство и беспомощную покорность, и ситуации эти равно имеют право быть. В одной ситуации жесткость равна жестокости, а в другой именно она и будет настоящей добротой. Прости, я не умею пока сформулировать

лучше, мысль плывет... Теперь я подумал, что все не так. Ситуации, где доброта губительна, а спасительна жестокость, не имеют права на существование. Если мир выворачивает гордость в черствость, верность в навязчивость, доверчивость в глупость, помощь в насилие, — это проклятый мир.

Она вздохнула.

— Конечно, Сашенька. Ты ломишься в открытую дверь. Доброта без Бога — слюняйство, гордость без Бога — черствость, помощь без Бога — насилие...

Я улыбнулся и погладил ее по голове.

— Саша, неужели ты не чувствуешь, что я права?

— Кисленко и прежде не верил в бога — и был прекрасным человеком. И потом продолжал не верить ровно так же — и стал бешеным псом.

— Если бы он верил в Бога — он не достался бы бесам.

— Сколько верующих им достается, Лиза! И сколько атеистов — не достается!

В столовой, перебив мирное тик-тик, закурлыкал телефон.

— Кто это может быть? — испуганно спросила Лиза. — Почти три...

А у меня сердце упало. Хотя Стася никогда не звонила мне домой, и уж подавно бы никогда не позвонила ночью, первая сумасшедшая мысль была — с нею что-то стряслось.

Нет, не с нею. Звонил Круус.

— Простите, что беспокою, — сказал он бесцветным от усталости голосом, — но у вас, как я знаю, с утра отчет в министерстве, и я хотел, чтобы вы знали. Кисленко скончался.

— Он еще что-нибудь говорил? — после паузы спросил я.

— Ни слова. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Вольдемар Ольгердович. Благодарю вас. Ступайте отдыхать.

Я положил трубку.

— Что-нибудь случилось? — очень спокойно спросила из спальни Лиза.

— Еще одно тело не выдержало раздвоения между справедливостью человеческой и справедливостью бесовской, — сказал я.

— Что?

— Лиза... прости. Ты позволишь, в виде исключения... я прямо тут покурю, а?

— Конечно, Сашенька, — мгновенно ответила она. Запнулась. — Только лучше бы ты этого не делал, правда.

Я даже улыбнулся против воли. В этом она была вся. Любимая моя.

— Да, ты права. Не буду.

— Иди лучше ко мне. Я тебя тихонечко облизну.

Я пошел к ней. Она сидела в постели, тянулась мне навстречу; громоздко темнел на нежной, яшмово светящейся в сумраке груди угловатый деревянный крестик.

— Лиза — это та, которая лижется? — спросил я.

— Та самая.

Я сел на краешек, и она сразу обняла меня обеими руками. Тихонько спросила:

— Он умер, да?

— Да.

— Тебе его очень жалко?

Хлоп-хлоп-хлоп.

— Очень.

— Он же убийца, Саша.

— Он попал в какие-то страшные жернова. Я жизнь положу, чтобы узнать, что его так исковеркало.

— Жизнь не клади, — попросила она. — Ты же меня убьешь.

— ...Таким образом, для меня является бесспорным, что мы столкнулись с чрезвычайно оперативным, совершенно новым или, по крайней мере, нигде не зафиксированным прежде способом осуществляемого с преступными целями воздействия на человеческую психику. Я не исключаю того, что с подобными случаями наша, да и мировая, практика уже сталкивалась, но не умела их идентифицировать, поскольку, как вы видите, идентификация здесь очень сложна. Объект воздействия не роботизируется. Он полностью осознает себя, он сохраняет все основные черты своего характера — но поведенческая реакция этих черт страшно деформируется. И вдобавок, если судить по случаю с покойным Кисленко, вскоре после осуществления преступного акта объект воздействия умирает от чего-то вроде мозговой горячки, вызванной психологическим шоком. Шок же, в свою очередь, вызывается, насколько можно судить, нарастающими судорожными колебаниями психики между двумя генеральными вариантами поведения. По сути, с момента возникновения этих колебаний человек обречен — оба варианта обусловлены самыми существенными характеристиками его «я», и в то же время они не только являются взаимоисключающими, но, более того, с позиций каждого из них альтернативный вариант является отвратительным, унижительным, свидетельствует о полной моральной деградации «я», о полном социальном падении.

— Может, это все-таки какая-то болезнь? — спросил Ламсдорф. Понурый, расстроенный, он сидел через стол против меня, подпирая голову руками. Сквозь щели между пальцами смешно и жалко топорщились его знаменитые бакенбарды.

— Специалисты уверяют, что нет, — ответил я.

— Загадочное дело, господа, — произнес с дивана министр.

Он сидел в углу, закинув ногу на ногу, и раскуривал трубку. Как и я сутки назад, он прибыл в министерство прямо с аэродрома — из-за катастрофы «Цесаревича» ему пришлось скомкать программу последних дней своего австралийского вояжа — и он тоже был одет не по протоколу. — Загадочное и жутковатое. Контакты Кисленко вы установили?

— Я оставил людей в Тюратаме, — ответил я. — Вместе с казахскими коллегами они отработают последние недели жизни Кисленко по минутам, можете быть уверены. И в то же время я не очень верю, что это что-то даст.

— Почему? — вздернул брови министр.

— Кисленко жил незамысловато, на виду. Дом — работа, работа — дом... Да еще стол во дворе — домино да нарды. Случайных людей в Тюратаме практически не бывает.

— Но кто-то же его обработал?

Я пожал плечами.

— Кто-то обработал.

— Как вы интерпретируете эту фразу... э-э... — Министр взял сколотые страницы лежащего рядом с ним на диване отчета; покрепче стиснув трубку в углу рта, свободной рукой он вынул из нагрудного кармана очки со

сломанными дужками и поднес к глазам: — «Жаль, до самого мне уж не дотянуться»?

— Боюсь, что так же, как и вы, Анатолий Феофилактович, — стараясь говорить бесстрастно, ответил я. — Учтывая, вдобавок ко всему прочему, свидетельствующий о внезапно проявившейся патологической ненависти к царствующему дому и его символике факт глумления над документами, я склонен полагать, что этой фразой Кисленко выражал сожаление о невозможности произвести террористический акт в отношении государя императора.

— Господи спаси и помилуй! — испуганно пробормотал Ламсдорф и осенил себя крестным знамением.

— Считаете ли вы, полковник, что нам следует усилить охрану представителей династии?

Я с сомнением покачал головой.

— Ни малейшего следа систематически работающей организации мы не обнаружили.

— Обнаружите, да поздно! — воскликнул Ламсдорф.

— С другой стороны, — ответил сам себе министр, раздумчиво пыхнув трубкой, — какая, к черту, охрана усиленная, ежели самый проверенный человек может так вот рехнуться на ровном месте и выпустить в государя всю обойму...

— Вы, например, — подсказал я.

Он молча воззрился на меня.

— Вы, человек решительный и принципиальный, активно любящий справедливость, при этом горячий патриот своей родимой Курской губернии, — пояснил я, — вдруг заметили, что последнее из одобренных Думой и утвержденных государем повелений как-то ущемляет права курских крестьян. Ну, скажем, очередная ЛЭП пойдет не через Курск, а через Белгород, и в белгородских

деревнях электроэнергия окажется на полкопейки дешевле. Ведомый своею принципиальностью, просто-таки кипя от негодования, вы на первом же приеме подходите к государю и, обменявшись с ним рукопожатием, молча пускаете ему разрывную маслину в живот.

— Что вы говорите такое, князь! — возмущенно вскинулся Ламсдорф.

— Простите, Иван Вольфович, это не заготовка, я импровизирую. Но это, как мне кажется, очень удачный пример того, что произошло с Кисленко.

— Да, дела, — после паузы сказал министр и, побряхтывая, натужно встал. Пошел по кабинету — медленно, чуть переваливаясь. Видно, шибко насиделся в кресле лайнера Канберра — Питер. — Как сажа бела...

Ламсдорф удрученно мотал головой.

Министр некоторое время прохаживался взад-вперед, то и дело пуская трубкой сизые облачка ароматного, медового дыма. Потом остановился передо мною. Я встал.

— Да сидите вы...

Тогда я позволил себе сесть.

— Я-то сидеть не могу уже, право слово... Что вы дальше намерены делать?

— Ну, во-первых, проработка контактов Кисленко; как ни крутите, а это обязательная процедура. Мы об этом уже говорили. Во-вторых, я хочу попробовать задним числом выявить аналогичные преступления, ежели таковые бывали. Статистика — великая наука. Может, удастся набрести на что-то, даже закономерности какие-то выявить. И в-третьих, есть еще одна придумка... на сладкое.

— Что такое? — спросил министр.

— Мне покоя не дает бред Кисленко. Он ведь чрезвычайно осмыслен и, в сущности, описывает некую впол-

не конкретную картину. С кем-то он сражается, защищает какую-то женщину... с тем же рвением, с каким вы, Анатолий Феофилактович, ваших курских крестьян.

Ламсдорф листнул лежавший перед ним на столе экземпляр отчета, побежал глазами по строчкам.

— И дальше. Последние слова, которые произнес Кисленко в своей жизни.

— «Флаг, флаг выше. Пусть видят наш, красный», — вслух прочитал Ламсдорф. — Это?

— Да, это.

— Надо полагать, имеется в виду, что флаг красный? — уточнил министр.

— Надо полагать. У вас нет никаких ассоциаций?

— Признаться, нет.

— Я тоже пас, — сказал Ламсдорф. — Хотя это, конечно, зацепка. В справочнике Гагельстрема...

— Стоп-стоп, Иван Вольфович. Дело в том, что красная символика широко использовалась ранними коммунистами в ту пору, когда коммунизм — протокоммунизм, вернее — пытался в разных странах оспаривать властный контроль у исторически сложившихся административных структур. Это была дичь, конечно, хотя и обусловленная катастрофическими социальными подвижками второй четверти прошлого века... но, если бы это удалось — тут бы коммунизму и конец. Вскоре стало ясно: чем большее насилие пропагандирует учение или движение, тем больше преступного элемента втягивается в число его адептов, необратимо превращая всю конфессию в преступную банду, ибо, чем более насилие возводится в ранг переустройства мира, тем более удобным средством для корыстного насилия учение или движение становится.

— Я где-то читал эту фразу...

— Еще бы, Иван Вольфович! На юрфаке-то должны были читать! «Что такое «друзья народа» и чем они угрожают народу», Владимир Ульянов. Храмовое имя — Ленин.

— Мне его стиль всегда казался тяжеловатым, — бледно улыбнулся Ламсдорф.

— От «Агни-йоги» тоже голова трещит, — обиделся я.

— К делу, господа, к делу! — нетерпеливо сказал министр.

— Я и говорю о деле, Анатолий Феофилактович. Под красным знаменем, например, геройски погибли на баррикадах лионские ткачи в восемьсот тридцать четвертом году — отнюдь не преступники, а простые, справедливые, доведенные до отчаяния нищетой труженики. Были и другие примеры. И вот. Может быть, возможно, не исключено, существует некая вероятность, что сохранилась некая герметическая секта, блюдущая учение коммунизма в первозданной дикости и совершенно уже выродившаяся... ну, что-то вроде ирландских фанатиков, еще в середине нашего века взрывавших на воздух лондонские магазины.

Министр задумчиво попыхивал трубочкой, так и стоя посреди кабинета, уперев одну руку в бок и хмурясь. Зато лицо Ламсдорфа просветлело.

— Как удачно, что государь поручил это дело вам!

— Хотелось бы думать, — проговорил я.

Министр вдруг двинулся вперед и, продолжая хмуриться, подошел ко мне вплотную. Я снова поднялся. Он взял меня за локоть.

— Буде так, могут открыться совершенно чудовищные тайны, — негромко и отрывисто сказал он. — Полковник,

вы уверены?.. Вы готовы вести дело дальше — или вам, как коммунисту...

— Более чем готов, — ответил я. — Это дело моей чести.

Еще секунду он пытливо смотрел мне в лицо, потом отошел к дивану и уселся, снова закинув ногу на ногу. Тогда и я сел.

— Что вы намерены предпринять для проработки этой версии? — спросил он.

— Я намерен обратиться за консультацией непосредственно к шестому патриарху коммунистов России, — решительно ответил я.

Снова мои собеседники некоторое время молча переваривали эти слова. Потом Ламсдорф спросил:

— А это удобно?

— Это неизбежно. Если он и не знает ничего об этом — я склонен думать, что не знает, — то по крайней мере он лучше всех прочих в состоянии указать мне людей, которые могут что-либо знать. В патриаршестве существует отдел по связям с иностранными епархиями — чтобы его работники начали выдавать мне информацию, мне тоже потребуется поддержка патриарха. Кроме того, есть такая богатейшая вещь, как слухи и предания, — и опять-таки мимо патриарха они не проходят.

— Что ж, разумно, — сказал министр. — Когда вы намерены отбыть в Симбирск?

— Надеюсь успеть нынче же. По крайности — первым утренним рейсом, в шесть сорок. Время дорого. Что-то мне подсказывает, что время дорого.

— Бог в помощь, Александр Львович, — сказал министр и, вынув из кармана «луковицу» часов, глянул на циферблат. Поднялся.

— Благодарю, Анатолий Феофилактович. Теперь у меня к вам тоже вопрос. Мне действовать как представителю МГБ или просто как частному лицу, ищущему беседы члену конфессии?

Министр задумался, похоже — несколько с досадой. Видимо, вопрос ему показался прямым до бестактности — он хотел бы, чтобы я принял удобное для кабинета решение сам.

— Обратитесь лучше как частное лицо, — нехотя проговорил он после долгого, неловкого молчания. — Понимаете... пронюхают газетчики, и пойдет волна — дескать, имперская спецслужба снова вмешивается в дела конфессий. Забурчит Синод, из Думы запросы посыплются. Их же хлебом не корми... Доказывай потом в пятидесятый раз, что ты не верблюд.

— Хорошо, Анатолий Феофилактович, я так и поступлю, — сказал я.

Он резко вмял часы обратно в карман.

— До траурной церемонии осталось сорок минут, а мне еще надобно побриться и переодеться. Иван Вольфович, вы идете?

— Да, разумеется.

— Тогда встречаемся внизу. А вы, Александр Львович?

— Я выражу свои соболезнования погибшим форсированным ведением дела, — проговорил я.

2

Над Заячьим островом утробно рокотали басы прощального салюта. Тоненько дребезжали стекла. Траурная процессия вытянулась от Исаакия по всей набереж-

ной и через весь Троицкий мост. Приехала королева Великобритании со старшей дочерью, красивой и скупой на проявления чувств, — ее в свое время прочили в невесты великому князю; приехал кронпринц Германии, не слишком успешно прячущий под холодной маской свою потрясенность трагической гибелью кузена, — сам Вильгельм-Фридрих уже не в силах был покинуть потедамского дворца; словно пригоршня елочных украшений двигались, держась поплотнее один к другому, родственные монархи Скандинавии; председатель Всекитайского Собрания Народных Представителей почтительно поддерживал под локоток Пу И — совсем уже одряхлевшего, высохшего, словно кузнечик, укутанного до глаз, но все же рискнувшего лично отдать последнюю дань уважения; решившись не передоверять дела сыну, прибыл микадо, а следом за ним — многочисленные короли Индокитая. Едва ли не все короны мира, печально склоненные, одной семьей шествовали по тем местам, где я пешком ходил домой, и их охлестывал сырой балтийский ветер.

Поглядывая на экран стоявшего в углу кабинета телевизора, я прежде всего вызвал к себе начальника группы «Буки» поручика Папазяна.

— Вот и для вас появилась работа, Азер Акопович. Причем не только для вас лично, но и для всей группы разом. Веселее будет. Сделайте-ка мне выборку из всех возможных криминальных сводок вот по какому примерно принципу: покушения на убийство или попытки диверсий, в том числе удачные, при не вполне ясных и совсем неясных мотивах. В первую голову ищите случаи, когда преступник после совершения преступления оказывался в невменяемом состоянии или погибал либо умирал при невыясненных обстоятельствах.

— Ясно, — кивнул поручик. Я чувствовал, что он рвется в дело: расследование сенсационное, группа существует уже более суток, а еще ни одного задания. — По какому региону?

Я печально смотрел на него и молчал.

— По всей России? — попытался угадать он.

— По всему миру, — сказал я. Он присвистнул. — Но по России, конечно, прежде всего.

— За какой период? — Судя по голосу, его энтузиазм несколько приугас.

Я печально смотрел на него и молчал.

Его лицо вытянулось. Он тоже молчал — угадывать уже не решался.

— Лет за сто пятьдесят, — сказал я наконец. — Насколько достоверной статистики хватит. Двигаться будете в порядке, обратном хронологическому: этот год, прошлый год, позапрошлый год и так далее.

Он храбро слушал, явно посерьезнев. И тогда я, чтобы уж добить его на месте, небрежно осведомился:

— Пары часов вам хватит?

— Да побойтесь бога, господин полковник!.. — вскинулся он, но я быстро протянул руку и тронул его пальцы, напрягшиеся на столе. — Все, Азер Акопович, это я уже шучу. Немножко веселю вас перед атакой. Работа адова, я прекрасно понимаю. Не торопитесь, делайте тщательно. Но и не тяните. Я сейчас дам вам копию своего отчета о деле Кисленко — выносить из кабинета не разрешу, посмотрите здесь. Тогда вы лучше поймете, что я ищу. И будете сами проводить предварительный отсев фактов, которые наковыряют ваши ребята. У меня на это времени нет.

Пока Папазян, примостившись в уголке, с профессиональной стремительностью листал отчет, я позвонил шифровальщикам и спросил, не поступало ли на мое имя донесений от Каравайчука. Поступало. Как и следовало ожидать, никаких инцидентов в сфере американской части проекта «Арес» не было. Впрочем, штатники с исключительной вежливостью благодарили за предупреждение, обещали увеличить охрану занятых в проекте лиц и выражали надежду, что мы найдем возможность делиться с ними результатами следствия, если эти результаты, с нашей точки зрения, затронут интересы Северо-Американских Штатов. На версии «Арес» можно было ставить крест.

Совсем посерьезневший от прочитанного Папазян вернул мне отчет и ушел, а я двинулся к лингвистам. И тут все было худо. Слова «омон» не знал никто. Компьютерная проработка термина показала, что скорее всего он является аббревиатурой, и мы обнадежились ненадолго — но когда комп начал вываливать бесчисленные варианты расшифровки, от вполне еще невинных «Одинокого мужа, оставленного надеждой» и «Ордена мирного оглупления народов» до совершенно неудобоваримых, я и оператор только сплунули, не стовариваясь; а если еще учесть, что аббревиатура могла быть иностранной? Словом, эта нить тоже никуда не вела.

Тогда я вернулся к себе.

3

— О, привет! Ты где?

— На работе.

— Уже вернулся?

— Еще вчера. В начале первого пробовал позвонить тебе с аэродрома, но никто не подошел.

— А, так это еще и ты звонил?

— Ты была дома?

— Да, валялась пластом. И, как всегда, кто-то просто обрывал телефон, а встать — лучше слохнуть. Очень трудный был день, металась везде, как савраска, — искала, не надо ли кому дров порубить.

— Прости, не понимаю.

— Работу искала, Саша, чего тут непонятного. Деньги нужны.

— Стася, — осторожно сказал я, — может быть, я все-таки мог бы...

— Кажется, мы уже говорили об этом, — сухо оборвала она. — Давай больше не будем.

Помощь купюрами она не принимала ни под каким видом. Даже, что называется, на хозяйство. Даже в долг; у других считала себя вправе одалживать, у меня — нет. Могла обмолвиться, что в доме есть буквально нечего, и тут же закатить мне царский обед или ужин; а сама, сидя напротив и поклевывая из своей тарелочки, сообщала между делом, что денег осталось на два дня, и если какое-нибудь «Новое слово», например, задержится с выплатой гонорара, то клади зубы на полку — и у меня кусок застревал в горле, хотя готовила она всегда сама и всегда прекрасно. Однажды я попробовал молча запихнуть ей под бумагу на письменном столе двухсотенную денежку — поутру, уже на улице, обнаружил эту денежку в кармане пальто. Чуть со стыда не сгорел.

— Ну и как — нашлись дрова?

— Представь, да. Кажется, получу ставку младшего редактора в литературном отделе «Русского еврея». И что ценно — не надо каждый день в присутствие ходить. Забежал разок-другой в неделю, набрал текстов — и домой.

— А что случилось, Стасенька? Почему вдруг обострилась нужда?

— Настал момент такой. Подкопить для будущей жизни. Да неинтересно рассказывать, Саш.

И все. Намекнет на трудности — но нипочем не скажет, в чем они заключаются. Одно время, когда эта черта лишь начинала проступать в ней — в первые месяцы не было ничего подобного, — мне казалось, она нарочно. Потом понял, что иначе не может, в этом она вся. Сознать то, что жизнь у нее не малина, я должен, конечно, но знать что-то конкретное мне ни к чему, ведь все равно я не могу помочь, а она и затруднять меня не хочет, она сама справится... Иногда мне чудилось, что я падаю с ледяной стены; цепляюсь, тужусь удержаться, в кровь ломая ногти, и не могу — скользят по полированной броне.

— Ты зайдешь сегодня?

— Я бы очень хотел.

— Когда?

— Хоть сейчас.

— Замечательно. Только знаешь, у меня к тебе тогда просьба будет, извини. Тут у меня, как снег на голову, сыплется Януш Квятковский — помнишь, я рассказывала, редактор из Лодзи. Это не люди, а порождения крокодилов. Утром звонит и говорит, что вылетает. Тут у него дела дня на три в Фонде поддержки западнославянских литератур, так чем платить за гостиницу, он мне сообщает, что остановится у меня, и вот мы, старые дру-

зья, наконец-то как следует повидаемся. В ноябре он был тут проездом, видел, что две комнаты... Вечером объявится, представляешь?

— С трудом, но представляю.

— Могу я, не могу — даже не осведомился. А мне, в общем, нездоровится, и в доме шаром покати. Ты не мог бы купить какой-нибудь еды?

— Что за разговор, — сказал я, — конечно. Могла бы так долго не объяснять. Через часок я подъеду.

— Спасибо, правда! И вот еще что: ключи у тебя с собой?

— Конечно.

— У меня сейчас голова совсем дырявая, поэтому говорю, пока помню, — оставь их, я ему дам на эти три дня. Не сидеть же мне у двери, звонок его слушать...

— Разумеется, — сказал я. — Жди.

— Целую.

— Взаимно.

Я прошел мимо дежурного, буркнув: «Буду через три часа»; яростно шаркая каблуками об асфальт, почти подбежал к своему авто. Ключ въехал в стартер лишь с третьей попытки. Мотор зафырчал, заурчал. Я едва не забыл дать сигнал поворота. Вывернул на Миллионную, просвистел мимо дворцов, мимо Марсова Поля и вписался в плотный поток, бесконечно длинной, членистой черепахой ползущий по Садовой на юг.

В сущности, эти колесные бензиновые тарактелки — уже анахронизм. Давным-давно прорабатываются проекты перевода индивидуального транспорта на силовую тягу, на манер воздушных кораблей — дорог не надо, бензина не надо, шума никакого, выхлопа никакого, скорость по любой открытой местности хоть триста, хоть

четыреста верст в час. Но это потребует полного обновления всего парка — раз, чрезвычайно затруднит дорожный контроль — два; к тому же автомобильные и путейские воротилы сопротивляются, как триста спартанцев, — три; ну и четыре — нужно по крайней мере впятеро уплотнить сеть орбитальных гравиторов. Тоже дорого и хлопотно. А пока суд да дело — ездим, воняем, пережигаем драгоценную нефть, сочимся сквозь капиллярчики магистралей...

У Инженерного замка я свернул к Фонтанке и по набережной погнал быстрее.

Насколько я понимал, года четыре назад у нее была вполне безумная любовь с этим Квятковским. Впрямую она не рассказывала, но по обмолвкам, да и просто зная ее, можно было догадаться. Две комнаты, надо же! А кроватей? Хотя в столовой стоит оттоманка... Или она ему постелит на коврике у двери?

Где-то совсем рядом, слева, безумно взвыл клаксон и сразу завизжали тормоза. Громадная тень автобуса, содрогаясь, нависла над моей фитюлькой и тут же пропала далеко позади.

ТЬфу, черт. Оказывается, я пролетел под красный и даже не заметил. Что называется, бог спас.

Ладно. Я разозлился на себя. Да кто я такой? Может, у нее сейчас последняя возможность вернуться к тому, кого она до сих пор любит?

Вообще-то, если я узнавал, что к тому или иному человеку Стася хорошо относится или тем более когда-то его любила, человек этот сразу вырастал в моих глазах. Даже не видя его ни разу, я начинал к нему относиться как-то... по-дружески, что ли; уважать начинал больше. Не знаю почему. Наверное, подсознательно сра-

батывало: ведь не зря она его любила. Наверное, нечто сродни тому, как сказала в Сагурамо Стася о Лизе и Поле, уж не знаю, искренне или всего лишь желая мне приятное сделать, — о, если б искренне! — «родные же люди». Просто сейчас я психанул, потому что слишком неожиданно это свалилось. Слишком я передергался за последние сутки да и за Стаську переволновался — то она чуть ли не босая по холодным лужам шлепает, то ночью не отвечает... да и вообще — отдалается...

Надо бы почитать на досуге, что этот Квятковский пишет. Есть, наверное, переводы на русский.

Только где он, досуг?

Опубликовал бы он ее, что ли, в Лодзи в своей... да заплатил побольше... Но на сердце было тяжело. Кисло.

Первым делом я заехал в аэропорт и забрал оставшиеся в камере хранения две аппетитнейшие бутылки марочного «Арагви», которые подарил нам на прощание Ираклий. Я их отсюда даже не забирал — знал, что нам со Стасей понадобятся. Вот понадобились.

Поехал обратно.

Господи, ну конечно, она несчастлива со мной, ей унижительно, ей редко... пусть она будет счастлива без меня. Я хочу, чтобы — ей — было — хорошо!

Но на сердце было тяжело.

Ближайшим к ее дому супермаркетом — дурацкое слово, терпеть не могу, а вот прижилось, и даже русского аналога теперь не подберешь; впрочем, как это вопрошал, кажется, еще Жуковский: зачем нам иноземное слово «колонна», когда есть прекрасное русское слово «столб»? — был Торжковский. Я прокатил под Стасиными окнами, миновал мосты и припарковался.

Я был счастлив хоть что-то сделать для нее.

Хищно и гордо я катил свою решетчатую тележку по безлюдному лабиринту между сверкающими прилавками, срывая с них сетки с отборным, дочиста вымытым полесским картофелем, пакеты с полтавской грудинкой и вырезкой, с астраханским балыком, банки муромских пикулей и валдайских соленых груздей, датских маринованных миног и китайских острых приправ, камчатских крабов и хоккайдских кальмаров, празднично расцвеченные коробки константинопольских шоколадных наборов и любекских марципанов, солнечные связки марокканских апельсинов и тяжелые лиловые гроздья таджикского винограда... Тем, что я нахватал, можно было пятерых изголодавшихся любовников укормить до несварения желудка. Ей недели на две хватит. И где-то на дне потока бессвязных мыслей билось: пусть только попробует отдать мне за это деньги... вот пусть только попробует... у нее все равно столько нет.

У меня у самого едва хватило.

— ...Саша, ты с ума сошел! — воскликнула она, едва отворив. Свежая, отдохнувшая, явно только что приняла ванну; тяжелые черные волосы перехвачены обаятельной ленточкой; легкая блузка-размахайка — грудь почти открыта; короткая юбочка в обтяжку. Преобразилась женщина, гостя ждет. Странно даже, что она меня узнала, — в толще пакетов я совершенно терялся, как теряется в игрушках украшенная с безвкусной щедростью рождественская елка.

— С тобой сойдешь, — отдуваясь, проговорил я. — Куда сгружать?

Мы пошли на кухню; она почти пританцовывала на ходу и то и дело задорно оборачивалась на меня — энер-

гия просто бурлила в ней. Я начал сгружать, а она тут же принялась сортировать свою манну небесную:

— Так, это мы будем есть с тобой... это тоже с тобой... картошку я прямо сейчас поставлю... Ты голодный?

— Нет, что ты.

— Это хорошо... — Распахнув холодильник, она долго и тщательно утрамбовывала банки и пакеты, приговаривая, почти припевая: — Не самозванка — я пришла домой, и не служанка — мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо... На Васильевский успел заехать?

— Конечно.

— Как Поля?

— Знаешь, я ее даже не видел. Пришел — она уже спала, уходил — она еще спала.

— Лиза?

— Все в порядке.

— Слава богу.

Воспоминание о ночи медленным огненным дуновением прокатилось по телу.

— Стася, ты веришь в бога?

— Не знаю... — Она закрыла холодильник и разогнулась, взглянула мне в лицо. Взгляд ее сиял мягко-мягко. Редко такой бывает. — Верить и хотеть верить — это одно и то же?

— Любить и хотеть любить — это одно и то же? Спасти или хотеть спасти — это одно и то же?

— Ну вот. Я уж совсем было поверила, что ты — бог, а ты взял да и доказал, что бога нет... Коньяк-то зачем?

— Как зачем? Иракий же нам подарил, так пусть у тебя дожидается. А может, человек с дороги выпить захочет.

— Съесть-то он съесть, да кто ж ему дать... И не покажу даже. — Зажав в каждой руке по бутылке, она заметалась по кухне, соображая, где устроить тайник. Не нашла, поставила покамест прямо на стол. Коньяк, словно густое коричневое солнце, светился за стеклом. Захотелось выпить.

— И вот еще. — Я вынул из потайного кармана ключи от ее квартиры, которыми почти и не решался пользоваться никогда — так, носил как сладкий символ обладания, — и аккуратно положил на холодильник. Не видать мне их больше, как своих ушей.

— Какая умница! А я и забыла... Ты мне не поможешь картошку почистить?

Я заколебался. Минуту назад, когда она смотрела так мягко, мне, дураку, почудилось на миг, что ее оживление, ее призывный наряд — для меня. Зазнался, Трубечкой, зазнался. Она расторопно достала кухонный ножик.

— Рад бы, Стасик, но мне сейчас опять на работу. Извини.

Она честно сделала огорченное лицо.

— Да брось! Дело к вечеру, что ты там наработаешь? Януш часа через полтора будет здесь, я вас познакомлю; действительно, тогда вы и выпьете вдвоем, ты расслабишься немножко. У тебя очень усталое лицо, Саша.

— Что я тут буду сбоку припеку. Он твой старый друг, коллега...

Она покосилась пытливо — нож в одной руке, картофелина в другой.

— Саша. По-моему, ты меня ревнуешь.

— Конечно.

— Вот здорово. А я уж думала, тебе все равно.

Я изобразил руками скрюченные когтистые лапы, занес над нею и голосом Шерхана протяжно проревел:

— Это моя добыча!

Ловко проворачивая картоху под лезвием, она превосходственно усмехнулась, и я прекрасно понял ее усмешку: дескать, это еще вопрос — кто чья добыча.

— Не беспокойся, — сказала она потом. — Я девушка очень преданная. И к тому же совершенно не пригодна к употреблению.

— Окрасился месяц багрянцем?

На этот раз она оглянулась с непонятным мне удивлением; затем улыбнулась потаенно.

— Скорее уж окрысился. Тонус не тот.

— Ну, будем надеяться, — сказал я.

И звякнувший ножик, и глухо тукнувшую картофелину она просто выронила — и захлопала в ладоши:

— Ревнует! Сашка ревнует! Этой минуты я ждала полтора года! Ур-ра!

Картофелина, переваливаясь и топоча, подкатилась к краю, но решила не падать.

По-моему, с тонусом у Стаси было как нельзя лучше.

Бедная моя любимая. Все время знать это про меня, каждый день... «На Васильевский успел заехать? Тебя покормили?»

Горло сжалось от преклонения перед нею.

— Ну скажи наконец, как тебе моя новая прическа? Нравится?

Я соскучился до истомы и дрожи — но если поцеловать ее, она ответит, а думать будет, что вот варшавский лайнер шасси выпустил, а вот Януш подходит к стоянке таксомоторов.

— Очень нравится. Как и все остальное. Тебе вообще идет девчачий стиль.

— Просто ты девочек любишь. Я и стараюсь.

Она отвернулась, подобрала картофелину и нож. На меня будто сто пудов кто взвалил — так давило чувство прощания навек. И все равно — такая нежность... Я обнял ее за плечи, легонько прижал спиной к себе и опустил лицо в ароматные, чистые волосы; надетая на голое размахайка без обиняков звала ладонь через ключицу вниз, к груди — я еле сдерживался.

— Трубецкой, не лижись. Я ведь с ужином не управлюсь.

Не меня она звала. В последний раз я чуть стиснул пальцы на ее плечах, поцеловал в темя — и отпустил. Все.

— Ладно, Стасенька, я пошел. Не обижайся.

— Жаль. Знаешь, после работы заезжай, а? Поболтаем...

— Зачем тебе?

— Ну, может, мне похвастаться тобою хочется? Тебе такое в голову не приходит?

— Признаться, нет. Не знаю, чем тут хвастаться. По моему, твои друзья держат меня за до оскомины правильного солдафона — то ли тупого от сантиментов, то ли сентиментального от тупости.

— Какой ты смешной. А завтра ты что делаешь?

— Лечу в Симбирск и добиваюсь встречи с патриархом коммунистов.

Она порезала палец. Ойкнула, сунула кисть под струю воды — и растерянно обернулась ко мне.

— Это еще зачем?

— Дело есть. Счастливо, Стася.

Она шагнула ко мне, как в Сагурамо, пряча за спину руки, чтобы не капнуть ни на себя, ни на меня; обиженно, в девчачьем стиле, надула губы.

— А обнять-поцеловать?

Я обнял-поцеловал.

4

У себя я — отчасти, чтобы отвлечься, но главным образом по долгу службы — без особого энтузиазма попробовал прямо на подручных средствах предварительно прокрутить свою версию. Рубрика «ранние течения коммунизма», ключ «криминальные». Но дисплей пошел выбрасывать замшелые, известные теперь лишь узким специалистам да бесстрастным дискетам факты и имена. Французские бомбисты: хлоп взрывпакетом едущего, скажем, из театра, ни в чем не повинного чиновника — и сразу мы на шаг ближе к справедливому социальному устройству. Бакунин. «Ничего не стоит поднять на бунт любую деревню». «Революционные интеллигенты, всеми возможными средствами устанавливайте живую бунтарскую связь между разобщенными крестьянскими общинами». Нечаев. Убийца, выродок. Одно лишь название журнала, который он начал издавать за границей, стоит многого: «Народная расправа». Статья «Главные основы будущего общественного строя», тысяча восемьсот семидесятый год: давайте обществу как можно больше, а сами потребляйте как можно меньше (но что такое общество, если не эти самые «сами»? начальство, разве что), труд обязателен под угрозой смерти, все продукты труда распределяет между трудящимися, руководствуясь исключительно высокими соображениями, никому не подотчетный и вообще никому даже не известный тайный комитет... Конечно, мечтая о таком публично, в уме-то

держишь, что успеешь стать председателем этого комитета. Сволочь.

Все эти мрачные секты, узкие, как никогда не посещаемые солнцем ущелья, прокисли еще в семидесятых годах и в Европе, и в России; некоторое время они долевали на Востоке, скрещиваясь с националистическим фанатизмом и давая подчас жутковатые гибриды, но постепенно и там сошли на нет. Похоже, я опять тянул пустышку.

Позвонил Папазян и попросил принять его — я сказал, что могу хоть сейчас. Положил трубку и закурил. Настроение было отвратительное. Квятковский, наверное, уже приехал. А Стаська такая красивая и такая... приготовленная. А тут еще эти конструкторы нового общества, в которых даже мне, коммунисту, стрелять хотелось — просто как в бешеных собак, чтоб не кусали людей. Но это, конечно, как сказала бы Лиза, гневливость — страшный грех. Конечно, не стрелять — что я, Кисленко, что ли. Просто лечить и уж, во всяком случае, изолировать. «Друзья народа»...

— Ну что? Неужели и впрямь уже закончили? — плоско-ковато пошутил я, когда поручик вошел.

— Никак нет, напротив.

— Присаживайтесь. Что случилось?

Он уселся.

— Я позволил себе несколько расширить трактовку полученного задания, — выпалил он и запнулся, выжидательно глядя на меня. Я помедлил, пытаюсь понять. Тщательно загасил окурок в пепельнице, притоптал им тлеющие крошки пепла.

— Каким образом?

— Понимаете, — с готовностью начал пояснять он, — материал, который вы мне дали просмотреть, просто страшен, и он вас, возможно, несколько загипнотизировал. Я подумал: ведь не все люди столь решительны и принципиальны, как бедняга Кисленко. Не каждый, даже вот так вот сдвинувшись по фазе, сразу пойдет на убийство. И я позволил себе попробовать посмотреть при тех же признаках менее тяжкие дела — разбойные нападения, злостное хулиганство...

— Но это действительно уже адова работа.

— Что правда, то правда. Но зато она дала какой-то результат. Посмотрите. В текущем и в прошлом году, — он протянул мне листок с нумерованными фактами, — убийств, подобных нашему, нет. А вот инциденты поменьше — есть. Два нелепых избиения в Сухуми. Шесть совершенно необъяснимых жестоких драк в деревушках в моем родном краю, между Лачином и Ханкенды. Абсолютно неспровоцированное и абсолютно бесцельное, прямо среди бела дня, нападение на городского на Манежной площади в Москве.

Я внимательно прочитал список. Интересно...

— А вы молодец, поручик, — сказал я. Он покраснел от удовольствия; он вообще легко краснел, как Лиза просто. — Молодец. Я понятия не имею пока, есть ли тут какая-то связь с нашим делом, но типологическое сходство налицо.

— Ну да! — возбужденно кивнул Папазян. — И главное, все субъекты преступления либо были явно под газом, и поэтому их объяснения, что, мол, о своих действиях они не помнят и объяснить их не могут, сразу принимались на веру, либо утрата памяти списывалась,

скажем, на полученный удар по голове, и дальше опять-таки анализировать происшествие никто не пытался.

— Интересно, — уже вслух сказал я. — И, конечно же, поскольку преступное деяние было не столь жестоким и бесчеловечным, как в случае с Кисленко, то и губительного психологического шока не возникало, человек продолжал жить. Память об аберративной самореализации, вероятно, просто вытесняется в подсознание. Интересно, черт! Вот бы проверить, изменился ли у этих людей характер, стали ли они раздражительнее, грубее, пугливее...

— Еще одна адова работа, — с восторгом сказал Папазян.

— Нет, не отвлекайтесь пока. Если набежит совсем уж интересная статистика, проверкой такого рода займутся другие. Продолжайте так, как вы начали, — расширительно.

— Есть! — Папазян встал. Запнулся, а потом застенчиво спросил: — Господин полковник, а у вас уже есть версия?

— А у вас? — спросил я, откинувшись на спинку стула, чтобы удобнее было смотреть стоящему в лицо.

— Так точно!

— Ну-ка...

— Неизвестный науке мутантный вирус! Он поражает центры торможения в мозгу, и больной проявляет агрессивность по пустяковым, смехотворным для нормального человека поводам, а затем сам не помнит того, что совершил в момент помутнения. Но остается потенциальным преступником, потому что вирус никуда не делся, сидит в синапсах. Возможно, нам грозит эпидемия.

— Да вы совсем молодец, Азер Акопович! Браво!

— Вы думаете примерно то же?

— Чтобы подтвердить версию о недавней мутации и ширящейся эпидемии нужно — что?

Он поразмыслил секунду.

— Видимо, показать статистически, что подобные случаи год от года становятся многочисленнее, а какое-то время назад их вообще не было.

— Вам и карты в руки. — Я вздохнул. — У меня тоже есть версия, Азер Акопович, и ничем не лучше вашей. Она основана на одной-единственной фразе Кисленко...

— На какой? — жадно спросил Папазян.

— Простите, пока не скажу. Идите.

Он четко повернулся и пошел к двери.

— Ох, секундочку!

Он замер и повернулся ко мне снова.

— Скажите, вы знаете такого писателя — Януша Квятковского?

— Да, — удивленно ответил Папазян. — Собственно, он поэт... Поэт и издатель.

— Хороший поэт?

— Блестящий. Одинаково филигранно работает на польском, литовском и русском. Он молод, но уже не восходящая, а вполне взошедшая звезда.

— Молод — это как?

— Ну, я не знаю... где-то моего возраста.

Значит, он моложе ее. И довольно прилично, лет на пять — семь.

— И о чем он пишет?

— Вот тут я с его стихами как-то не очень. Уж слишком он бьет себя в грудь по поводу преимуществ католицизма. И вообще — польская лужайка самая важная в мире.

— Ну, — проговорил я задумчиво и, боюсь, с дурацким оттенком в общем-то несвойственной мне назидательности, — чем меньше лужайка, тем она дороже для того, кто на ней собирает нектар.

Папазян улыбнулся.

— Мне ли не знать?

— А, так просто Квятковский не ту лужайку хвалит?

Мы с удовольствием посмеялись. Среди бесконечных разбойных нападений и мутантных вирусов явно доставало дружеского трепя. Наверное, чтоб доставало, нужно быть поэтом и издателем.

— А зачем это вам, Александр Львович?

— Неловко кушать коньячок с человеком, которого совсем не знаешь, а он знаменит.

— Ну и знакомства у вас! — завистливо вздохнул Папазян.

Знакомство. Что ж, можно назвать и так. Родственник через жену. Я жестом отослал поручика: сделав сосредоточенное лицо, показал, как набираю, набираю что-то на компьютере.

Значит, она с националистами связалась. Мало нам печалей.

Только бы не ляпнула, дурочка, что дружит с полковником российской спецслужбы. Он ее тогда ни за что не опубликует.

Судя по времени, уже картошку доедает. Переходим к водным процедурам. Интересно, успела она спрятать коньяк или забыла?

Или не собиралась даже, только сделала вид?

Размахайка на голом и ленточка в ароматных волосах. Тонус не тот...

Мутантный вирус, значит. Что ж, идея не хуже любой другой. Мы, между прочим, об этом не подумали. Надо быть мальчишкой, чтобы такое измыслить. А ведь при вскрытии тела Кисленко эту версию не отработывали. Надо уточнить, не было ли отмечено каких-либо органических изменений в мозгу. Может, произвести повторное?.. Ох, ведь жена Кисленко, наверное, уже забрала тело. Бедная, бедная.

Если вирус — значит, у нас с Круусом есть шанс в ближайшем будущем слететь с нарезки. Интересно. Вот сейчас шелкнет что-то в башке — и я, ничуть не изменившись в смысле привязанностей, превращусь в персонаж исторического фильма. Ввалюсь к Стаське, замочу ее борзописца из штатного оружия, потом ее оттаскаю за волосы...

Интересно, ей это тоже будет лестно? Захлопает в ладоши и закричит: «Ревнует! Ура!»?

Устал.

Траурные церемонии давно завершились, набережная была пустыня. Редкие авто с оглушительным шипением проносились мимо, вспарывая лужи и выплескивая на тротуары пенные, фстончатые фонтаны — приходилось держать ухо востро. Мрачная Нева катилась к морю, а ей навстречу пер густой влажный ветер и хлестал в лицо, толкал в грудь. По всему небу пучились черные лохмы туч, лишь на востоке то развевались, то вновь пропадали синие прорехи — словно в издевку показывая, каким должно быть настоящее небо.

Я долго стоял под горячим душем, потом под холодным. Потом сидел в глубоком, родном кресле в кабинете; пушистый, тяжелый, как утюг, уютный Тимотеус грел мне колени, я почесывал его за ухом — он благостно

выворачивал лобастую голову подбородком кверху, и я чесал ему подбородок, и слушал Польку, которая, устроившись на диване под торшером, поджав под себя одну ногу, наконец-то читала мне свою сказку. Надо же, какие психологические изыски у такой малявки. У меня бы великан непременно начал конфискацию еды у тех, кто вообще уже ни о чем не думает на всем готовеньком. Нет, возражала она, отрываясь от текста, ну как же ты не понимаешь, они тогда начали бы думать только о еде, и все. А те, кто уже и так думал только о еде, начали думать, как спастись, как помочь себе, — сначала каждый думал, как помочь самому себе, потом постепенно сообразили, что помочь себе можно только сообща, так, чтобы все помогали всем.

Я слушал и думал: красивая девочка, вся в маму. Грудка уже набухает, господи ты боже мой. Неужели у Польки талант? От этой мысли волосы поднимались дыбом, и гордо, и страшно делалось. Хотел бы я дочке Стасиной судьбы? Тяжелая судьба. Хотя есть, конечно, литераторы, которые как сыр в масле катаются, — но, по-моему, их никто не любит, кроме тех, кто с ними пьет по-черному; а это тоже не лучшая судьба, нам такого не надо. Тяжелая, беспощадная жизнь — и для себя, и для тех, кто рядом. Не случайно, наверное, среди литераторов совсем нет коммунистов — а если и заведется какой-нибудь, то пишет из рук вон плохо: сюсюканье, назидательность, сплошные моралитэ и ничего живого. Наверное, эти люди просто-таки по долгу службы не могут не быть теми, кого обычно именуют эгоистами. Ученый, чтобы открыть нечто новое, использует, например, компьютер и синхрофазотрон; инженер, чтобы создать нечто новое, использует таблицы и рейсфедеры — но ли-

тератор, чтобы открыть и создать новое, использует только живых людей, и нет у него иного способа, иного пути. Нет иного станка и полигона. Да, он остроумный и приятный собеседник; да, он может трогательно и преданно заботиться о людях, с которыми встречается раз в полгода; да, он способен на поразительные вспышки самоотдачи, саморастворения, самосожжения — но это лишь рабочий инстинкт, который знает: иначе не внедриться в другого, а ведь надо познать его, надо взметнуть пламена страстей, ощутить чужие чувства, как свои, а свои — как великие, чтобы потом выкачанные из этой самоотдачи впечатления, преломившись, переварившись, когда-нибудь легли на бумагу и десятки тысяч чужих людей, читая, ощущали пронзительные уколы в сердце и качали головами: как точно! как верно!.. и, насосавшись, он выползает из тебя, сам страдая от внезапного отчуждения не меньше, чем ты, — но все равно выламывается неотвратно, отрывается с кровью, испуганно рубит по протянутым вслед в безнадежном старании удержать рукам и оставляет того, ради кого, казалось, жил, в пепле, разоре и плаче. Вот как Стаська меня сейчас.

А иначе — не может. Такая работа.

— Папчик, — тихонько спросила Полушка, и я понял, что она уже давно молчит. — Ты о чем так задумался?

— О тебе, доча, — сказал я, — и о твоих подданных.

— Ты не бойся, — сказала она, подходя. Уселась на подлокотник моего кресла и положила руку мне на плечо. — Я им вреда не сделаю. Просто надо же их как-то в себя привести. Ну, какое-то время им будет больно, да. Я сейчас вторую часть начала. Все кончится хорошо.

И на том спасибо, подумал я. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Лиза. Улыбнулась, глядя на наше задушевство.

— Родные мальчики и родные девочки! Не угодно ли слегка откусать? Савельевна уж на стол накрыла.

— Угодно, — сказал я и встал.

— Угодно, — повторила Поля очень солидно и тоже встала.

Взявшись с нею за руки, мы степенно, как большие, двинулись в столовую вслед за Лизой. Она шла чуть впереди, в длинном, свободном платье до пят — осиная талия охлестнута широким поясом. Светлое марево волос колыхается в такт шагам. Полечу утром, подумал я. Все равно ночью там делать нечего — в порту, что ли, сидеть? Зачем? Нестерпимо хотелось догнать Лизу и шептать: «Прости... прости...» Мне часто снилось: я ей все-все рассказываю, а она, как это водится у них, христиан, властью, данной ей Богом, отпускает мне грехи... Иногда, по-моему, бормотал во сне вслух. Что она слышала? Что поняла?

Мы отужинали. Потом, болтая о том о сем, попили чаю с маковыми баранками. Потом Поля, взяв транзистор, ушла к себе — укладываться спать и усыпительно побродить по эфиру на сон грядущий, вдруг там какое брень-брень попадется модное. А Лиза налила нам еще по чашке, потом еще. Чаи гонять она могла по-купечески, до седьмого полотенца, — ну а я за компанию.

— Какой хороший вечер, — говорила Лиза. — Какой хороший вечер, правда?

Я был уверен, что Поля давно спит. По правде сказать, у меня у самого слипались глаза; разомлел, размяк. Когда Поля в ночной рубашке вдруг вошла в столовую, я даже не понял, почему она движется, словно слепая.

Она плакала. Плакала беззвучно и горько. Попыталась что-то сказать — и не смогла. Вытерла лицо ладонью, шмыгнула. Мы сидели, окаменев.

— Папенька... — горлом сказала она. — Папенька, твоего коммуниста застрелили!

— Что?! — крикнул я, вскакивая. Чашка, резко звякнув о блюдец, опрокинулась, и густой чай, благоухающий мятой, хлынул на скатерть.

Приемник стоял у Поли на подушке. Диктор вещал: «...приблизительно в двадцать один двадцать. Один или двое неизвестных, подкараулив патриарха поблизости от входа в дом, сделали несколько выстрелов, вырвали портфель, который патриарх нес в руке, и, пользуясь темнотой и относительным безлюдьем на улице, скрылись. В тяжелом состоянии потерпевший доставлен в больницу...»

Жив. Еще жив. Хоть бы он остался жив.

Это не могло быть случайностью. Почти не могло.

Кому я говорил, что собираюсь консультироваться с патриархом? Министру да Ламсдорфу...

И Стасе.

Не может быть. Не может быть. Быть не может!!!

Я затравленно зыркнул вокруг. Поля плакала. Лиза, тоже прибежавшая сюда, стояла в дверях, прижав кулак к губам.

— Мне нужно поговорить по телефону. Выйдите отсюда.

— Папчик...

— Выйдите! — проревел я. Их как ветром сдуло, дверь плотно закрылась. Я сорвал трубку.

У Стаси играла музыка.

— Стася...

— Ой, ты откуда?

— Из дома.

— Это что-то новое. Добрый это знак или наоборот? — У нее был совершенно трезвый голос, хорошо. А вот сип-

ловатый баритон, громко спросивший поодаль от микрофона что-то вроде «Кто то ест?», выдавал изрядный градус. Естественно, коньяк трескает. Наверное, уже до второй бутылки добрался. «Это мой муж», — по-русски произнесла Стася, и словно какой-то автоген дунул мне в сердце пламенем острым и твердым.

— А мы тут, Саша, сидим без тебя, вспоминаем былую лирику, планируем будущие дела...

— Только не увлекайся лирикой.

— Я даже не курю. Представляешь, он берет у меня в «Нэ згинэла» целую подборку, строк на семьсот!

— Поздравляю. Стася, ты...

— Я хочу взять русский псевдоним. Можно использовать твою фамилию?

— Мы из Гедиминовичей. Это будет претенциозно, особенно для Польши. Стася, послушай...

— А девичью фамилию Лизы?

— Об этом надо спросить у нее.

— Значит, нельзя, — вздохнула она.

— Стасенька, ты никому не говорила о том, куда я собираюсь лететь?

— Нет, милый. — Голос у нее сразу посерьезнел. — Что-то случилось?

— Ты уверена?

— Да кому я могла? Я даже не выходила, а с Янушем у нас совершенно иные темы.

— Может, по телефону?

— Я ни с кем не разговаривала по телефону. — Она уже начала раздражаться. — Честное слово, никому, Саша. Хватит.

— Ну, хорошо... — Я с силой потер лицо свободной ладонью. — Все в порядке, извини.

Было чудовищно стыдно, невыносимо. За то, что ляпнулось в голову.

— Стасик... Ты очень хорошая. Спасибо тебе.

— Саша. — У нее, кажется, перехватило горло. — Саша. Я ведь так и не знаю, как ты ко мне относишься. Ты меня хоть немножко любишь?

Да, сказал я одними губами. Да, да, да, да!

Она помолчала.

— Ты меня слышишь?

— Да, — сказал я вслух. — Да. И вот еще что. Ты не говори ему, кто я. В смысле, где я работаю.

— Почему?

— Ну, вдруг это помешает публикации.

— Какой ты смешной, — опять сказала она. — Почему же помешает?

— Ну... — Я не знал, как выразиться потактичнее. — Он вроде как увлечен национальными проблемами слегка чересчур...

— Ты что, — голос у нее снова изменился, стал резким и враждебным, — обо всех моих друзьях по своим досье теперь справляться будешь? Он в какой-нибудь картотеке неблагонадежных у вас, что ли? Какая гадость! — И она швырнула трубку.

Хлоп-хлоп-хлоп.

Позаботился.

Слов-то таких откуда нахваталась. «Неблагонадежных...» Меньше надо исторической макулатуры читать...

Не верю. Не может быть.

Неужели случайность?

Таких — не бывает.

Я снова поднял трубку.

— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Симбирск?

ГЛАВА ПЯТАЯ

СИМБИРСК

1

В оранжевой рассветной дымке распахивался под нами Симбирск — между ясным, светлее неба, зеркалом Волги, даже с этой высоты просторной, как океан, и лентой Свяги, причудливым ровным серпантинном петляющей по холмистой равнине волжского правобережья. Небольшой, но великий город. Когда-то он был крайним восточным форпостом засечной черты, прикрывавшей выдвинутые при Алексее Михайловиче в эту степную даль рубежи страны. Мне всегда казалось неслучайным, что именно здесь за двести лет до рождения первого патриарха коммунистов России получил коленом под зад пьяный тать Стенька — выдавленный из Персии, выдавленный с Каспия, безо всяких угрызений удумавший было погулять, раз такое дело, по родной землице, вербуя рати посулами свобод и, как выразился бы какой-нибудь Нечаев, будущего справедливого общественного строя: «Режь кого хошь — воля!» Но насилие не прошло здесь уже тогда. Аура такая, что ли... еще одно сердце России. Иногда мне казалось, что вся эта неохватная, как космос, держава состоит из одних сердец — то в такт, то чуть вразнобой они колотятся неустанно, мощно и всегда взволнованно.

И вот насилие, безобразное, словно проказа, проникло сюда.

Неужели и впрямь мутантный вирус?

Невесомым бумажным голубем семисотместная громада спланировала на бетон и замерла в сотне метров от здания вокзала. Безмятежная заря цвела вполнеба, когда мы вышли на вольный воздух. Длинная вереница рейсовых автобусов быстро всосала пролившееся из утробы лайнера людское море и, фырча, распалась — кто в Симбирск, кто в Ишеевку, кто куда.

До центра Симбирска езды было с четверть часа.

Я отправил группу «Добро» в гостиницу, где всех нас ожидали номера, а сам пошел по городу, безлюдному и неподвижному в эту рань. Всплыл алый диск, и спящие дома млели в розовом свете; чуть курилось над лужайками Карамзинского сквера розовое марево, пропитанное истомным настоем отцветающей сирени. Сколько сиреневых поколений сменилось с той поры, как гулял тут великий историк? Обаятельно неуклюжий, будто теленок, длинный дом, в котором родился автор «Обломова», улыбнулся мне топазовыми отсветами старомодных окон. По бывшей Стрелецкой, ныне Ленина, мимо принадлежащего патриаршеству института императивной бихевиористики вышел к Старому Венцу. Дальше хода не было — откос и буйный, слепящий волжский разлет.

Левое крыло института, выстроенного в тон сохранившимся, как были, зданиям улицы, упиралось в дом Прибыловского, во флигеле которого появился на свет первый патриарх.

Было все же что-то неизбежно русское и, не побоюсь выпренного слова, — соборное в осуществленной им удивительной трансформации. Он верно угадал подноготный смысл вскружившего многие головы так называемого экономического учения, вся предписывающая часть которого, в отличие от достаточно глубокой опи-

сывающей, сводилась, если отрешиться от прекраснодушных, таких понятных и таких нелепых грез об очередном будущем справедливом строе, к фразе, с античных времен присущей всем бандитам, поигрывающим в благородство и тем загодя подкупающим бедняков в надежде, буде понадобится, получать у них кров и хлеб: отнимем у тех, у кого есть, и отдадим тем, у кого нет. Разумеется — все ж таки девятнадцатый век! — с массой интеллигентских оговорок: то, что экспроприровано у народа; то, что нажито неправедным путем... как будто, хоть на миг спустившись с теоретических высей на грешную землю и вспомнив о человеческой природе, можно вообразить, что в кровавой горячке изъятий кто-то станет и сможет разбираться, что нажито праведно, а что — нет. Логика будет обратной: у кого есть — тот и неправеден, вот что ревет толпа всегда, начиная от первых христиан, от Ликурговых реформ, и нет в том ее вины, это действительно самый простой критерий, обеспечивающий мгновенное срабатывание в двоичной системе «да — нет»; в толпе все равны и просты, и спешат построить справедливый строй, пока толпа жива, и поэтому не могут не требовать действий быстрых, простых и равных по отношению ко всем, двоичный код — максимум сложности, до которого толпа способна подняться.

Да, изначально концентрация имуществ и средств шла насилием, грабежом, зверством неслыханным — но, когда она завершается и фавориты тысячелетнего забега определились, ломать им ноги на финишной прямой и ровно тем же зверством отбирать у тех, кому когда-то как-то — все равно когда и как — досталось, отдавая деньги, станки, месторождения, уголья, территории тем, у кого сейчас их мало или нет совсем, значит, принуждать исто-

рию делать второй шаг на одном и том же месте; а потом, возможно, еще один, и еще, и еще, ввергая социум в череду нарастающих автоколебаний сродни тем, от которых погиб Кисленко, а у нее одна развязка: полное разрушение молекулярной структуры, полное истребление и победителей, и побежденных. И что проку лить нынешним обездоленным уксус в кровь, дразнить, как собак до исступления дразнят, твердя о восстановлении исторической справедливости! История не знает справедливости, как не знает ее вся природа. Справедлива ли гравитационная постоянная? Несправедлив ли дрейф материков? Даже люди не бывают справедливы и несправедливы; они могут быть милосердны или безжалостны, щедры или скупы, дальновидны или ослеплены, радушны или равнодушны, но справедливость — такая же игра витающего среди абстракций ума, как идеальный газ, как корень квадратный из минус единицы.

И вот он взял те формулы учения, что не несли в себе ни проскрипций, с которых еще во времена оны начинал в Риме каждый очередной император, ни розового бреда об основанном на совместном владении грядущем справедливом устройстве, выдернул оттуда длинную, как ленточный червь, цепь предназначенных стать общими рельсов, кранов, плугов, котлов, шатунов и кривошипов и заменил их душой. Как будто люди заботятся друг о друге шатунами и кривошипами! Будь у одного паровоза хоть тысяча юридических владельцев, одновременных или поочередных, реально владеет им либо машинист, либо тот, кто стоит над машинистом с винтовкой в руке. Люди заботятся друг о друге желаниями и поступками и, если достаточно большая часть людей постоянно помнит, что каждое насилие, каждый корист-

ный обман, каждое неуважение подвергает риску весь род людской, уменьшая его шансы выстоять в такой несправедливой, мертвой, вакуумной, атомной, лучевой, бактериальной Вселенной, — какая разница, кому принадлежит паровоз?

Да, люди способны к этому в разной степени, люди — разные. Но лучше уж знать, кто чего стоит, нежели средствами государственного насилия заставлять всех быть с виду единообразными альтруистами, а в сущности — просто притворяться и лишь звоночка ждать, чтобы броситься друг на друга... Да, некоторые люди к этому пока не способны совсем. Они до сих пор иногда стреляют.

Зачем, господа, зачем они до сих пор стреляют?!

Я и не заметил, как присел покурить на дощатую лавочку у крыльца. Там теперь музей. А в самом доме Прибыловского вот уж почти век — центральные учреждения патриаршества.

Отсюда вчера вечером вышел шестой, и в мыслях не держа, что не дойдет до своей квартиры.

Зачем они стреляют?

«Найди их и убей».

Пора.

2

Я представился, показал удостоверение. Стремительно застегивая верхнюю пуговицу кителя, дежурный вскочил.

— Вас ждут, господин полковник. Нас еще с вечера предупредили из министерства.

— Кто ведет следствие?

— Майор Усольцев. Комната девять.

Усольцев был еще сравнительно молод, но узкое, постное лицо с цепкими глазами выдавало опытного и настырного сыскаря. Если такой возьмет след — его уже не собьешь.

— Я никоим образом не собираюсь ущемлять ваших прав, — обменявшись с ним рукопожатием, сразу сказал я. — Я не собираюсь даже контролировать вас. Меня просто интересует это дело. Есть основания полагать, что оно связано с гибелью «Цесаревича».

— Вот как, — помолчав и собравшись с мыслями, проговорил Усольцев. — Тогда все ясно. То есть, конечно, не все... Какова природа этой связи, вы можете хотя бы намекнуть?

— Если бы это облегчило поиски стрелявшего, я бы это сделал. Но покамест не стану вас путать, не обесцудьте. Все очень неопределенно.

— Хорошо, господин полковник, тогда и оставим это. — Он опять помолчал. — Стрелявших было двое. Жизнь патриарха, по-видимому, вне опасности, но состояние очень тяжелое, и он до сих пор без сознания. Пять попаданий — просто чудо, что ни одного смертельного... Присаживайтесь здесь. Вот пепельница, если угодно. Вы завтракали? Я могу приказать принести чаю...

— А вы завтракали? — улыбнулся я.

Он смущенно провел ладонью по не по возрасту редким волосам.

— Я ужинал в четыре утра, так что это вполне сойдет за завтрак.

— Я перекусил в гравилете. Мотив?

— В сущности, нет мотива.

Ага, подумал я.

— Сначала мы полагали, что это какое-то странное ограбление, но через два часа после дела портфель патриарха был найден на улице, под кустами Московского бульвара.

— Он был открыт?

— Да, но, судя по всему, из него ничего не было взято. Хотя в нем рылись, и на одной из бумаг мы нашли отпечаток мизинца. Портфель отброшен, словно на бегу или из авто, часть бумаг вывалилась на землю.

— Что вообще в портфеле?

— Ничего заманчивого для грабителей. Кусок рукописи, над которой работает патриарх. Личные дела претендентов на освобождающуюся должность заведующего лабораторией этического аутокондиционирования при патриаршестве — прежний завлаб избран депутатом Думы. Сборник адаптированных для детей скандинавских саг в переводе Уле Ванганена — секретарь патриарха показал, что патриарх купил сборник вчера днем в подарок внуку. Финансовый отчет ризничего...

— Возможно, грабители полагали, что там есть нечто более ценное, а убедившись в ошибке, избавились от улики.

— Это единственное, что приходит на ум. Но кому в здравом уме шарахнет в голову, что патриарх носит в портфеле бриллианты или наркотики?

— Возможно, ограбление — лишь маскировка политической акции? — спросил я.

Усольцев пожал плечами и ответил:

— На редкость бездарная.

— А возможно, некто был не в здравом уме?

Майор помолчал с отсутствующим видом.

— Эту реплику, господин полковник, такую многозначительную и загадочную, я отношу на счет той информации, которой вы, вероятно, располагаете, а я — нет. Ничего ответить вам не могу.

— Господин майор, вы поняли меня превратно! — сказал я, а сам подумал: какой ершистый. — Я имел лишь в виду осведомиться, не было ли в городе в последнее время каких-то иных, менее значительных происшествий, связанных с необъяснимым вандализмом, неспровоцированной агрессией и так далее. Возможно, просто действовал маньяк!

Усольцев несколько секунд испытующе глядел мне в лицо, а потом вдруг широко улыбнулся, как бы прося прощения за вспышку. И я смущенно подумал, что, не дай бог, он мог расценить мои слова о неспровоцированной агрессии как намек на свое собственное поведение. Мне совсем не хотелось его обижать. Он мне нравился.

— Мне это не приходило в голову, — признался он, — но, видимо, потому, что я доподлинно знаю: таких инцидентов в городе не было. Что же до маньяка, то... во-первых, у нас их два, а это уже редчайший случай — чтобы два маньяка действовали совместно. Во-вторых, дело было не импульсивным, а подготовленным. От патриаршества до дома патриарха менее получаса ходьбы, и в хорошую погоду патриарх, разумеется, не пользовался авто. Покушение было осуществлено в самом удобном для этого месте, в сквере, примыкающем к жилому кварталу, где расположен дом патриарха, — там темнее и безлюднее, чем где-либо еще на маршруте от патриаршества до дома; и маньяки явно уже отследили, как патриарх ходит и когда. Расположились они тоже не случайным образом, а это значит, что они явно профессионалы, по крайней мере — один из них.

С этими словами Усольцев встал; подойдя к столу, взял одну из бумаг и принес мне. Это был реконструированный по показателям немногих свидетелей план — кто как стоял, кто как перемещался; красным пунктиром были нанесены трассы выстрелов — их было восемь; красными крестиками — места, где находился патриарх в моменты попаданий, их было пять; он еще пытался бежать, потом полз, и жирным красным кружком было обозначено место, где он замер. Я смотрел, и вся картина этой отчаянной трех- или четырехсекундной битвы одного безоружного с двумя вооруженными ярче яви стояла у меня перед глазами; зубы скрипнули от жалости к нему и ненависти к ним.

«Найди их и убей».

Да, они очень правильно встали. После первого выстрела патриарх побежал — прямо на второго — и сразу напоролся на пулю, пробившую правое легкое.

А вот стреляли они неважно. Бандиты — да, но не террористы-профессионалы. Действительно, похоже скорее на разбойное нападение, чем на теракт.

Если бы они хотели его убить, они бы его убили, понял я. Да, они могли подумать, что он мертв, но никто им не мешал, никто не спугнул, счет отнюдь не шел на секунды; если бы их специальной целью было именно убийство, любой из них мог сделать несколько шагов и добить лежачего в упор.

Значит, целью было ограбление.

Но, если им нужен был портфель, зачем такая пальба? Подойти, оглушить, вырвать... просто пшикнуть чем-нибудь в лицо, хватить — и наутек!

И кроме того, что они в самом-то деле ожидали найти в портфеле патриарха коммунистов, неукоснительно,

хоть и не столь ярко, как монахи христиан, придерживающихся принципа нестяжания?

Значит, и не ограбление.

Жестоко, но не до смерти изувечить и изобразить ограбление, чтобы запутать нас?

Но Усольцев прав, изобразить можно было бы и лучше — бросить портфель не под кусты в двух шагах от места покушения, а в ту же, например, Волгу, пихнув внутрь пару камней, — и никто бы его никогда не нашел.

А может, им нужны были именно бумаги? Ознакомились, узнали нечто — и вышвырнули, как мусор. Но что? Финансовый отчет? Подробности биографии какого-то из кандидатов в завлабы? Темный лес...

Надо тщательно проанализировать все бумаги.

— Баллистическая экспертиза? — спросил я.

— «Вальтер» и «макаров». Две пули попали в деревья, одна в стену дальнего дома напротив. «Вальтер» темный. А вот из «макарова» три года назад стреляли в инкассатора в Игарке. Стрелявший сидит, я затребовал его дело.

— Что с отпечатком?

— На бумагах и на портфеле, конечно, полно отпечатков, но все принадлежат работникам патриаршества, в основном — самому патриарху. И один мизинец, который безымянный. В смысле, неизвестно чей. На папке с личными делами. Но не похоже, что ее открывали, — портфель, скорее, был бегло осмотрен в поисках чего-то другого. Просматривал человек в перчатках, явно он и портфель хватал, а второй, судя по этаким стремительной смазанности отпечатка, просто отпихнул папку от себя, как бы в раздражении, вот так, — Усольцев показал жестом, — ребром ладони, и мизинчиком случайно задел, мог сам этого и не заметить.

— То есть, похоже, они все-таки рассчитывали обнаружить в портфеле то ли ожерелье Марии-Антуанетты, то ли Кохинур, а напоровшись на мирную бюрократию, в сердцах вышвырнули ее вон?

— Точно так. В нашем банке таких отпечатков нет. Оператор сейчас работает с единой сетью.

— Кто-нибудь видел нападавших?

— Видели, как двое выбежали из сквера сразу после пальбы и скрылись за углом, а там раздался шум отъезжающего авто. Авто не видел, кажется, ни один человек.

— Приметы?

— Сделали фотороботы на обоих. Но весьма некачественные — ночь. Идемте к дисплею.

Первое возникшее на экране лицо, довольно грубо набросанное не вполне вязавшимися друг с другом группами черт, ничего мне не говорило. Зато второе...

Эта просторная плоская рожа... Эта благородная копна седых, достойных какого-нибудь гениального академика волос, зачесанных назад... Сердце у меня торкнулось в горло, я даже ударил себя ладонью по колену от предчувствия удачи.

— Знаете, — стараясь говорить спокойно, предложил я, — затребуйте-ка из банка данных единой сети портрет Бени Цына и сличите через идентификатор.

— Бенья Цын? — переспросил Усольцев.

— Да. По-моему, ни один человек в мире не знает, как его по отчеству. В крайнем случае — Б. Л. Цын.

— Старый друган? — осведомился Усольцев, треща пальцами по клавиатуре.

— Не исключено.

Лицо на экране уменьшилось вдвое и съехало в левую часть поля, а на правой появился портрет Бени. В левом

верхнем углу заколотились цифры, идентификатор у нас на глазах прикидывал вероятность совпадения; вот высветилось «96.30», но я и так чувствовал: он, он! — это же, наверное, чувствует гончая, взявшая след. Крупный, представительный, очень мужественный — с точки зрения современных пасифай, с ума сходящих по быкам, раскосый; и эта вечная кривая и глубокомысленная улыбочка, трогающая губы едва ли не после каждой с трудом сказанной корявой фразы: мол, мы-то с тобой понимаем, о чем шепот, но зачем посвящать окружающих дураков — этаким сибирский Лука Брацци; родился во Владивостоке, карьеру начал вышибалой в знаменитых на весь мир увеселительных заведениях Ханты-Мансийска, там же попал в поле зрения курьеров тонкинского наркоклана; а когда мы с китайскими и индокитайскими коллегами рубили клан в капусту, впервые попал на глаза и мне.

— Он! — восхищенно воскликнул Усольцев. — Ей-богу! Девяносто шесть и три — он!

Яростная, алчная сыскная радость так клокотала во мне, что, боюсь, я не удержался от толики позерства — сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла и сказал:

— Ну, остальное — дело техники, не так ли?

Все оказалось до смешного просто. Впервые в этом деле. Сорок минут спустя о том, что стюардесса наблюдает в пятом салоне человека, сходного с выданным на экран радиорубки портретом, сообщили с борта лайнера, подлетающего к Южно-Сахалинску. И лайнер этот шел от Симбирска, от нас. Бенья драпал.

В кассе аэровокзала — кассир еще даже не успел смениться — сообщили, что человек с предъявленной фотографии купил билет всего за сорок минут до взлета. Это

произошло почти через пять часов после расправы с патриархом. Почему Бенья так медлил? Где второй?

Ничего, скоро все узнаем. Скоро, скоро, скоро! Меня била дрожь. Это не бедняга Кисленко, чья-то «пешка». Это настоящая тварь, и из нее мы выкачаем все.

Человек этот, сказал кассир, чего-то боялся. Озирался и съеживался; такой крупный, представительный, а все будто хотел стать меньше ростом. И когда шел от кассы на посадку, держался в самой гуще толпы: обычно люди, попавшие в очередь к турникету последними, так последними и держатся, а этот все норовил пропихнуться туда, где его не видно в каше, потому я и обратил внимание...

Боялся. Нас боялся? Или у них тут своя разборка?

Скоро все узнаем. Скоро, скоро!

Беню взяли аккуратно и без помарок. Он сел в таксомотор, велел ехать в порт — в Японию, что ли, собрался? будет тебе Япония, будут тебе все Филиппины и Наньша цюньдао в придачу! — и слегка отмяк. Боялись, что он по-прежнему вооружен и может сдуру начать палить, поэтому решили брать подальше от людей. Перегораживающий шоссе шлагбаум портовой узкоколейки оказался опущен, шофер остановил авто, и из-за обступивших дорогу ярких рекламных щитов — «С аквалангом — на Монерон!», «На яхтах Парфенова вам не страшна любая непогода!», «Я переплыл пролив Лаперуза — а ты?» — как из-под земли вымахнули четверо ребят с пистолетами, нацеленными Бене в голову сквозь окна таксомотора. Бенья уж и не дергался, лишь понурился устало — и сам вышел наружу.

Оружия при нем не оказалось.

Меньше чем через час после прибытия в Южно-Сахалинск Беня уже пустился в обратный путь сюда, к нам. В наручниках. Теперь можно было то ли позавтракать, то ли пообедать.

— Свидетелей сюда, — сказал я, уже держа ложку в руках.

3

— Здравствуй, Беня, — сказал я. — Сколько лет, сколько зим.

— Сколько лий, сколько зям, — мрачно пошутил громила в ответ.

— Присаживайся. Вот майор Усольцев, звать его Матвей Серафимович. Он тобой будет заниматься непосредственно. Ты с ним еще не знаком.

— Очень приятно, — сказал Беня и кривовато усмехнулся: мол, мы-то понимаем, что не очень, но нет смысла говорить об очевидном.

— Но сперва я тебя спрашиваю. На правах старого друга.

— Спрашивайте...

Я помедлил. Он был какой-то безучастный. Выблтый из колеи какой-то.

— Что ж ты, Беня, за тонкинскую дурь отсидел, от ограбления алмазного транспорта отмазался счастливо — так теперь тебе для коллекции мокряк понадобился?

— Не понимаю, о чем шепот, начальник.

Я ткнул клавишу монитора — на экране высветился Бенин фоторобот.

— Узнаешь?

— Узнавать — дело ваше...

— Ладно, будем мотыляться с опозданием...

Все пять свидетелей, со слов которых составлялся фоторобот, практически без колебаний указали на Цына, затерявшегося среди шести работников полицейского управления, приблизительно схожих с Беней по внешности и комплекции.

— Ну?

— Вы на меня смотрите — они на меня и показывают.

— Улетал ты, Беня, отсюда, кассир тебя узнал.

— А я этого и не скрываю...

Я перевел взгляд на модные Бенины туфли. Оперативники срисовали их еще в гравилете.

— Тапочки у тебя клёвые. — Я сунул Цыну под нос фотографию отпечатка следа с почвы скверика, где произошло покушение. — Рисуночек, видишь, точь-в-точь как за кустом, где убийца прятался.

Цын совсем заскучал. На отпечаток глянул мельком, опустил глаза. Когда заговорил, в голосе была гордая безнадежность — умираю, но не сдаюсь.

— Какой убийца? Не понимаю я вас... А тапочки я в здешнем магазине покупал, днями. Там за прилавком коробок сто стояло.

— Горбатого лепишь, Беня. Тапочки шанхайские, модельные, здесь таких и не видывали.

Он уж не нашелся что ответить. Глядел в пол и отчаянно тосковал.

— Ну, хорошо. Трех часов полета, я смотрю, тебе мало показалось. Посиди теперь в КПЗ, еще часика три подумай. — Я сделал вид, что тяну палец к кнопке вызова конвойного.

— А ордерок, извините, у вас имеется? — уныло спросил он.

— Да что ж ты дурика из меня делаешь? Для задержания на сутки никаких ордеров не требуется.

— А потом? — осторожно спросил Беня. Какая-то странная это была осторожность. Опасливость даже.

— А потом, — вдохновенно пустил я пробный шар, — если не получится у нас задушевной беседы, отпущу тебя на все четыре стороны.

И тут он совсем допустил слабину. Моргнул. Сглотнул. Вазомоторика, беда с нею всем на свете цынам.

— Прямо здесь?!

Он боялся выходить на улицу.

Он попал в какой-то переплет. И убийство он брать на себя не хотел, и на волю здесь, в Симбирске, его тоже, мягко говоря, не тянуло. Драпал он явно не от нас.

— А где же? — простодушно спросил я.

— Где хватали, туда и отвезите, — с нахальством отчаяния пробормотал он. — Что ж мне, второй раз на билет тратиться? У меня башли не казенные...

— Ну, знаешь, сегодня ты какой-то совсем нелепый, — ответил я. — А кстати, что ты на Сахалине делать собрался?

— На Монерон с аквалангом! — плаксиво выкрикнул он.

— Да, там, говорят, красиво... Гроты... Что же сделаешь. Если взяли мы тебя понапрасну — полицейский гравилет, конечно, гонять туда не станем еще раз, но по справедливости скинемся с майором тебе на билет. А уж остальное — сам. И на вокзал сам, и в кассу сам...

Он угрюмо молчал. Ох скучно ему было, ох страшно!

И тут допустил слабинку я. Солгал. Очень редко я такими прихватками пользуюсь — грубо это, делу в конечном счете может скорее повредить, нежели помочь, и как-то даже неспортивно. Всегда неприятный осадок остается на душе. Будто сам себя, своею волей, уравнивал со шпаной. Но Бенья буквально напрашивался. Он созрел, надо было дожать чуть-чуть. Нет — так он просто плюнет на меня, как на вруна и провокатора, и будет прав, а я получу по заслугам. И придется впрямь отпускать его на улицу, куда он так не хочет, — и, видимо, не хочет неспроста; так лучше его от этой улицы хоть так побережь. Я вызвал конвойного. И Усольцев уже кусал губу, с досадой и непониманием косясь в мою сторону. И Цын уже встал, сутулясь, и повернулся к двери, чтобы идти. И тут я доверительно сказал ему в спину:

— Но ведь, Бенья, и патриарх тебя признал.

Он стремительно обернулся ко мне:

— Так он живой?!

Усольцев не выдержал — захохотал от души и даже прихлопнул себя обеими руками по ляжкам. Бенья растерянно уставился на него, потом опять на меня; широкое лицо его стало пунцовым.

— Живой, Бенья, живой. Честное слово. Что ж ты себя пугаешь? Нет на тебе мокряка. Садись-ка сюда сызнова, и будем разговаривать по-настоящему.

Он решительно шагнул назад. Взглядом я отослал конвойного. Бенья уселся.

— А если по-настоящему, — сказал он, всерьез волнуясь, — если по-настоящему... Он же все врет! Демагог! Поет сладкие песни, всех со всеми как бы мирить пытается — а сам личной власти хочет, диктатуры! Вот, мол, я самый добрый, самый правильный, без меня вы — ни-

куда. Слушайте! А для меня это просто невыносимо, я ж в молодости сам коммунизмом увлекался, чуть обет не дал... Вовремя скумекал, что вранье это все, просто такие вот дурыт народ.

Я откинулся на спинку стула. Я был ошеломлен: чего угодно ожидал, только не этого. Словно паук вдруг закукарекал из своей паутины.

— А портфельчик этот? — горячился Бенья. Он не играл, не придуривался — чувствовалось, что его прорвало и говорит он о наболевшем, о сокровенном, о том, чем и поделиться-то ему было не с кем доселе. — Я никак понять не мог, чего он все время с портфельчиком ходит. А третьего дня на меня как откровение какое накатило: там же деньги, ценности. Сосет, вымогает каждый день у рядовых коммунистов — как бы пожертвования всякие на нужды, на фонды научные и всякие программы... а сам потихоньку по вечерам, когда все уж разойдутся, домой перетаскивает! А там — то ли под яблоньку до лучших дней, то ли в Швейцарию как-то переправляет на случай загранкомандировок...

— Бенья, — сказал я, слегка придя в себя. Глянул на Усольцева: тот тоже сидел в обалдении. — Бенья, дружище, да в своем ли ты уме? Откуда ты слов-то этих набрался: демагог, диктатура, рядовые коммунисты... загранкомандировки... Кто тебе напел?

— Верьте слову, — убежденно ответил он. — Так и есть. Сам понял.

— И когда же ты это понял?

— Кумекать-то я уже давно начал... уже неделю здесь. А третьего, говорю, дня вдруг осенило. И как-то, знаете, легко мне сразу стало, будто весь мир сделался прозрачный и понятный. Вот же, думаю, патриарх, на всей зем-

ле уважаемый человек, учить всех лезет — а такая свинья, хуже нас, грешных!

— Так. Ну и какие ценности ты в портфеле обнаружил?

— Тут промашка вышла, — с досадой признался Цын. — Как раз в тот вечер он одни бумажки нес. Потому я и влип.

— Не понял, — сказал я. — Где влип? Во что влип?

— Да со своими, — нехотя сказал Бенья. — Ведь как получалось-то? Я уж так уверен был, что подговорил одного другана вместе взяться... Одному как-то не личило, не верилось мне, что патриарх и впрямь без охраны ходит. И мне не только портфель нужен был, мне наказать его хотелось! Может, и не до смерти, это уж как Бог ему даст, но — как следует! А другану на идеологию мою начхать, конечно, ему материю подавай. В общем, наплел я с три короба, чтоб его увлечь, — а у нас такого не прощают...

Да. Если он плел со столь же убежденным видом, что теперь, — кто угодно бы поверил.

— И где же твой друган?

— Он, как увидел, что мы пустышку взяли, — озверел. За рулем я был, а он ствол мне в бок: верти, говорит, туда, где мне лапшу на уши вешал, будем с тобой разбираться. И была бы мне хана, если бы не извернулся я. Уж приехали в его компанию, уж из тачки вышли — дал я ему возле дома по темечку, и ноги в руки. Теперь-то, думаю, они меня ищут не хуже, чем вы...

— Так что же это за компания у тебя тут? — не выдержал Усольцев. Я понял его нетерпение — его более всего волновали дела вверенного ему района, и весть о том, что под носом у него шурует целая группа, явно довела его до умоисступления. Удивляюсь его выдержке, он и так долго терпел.

Беня моргнул. Покосился на Усольцева.

— Да я и сам толком не знаю, — осторожно сказал он. — Я сюда один прилетел, думал отдохнуть маленько. Тут же коммунисты, благородствование... А друга этого на улице встретил. Его это компания.

С какой-то нехорошей мысли сбил меня поворот разговора. Компания — это, безусловно, важно, очень важно, но нечто значительно более важное ворохнулось в мозгу и растворилось. Осталась тревога.

— Ты, Беня, не темни!

— Век воли не видать, господин майор!

— Адрес?

— В Ишеевке это. Хлебная улица, дом сорок шесть. Двухэтажный такой особнячок, принадлежит торговцу-зеленщику Мокееву. Торговец-то он торговец, да только не зеленщик.

— А чем торгует?

— Да всем помаленьку. В основном, кажись, дурью.

Не слишком ли легко он всех сдает? Да нет, он нашими руками надеется от них избавиться и так обезопасить себя — это бывает. Что же мне такое показалось?

— План дома нарисуешь?

— Только уж вы на меня не ссылайтесь, ежели с ними беседовать будете.

— Какой разговор, Беня.

— Для меня — самый важный. Господина полковника-то я давно знаю, он человек честный и своих в обиду не даст. А с вами, извиняюсь, дела пока не имел...

— Ты уж к нам в свои записался? — ухмыльнулся Усольцев.

— Сотрудничество — вещь полезительная. Мы за мирное существование двух систем.

Майор опять опешил.

— Чего? Каких систем?

Вертя в пальцах карандаш и примериваясь, как рисовать, Цын отмахнулся.

— Это из юности моей коммунистической, вам не понять. Вот тут, значит, крылечко...

Усольцев вопросительно глянул на меня. Я пожал плечами. Что за окоlesiцу Беня нынче несет...

— С этой стороны в первом этаже шесть окошек, во втором — четыре...

Конечно, и в Ишеевке, и даже в самом Симбирске устроить базу — остроумно и верно. Полно принадлежащих патриаршеству странноприимных домов, полно частных пансионатов — паломников и своих, и зарубежных не счесть; послушников, едущих хоть словом перемолвиться с патриархом перед обетами; не счесть журналистов и ученых, опять-таки и своих, и из иных стран... Легко затеряться.

Нет, не об этом я подумал.

Беня, прикусив кончик языка, старательно чертил.

Конечно, скорее всего мы там никого не застанем. Опасаясь, что мы найдем Беню раньше и расколем, они, естественно, должны уже слинять давно, ради чего бы они в этом особняке Мокеева ни собирались...

Нет, не то.

Беня поднял на меня виноватые глаза.

— Вы уж поаккуратней, — сказал он. — Это ж малина... опорный пункт, по-вашему. Сейчас там три, а сейчас — пятеро...

Там оказалось двенадцать. И уйти они никак не могли — держал товар, о котором Беня и слухом не слыхал. В подвале бывшего не опорным, а перевалочным пунк-

том дома дожидалась транспорта рекордная партия героина-сырца для Европы; такую не увезешь в чемодане. Подготовленный канал с сопровождением, со всеми документами, подстраховками, таможенными льготами должен был сработать назавтра. Как эти люди проклинали Бенью, втравившего одного из них в дурацкое, пустое и принявшее столь неожиданный оборот дело! Правда, тюкнутый по темечку особенно не распространялся о том, как на пустышке купил его Бенья, — стеснялся выглядеть дураком...

Все это я узнал позднее.

Коль скоро тюкнутый не зарегистрирован ни в одном из травмопунктов, ни в одной из больниц района, значит, скорее всего он в доме — так рассудили мы с Усольцевым. Дом аккуратнo обложили ишеевские оперативники через четверть часа после того, как Бенья начал давать показания. Но Усольцеву не терпелось пощупать самому. Следить за точкой день, два, три казалось ему в сложившейся ситуации бессмысленным — а вдруг к тому же Бенья соврал и нет там никакой малины? — и потому невыносимым. Это было его дело — я расследовал катастрофу «Цесаревича», покушение на патриарха. Но когда, сильно на себя раздосадованный за то, что до сих пор и слыхом не слыхал об активном местном торговце дурью, Усольцев сказал:

— Ну, что же, я вызываю свою группу, — я ответил:

— Я тоже.

— Вам-то зачем, Александр Львович?

От возбуждения и тревоги я стал болтлив не в меру.

— Понимаете... полный дурак я только с женщинами. Что мне скажут — тому и верю. А тут чудится мне

какой-то подвох, а какой — никак не соображу. Значит, лучше быть поближе к делу.

Начинало смеркаться, когда два авто подъехали к углу Хлебной и Дамского проспекта, где были сосредоточены почти все лучшие в Ишеевке заманчивые для женщин магазины, и, не выворачивая на Хлебную, остановились. В дороге мы по радио успели получить дополнительные сведения: сам Мокеев с семьей уже неделю как убыл на воды, дома оставив управляющего; да два приехавших откуда-то из Сибири незнатных журналиста снимают у него мансарду. Круг знакомств у них обширный. С момента установления наблюдения из дома никто не выходил и в дом не входил; есть ли кто-то внутри — неизвестно.

— Держись ко мне поближе на всякий случай, — поправляя кобуру под мышкой, сказал я Рамилю. Тот механически кивнул, явно не очень-то меня слыша; глаза горят, щеки горят — первое серьезное дело.

— Ну зачем вам-то рисковать? — полушепотом сказал мне командир группы «Добро» Игорь Сорокин. И с раскованной прямоотой добавил: — Ведь под сорок уже, реакция не та...

Я только отмахнулся. Меня будто бес какой-то гнал. Амок.

Эта операция была поспешно совершаемой глупостью, от начала и до конца. И хотя мы взяли всех, в том числе и тюкнутого, в том числе и товар, — если б не подвернулось «Добро», охранники товара постреляли бы половину десятки Усольцева, а то и больше. Сам того не ведая, Бенья отправил нас в осиное гнездо.

И вот, когда мы уже заняли позиции под окнами, и на звонки в дверь никто не отвечал, а потом управляющий, якобы сонно, стал спрашивать, чего надо, и сооб-

шил, что хозяин в отъезде, и честный Усольцев уже помахал у него перед носом ордером на обыск, и первая пятерка уже вошла в дом, я вдруг понял, какая мысль, ровно никак не могущий родиться младенец, крутилась и пихалась пятками у меня в башке.

Это был не Беня.

Со мной разговаривал тот самый дьявол. Тот самый мутантный вирус. Просто Кисленко, человек порядочный и добрый, не выдержал раздвоения, а преступник Цын с дьяволом сжился легко; он даже не понял, что одержим. Все побуждения и повадки дьявола были ему сродни. Но его бред про сокровища рядовых коммунистов и личную диктатуру патриарха произносили из мрачной бездны те же уста, которые подсказывали убийце великого князя бред про красный флаг и про то, что народу нечего жрать.

Я похолодел от жуткой догадки. Идиот, нужно срочно ехать обратно, манежить Беню до изнеможения: в какой момент его осенило, где, кто находился рядом, что ели, что пили... И тут в доме началась пальба.

Державший соседнее с моим угловое окно Рамиль рванулся к крыльцу дома. Мальчишка, сопляк; товарищам помогать нужно, делая как следует то, что поручено тебе, а не мечась между тем, что поручено одному, другому, третьему товарищу... С диким звоном разлетелось окно — не мое, Рамилево, — и из дома вниз прыгнул, растопырив руки крестом на фоне темнеющего неба, вооруженный человек.

Рамиль рванулся обратно. Чуть оскользнулся на росистой траве. Выровнялся мгновенно, быстрый и сильный, как барс, но такой беззащитно мягкий, почти жидкий, по сравнению с мертвой твердостью металла, которая — я это

чувствовал, знал всей кожей — то ли уже вытянулась, то ли уже вытягивается ему навстречу. Я успел выстрелить в ответ, успел размашисто прыгнуть на Рамиля; успел головой и плечом сшибить его с ног и убрать с той невидимой, тонкой, как волос, прямой, на которой в эту секунду никак нельзя было находиться живому.

И еще успел подумать, ужасно глупо: вот что чувствует воздушный шарик, когда в него тычут горящим окурком. Мир лопнул.

4

Боль была такая...

Боль.

Боль.

Такая боль, что казалось — это из-за нее темно. Из-за нее нельзя пошевелиться. Если бы не такая боль, пошевелиться было бы можно.

Особенно больно было дышать.

Опять бился в темноте под опущенными, намертво приросшими к глазным яблокам безголовый гусь; он не мог даже пискнуть, даже намекнуть, как ему плохо, больно и страшно, и лишь бессильно хлопал широкими крыльями по земле, чуть подпрыгивая при каждом хлопке; но о том, чтобы улететь с этого ужасного, залитого его кровью пятачка, и речи быть не могло.

Кажется, я маленький и больной. Инфлюэнца? Ветрянка? Не помню... Температура, это точно. Очень высокая температура. И боль. Но мама рядом. Это я чувствую даже в темноте. Она рядом и что-то шепчет ласково. Значит, все будет хорошо. Я поправлюсь. Надо только

потерпеть, переждать. Маменька, так больно мне... дай попить... не могу дышать, сними с меня камень.

Хлоп-хлоп крыльями...

Хлоп-хлоп веками. В первое мгновение свет показался непереносимо ярким.

В палате едва тлел синий ночник. Я был распластан; капельница — в сгиб локтя, кислородная трубочка прилеплена пластырем к верхней губе. Это из нее веет прямо в ноздрю свежим — так, что можешь дышать, почти не дыша. Рядом не мама — Лиза. Она осунулась. Она молилась. Я слышал, как она, сжав кулачки, просто-таки требует чего-то у святого Пантелеймона и еще у какой-то Ксении... Смешная. Под глазами у нее пятна, синие, как ночник. Наверное, она давно так сидит.

Я шевельнул губами и засипел. Она вскинулась.

— Саша!

Я опять засипел.

— Тебе нельзя говорить! Сашенька, родненький, пожалуйста, лежи спокойно! Все уже хорошо! Только надо потерпеть...

Я засипел.

— Чего ты хочешь, Сашенька? Что мне сделать? Подушечку поправить? Или пописать надо? Если да — мигни!

— Прости, — просипел я.

Слезы хлынули у нее из глаз.

— Прости, — для надежности повторил я.

Прости за то, что под этими проклятыми окнами я о тебе даже не вспомнил. Не знаю, как так могло получиться. Даже не подумал, как ты без меня будешь. Даже не подумал о долге перед Полей, перед тобой... перед Стасей, про которую ты не знаешь, но с которой все равно сродни... она не любит этого слова, но, пока я ей

нужен, у меня перед нею долг, с этим ничего не поделаешь... Подумал только о чужом мальчишке — там, в Отузах, где нам с тобою и с Полей было так хорошо, он со сверкающими глазами заворуженно слушал на вечерней веранде, под звездами, среди винограда, мои рассказы...

Всего этого мне нипочем было сейчас не сказать.

— Ксения... кто? — просипел я.

Она улыбнулась, гладила меня по руке, поправляла одеяло...

— Ты слышал, да? Как чудесно! Ты совсем пришел в себя, родненький! Это такая очень достойная женщина, тебе бы понравилась. Святая Ксения Петербургская. У нее муж умер скоропостижно, без причастия, и значит, в рай попасть никак не мог; но она, чтоб его из ада вытащить, в его одежду оделась, стала говорить, что умерла она, Ксения, все имущество бедным раздала и еще долго жила праведной жизнью как бы за него. У нас на Смоленском похоронена, в трех шагах от дома. Хочешь — сходим потом вместе?

— Она... от чего? — спросил я и сразу понял, что плохо сказал, — будто речь шла о таблетке. Но слово — не воробей.

— Для здоровья, для супружеского ладу...

— А Пантелеймон что же?

Она и смеялась, и плакала.

— Сашенька, ну это же не кабинет министров! Один по энергии, другой по транспорту... Они просто помогают в нужде — а там уж с кем лучше всего отношения сложатся. Вот мне, например, с Ксюшей легче всего, доверительнее...

Из-за двери палаты донесся шум. Резкие выкрики. Голоса — женские. Дверь с грохотом, невыносимым в тишине и боли, распахнулась.

— Нельзя, у него уже есть!.. — крикнула медсестра, пытаясь буквально забаррикадировать дверь собой, и осеклась, растерянно оглядываясь на нас; я так и не узнал, что у меня, по ее мнению, уже есть. С закушенной губой, с беспомощно распахнутыми, сразу ослепшими со света глазами, отпихнув сестру плечом, в палату ворвалась Стася.

Лиза медленно поднялась.

Стало тихо.

Легонечко веяла в ноздрю струйка свежего воздуха; казалось, она чуть шелестит. И еще сердце замолотило, как боксер в грушу, — то несколько диких ударов подряд, то пауза.

— Ну вот... — просипел я.

Маменька, дай мне попить...

— Раз вы встретились — значит, я умру.

Они стояли рядом. И, хоть были совсем не похожи, мне казалось, у меня двоится в глазах. Это напоминало комбинированную съемку — бывает такое в неприязнительных кинокомедиях: одного и того же актера, скажем, снимают как двух братьев-близнецов, а все путаются, ничего понять не могут, скандалят иногда, и так до самой развязки. Братья встречаются в одном кадре,жимают друг другу руки и хохочут.

Здесь никто не хохотал.

— Это Елизавета Николаевна, — просипел я, — моя жена. Это Станислава Соломоновна... тоже моя жена.

— Из-звините... — дребезжащим, совершенно чужим голосом выдавила Стася, круто повернулась и, прострочив короткую очередь каблучками по кафельному полу, вылетела из палаты. Какое-то мгновение Лиза, приоткрыв рот в своем детском недоумении, смотрела ей вслед.

Потом вновь перевела взгляд на меня. Губы у нее затряслись. Я еще успел увидеть, как она бросилась мимо окаменевшей медсестры за Стасей.

Очнулся я в реанимации. Боль была везде.

Хлоп-хлоп крыльями...

Я не хотел открывать глаза. Лиза была рядом, я слышал. Значит, все хорошо. Пока я молчу, пока лежу с закрытыми глазами, она будет здесь. Едва слышно, напевно, отрешенно она шептала что-то свое... Акафист? Да, акафист.

— ...Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мною колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности...

Мне было пять лет.

— ...Господи, как хорошо гостить у Тебя. Вся природа таинственно шепчет, вся полна ласки, птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне...

Голосок у нее был севший, хрипловатый. Наверное, она много плакала.

— ...При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветлятся тела, как засияют души! Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни! Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты! Слава Тебе, Боже, за все вовеки!

Мне было пять лет, когда летом в подмосковном нашем имении я забрел в неурочный час на хозяйствен-

ный двор. Что я искал, во что играл, фантазируя в одиночестве, — не помню. Какая разница. В памяти остался только гусь.

— ...Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет. Там Христос!

Нам ли он должен был пойти на стол, работникам ли — этого я тоже не знаю. Он лежал на земле; кровь уже не текла из нелепого обрубка шеи — а я-то, маленький, даже не понял поначалу, что с ним, с громадным белым красавцем, и где у него голова. Но он еще молотил крыльями, и крылья были такие мощные, такие широкие, казалось, на них играючи можно подняться хоть до солнца. Но он лишь чуть подпрыгивал, когда просторные, уже запыленные, уже испачканные землей и кровью лопасти били оземь. Замрет бессильной грудой, как бы готовясь, сосредотачиваясь, потом отчаянно, изо всех сил: хлоп-хлоп-хлоп!

— Как близок Ты во дни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты сам склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь неожиданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню: Аллилуйя!

Я долго, словно привороженный, стоял там и с безумной надеждой смотрел: вдруг у него получится? Потом убежал; меня никто не умел успокоить весь день. «Он не может! — кричал я, захлебываясь слезами; боялись припадка, так я заходился. — Он не может!» Они не понимали — а я не мог объяснить, мне все было предельно ясно, до ужаса и навсегда. Милая моя маменька

подсовывала мне, думая утешить и развлечь, пуховых, мягких, смешных, обворожительных гусят: «Смотри, Сашенька, как их много! Как они бегают! Как они кушают! На, дай ему хлебушка! Ням-ням-ням! Хочешь, возьми на ручки — гусеночек не боится Сашеньки, Сашенька добрый...» Я плакал пуще, уже ослабев, уже без крика, и только бормотал: «Мне жалко. Мне всех их жалко».

— ...Когда Ты вдохновляешь меня служить близким, а душу озаряешь смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падает на мое сердце, и оно становится светоносным, словно железо в огне. Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других! Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра! Слава Тебе, положившему великую награду в самооценности добра! Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв! Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного! Слава Тебе, Боже, за все во веки...

Ни единому существу в целом свете не дано желать сильнее, чем этот гусь желал улететь с ужасного места, где с ним произошло и продолжает происходить нечто невообразимое, исполненное абсолютного страдания. Он так старался! Хлоп-хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Все слабее... Вся жизнь, которая еще была в нем, молила крылья об одном: улетим! Ну улетим же, здесь плохо, больно, жутко; здесь ни в коем случае нельзя оставаться!

И он не мог. Даже так страстно желая — не мог.

Тогда я понял. У всех так. И у человека. Человек может только то, что он может, и ни на волос больше и ни на волос иначе. Сила желания не значит почти ничего.

Хлоп-хлоп-хлоп.

Чего стоят мои «я приду»? Чего стоят их «я — твой дом»? Если грошовый кусочек свинца оказывается сильнее и главнее, чем все эти полыхающие лабиринты страстей... и пока мы топчем друг друга в тупом и высокомерном, подчас не менее убийственном, чем свинец, стремлении придать ближним своим форму для нас поудобнее, поухватистее — он, может быть, уже улетит? В красивую мою, ласковую, бесценную, живую — уже улетит?!

— ...Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь...

— Лиза, — позвал я. Будто шипела проколотая шина. — Лиза.

Она осеклась на полуслове.

— Я здесь, Сашенька, — ответила она мягко и спокойно. Как мама. «Гусеночек не боится Сашеньки, Сашенька добрый...»

Только чуть хрипло.

— Лиза.

— Все хорошо, Саша. Ни о чем не думай, не волнуйся.

— Лиза. Руку на лицо...

Ее теплая маленькая ладонь легла мне на закрытые глаза.

— Ниже. Поцеловать.

— Потом, Саша. Все потом. Будешь целовать кого захочешь, сколько захочешь. Все будет хорошо. А сейчас лежи смиреннько, любимый, и набирайся сил.

Кого захочешь.

— Где?..

— Она в гостинице. Она... ей немножко нездоровится, и мы договорились, что она отдохнет с дороги, а уж потом меня сменит. Хотя она очень хотела прямо сей-

час. Но я просто не могу уйти. — Она помолчала. Пальцы у меня на лбу тихонько подрагивали. — Наверное, она тоже бы не могла. Она тебя очень любит. Ой, знаешь, так смешно — она у меня на плече ревет, я у нее. Никогда бы не поверила...

— Что... нездоровится?..

— Нет, нет, ничего опасного. Не волнуйся.

Я помолчал. Полежал бессильной грудой, как бы собираясь с силами, потом: хлоп!

— Крууса вызвать. Беня оседлан, как Кисленко. Обследовать.

— Не понимаю, Саша.

— Крууса... вызвать. Из Петербурга. Ему объясню.

— Крууса?

— Да. Вольдемар Круус. Сорокину... скажи.

— Хорошо, Саша.

— Срочно.

— Хорошо.

— Рамиль... цел?

— Да, Сашенька. Рвет на себе волосы, аллахом клянется через каждые пять слов, что ты ему родней отца. Помоему, половина всех садов и огородов Крыма теперь работают на тебя одного. А тебе и есть-то еще толком нельзя, беденький. Ничего, покамест мы со Станиславой подъездать станем. Женщинам витамины тоже нужны.

Маменька, сними с меня камень.

5

Это был тягостный и странный спектакль. Со стороны могло показаться, Лизе на помощь приехала ее сестра. Лиза, нащупывая линию поведения, резвилась изо

всех силенок, стараясь то ли снимать постоянно возникающую натянутость, то ли хоть как-то себя порадовать; а может, и меня повеселить, понимая, возможно, что и мне, любимому подонку, тоже не сладко забинтованной колодой лежать между ними. Помню, когда Стася в первый раз пришла сменить ее, и они, обе осунувшиеся, с одинаково покрасневшими и припухшими глазами, вновь оказались, едва локтями не соприкасаясь, у моего одра, Лиза вдруг озорно улыбнулась, козырнула двумя пальцами, по-польски — уж не знаю, в угоду или в пику Стасе; да она и сама, конечно, этого не знала — и лихо отрапортовала: «Группа спецназначения в сборе, господин полковник! Какие будут распоряжения?» Я не сразу нашелся что ответить; долго скрипел одурманенным обезболивающими снадобьями мозгом, потом просипел, стараясь попасть ей в тон: «Чистить оружие до блеска. Встану — проверю». Стася вежливо и холодно улыбнулась; но, господи, как же смеялась Лиза этой тупой казарменной сальности! Помню, на второй или на третий, что ли, день ко мне попробовал прорваться Куракин, кажется, в компании с Рамилем — Лиза выпихивала их: «Нельзя! Доступ к телу открыт только женщинам!» — и с истерической веселостью, моляще оглядывалась на меня через плечо. Помню, в момент одной из перевязок они оказались в палате вместе — Лиза уже пришла, Стася еще не ушла; так они даже медсестру практически аннулировали и с какой-то запредельной бережностью сами вертели мой хладный труп в четыре руки. «Стася, помогите, пожалуйста... ага, вот так. Вам не тяжело?» «Что вы, Елизавета Николаевна. Мне в жизни приходилось поднимать куда большие тяжести», — отвечала Стася и точными, безукоризненно быстрыми движениями и раз, и два, и три пропихивала

подо мною раскручиваемый бинтовой ком. А когда я, скрипнув зубами от бессилия, едва слышно рявкнул: «Что вы, в самом деле!.. Персонал же есть!» — Лиза удивленно уставилась мне в глаза и сказала: «Бог с тобой, Сашенька, нам же приятно. Правда ведь, Стася?» «Правда, — ответила та. — Ты, Саша, может быть, не знаешь, — добавила Лиза, разглаживая бинт ладонью, чтобы не было ни малейшей складочки, которая могла бы давить, — но женам хочется быть нужными своему мужу постоянно. Ведь правда?» «Что правда, то правда, Елизавета Николаевна».

Стася, напротив, держалась со мною с безличной, снимающей всякий намек на душевную или любую иную близость корректностью отлично вышколенной сестры милосердия. Когда Лиза уходила, мы с нею почти не разговаривали, ограничиваясь самыми необходимыми репликами; собственно, мы и с Лизой почти не разговаривали, мне каждое слово давалось с трудом, через дикую боль, лепестковая пуля раскромсала мне и легкое, и трахею, но Лиза щебетала за двоих, подробнейшим образом рассказывая и о погоде, и о новостях, и о том, что сообщил Круус, и о том, что прислали Рахчиевы и как они ждут нас в Отузах, и о том, что сказала по телефону Поля, и о том, что сказал в последней речи председатель Думы Сергуненков и как была одета государыня во время вчерашнего приема, транслировавшегося по всем программам; а Стася молчала, лишь выполняла просьбы и односложно отвечала на вопросы, не отрываясь от какой-нибудь книги или рукописи, — и стоило нам остаться вдвоем, в палате вспучивалось дикое, напряженное отчуждение, которое Лиза, приходя, отчаянно старалась снять. Я скоро и просить перестал, и спрашивать, и пы-

таться хоть как-то завязать разговор; даже если действительно что-то нужно было, ждал Лизу или медсестру. Стасю эти молчания, похоже, совсем не волновали — шелестела себе страницами, усевшись в углу так, что я ее даже видеть не мог. Тогда я совсем переставал понимать, зачем она приехала. Разве только дать Лизе знать о своем существовании. Конечно, думал я, с закрытыми глазами слушая частый шелест — читала она очень быстро, — она, «поднимавшая в жизни своей куда большие тяжести», наверняка не раз бывала в каких-то сходных ситуациях и, в отличие от меня, и подавно от Лизы, возможно, чувствовала себя как рыба в воде. Не обидела бы она как-нибудь мою девочку, подумал я однажды — и тут же мне стало стыдно невыносимо. Я хотел было позвать ее и, когда подойдет, сказать что-нибудь хорошее — до ее угла со сколько-нибудь длинной фразой мне было просто не докричаться, — но как раз в этот миг она хмыкнула презрительно и пробормотала явно не для меня: «Это же надо так писать... вот урод». И я смолчал.

Зато она снимала боль. Каким-то шестым чувством угадывая, когда мне становилось совсем уже невмоготу, откладывала чтение, подходила молча, присаживалась на краешек и начинала ворожить. Энергично дыша, вздымала тонкие сильные руки, словно жрица, зовущая с небес огонь, потом швыряла наполненные им ладони к моей развороченной груди и то слегка прикасалась к бинтам, то делала над ними сложные пассы... Не знаю уж, помогало это заживлению, нет ли, — но в такие минуты мне начинало казаться, что она относится ко мне по-прежнему, что приехала оттого лишь, что не могла быть вдали, и вообще — все уладится как-нибудь, ведь если люди любят друг друга, не может все не уладиться... Возмож-

но, в этом и был весь смысл колдовства? Боль от таких мыслей теряла победный напор; сникала, съеживалась, как степной пожар под благодатным дождем.

С Лизой она держалась с подчеркнутой вежливостью и вообще всячески демонстрировала свое подчиненное, второстепенное по отношению к ней положение. Лиза в своих попытках установить столь необходимую для нормальной регенерации атмосферу непринужденного домашнего товарищества — представляю, чего ей это стоило! — сразу стала звать Стасю по имени; та дня три цеплялась за отчество. «Стася». — «Елизавета Николаевна». — «Стася». — «Елизавета Николаевна»... Потом все же сдалась, уж слишком эта нелепость резала слух, наверное, даже ей самой. Но стратегически ничего не изменилось; уверен, дай ей такую возможность язык, Стася беседовала бы с Лизой в дальневосточных традициях, где, например, согласно одной из знаменитой тысячи китайских церемоний, наложница, вне зависимости от реального соотношения возрастов, обращается к главной жене с использованием обозначающего «старшую сестру» термина родства; ну а сама соответственно именуется «младшей сестренкой». «Не хочет ли госпожа старшая сестра попить немного чаю? Младшая сестренка будет рада ей услужить...» По-русски, если уж совсем не выпендриваться, так не скажешь, но Стася и из русского выжимала немало, и Лиза, с ее простодушным старанием учредить дружелюбие, ничего не могла поделать. Железная женщина Станислава. Оставшись вдвоем, я бы, конечно, попробовал ей что-то растолковать — если бы мог быть уверен, что это у нее просто от неловкости, от нелепости положения, от уважения к пятнадцати годам, что мы прожили с Лизой, от непонимания, что мне, дыря-

вому воздушному шарик, физически больно слушать и, если бы я мог издавать звуки громче шипения, я бы криком кричал, когда она старательно, последовательно унижается, то и дело и Лизу приводя в недоумение, а то и вгоняя в краску; но в последнее время Стася так вела себя со мною, что я не мог исключить нарочитого стремления уязвить меня, показав, как, держа ее в любовницах, я жесток.

И что она этого больше не допустит.

Именно она завела обычай совместных чаепитий. На третий, кажется, день — да, именно тогда она перешла с Елизаветы Николаевны на Лизу — она явилась с полным термосом, двумя складными пластмассовыми стаканчиками и какой-то скромной, но аппетитной снедью собственного приготовления. С тех пор так и пошло. Прежде чем сменить одна другую в этом адском почетном карауле, они усаживались в дальнем углу, вне пределов видимости, лопали Рамилевы абрикосы, похрустывали какой-нибудь невинной вкуснятиной и прихлебывали чаек. Я пытался прислушиваться, но они беседовали полупшепотом о чем-то своем, о девичьем, и постепенно даже стали время от времени посмеиваться в два голоса. Наверное, мне кости мыли. А может, и нет — что на мне свет клином сошелся? Иногда мне даже становилось одиноко и обидно — казалось, я им уже не нужен; так, священный долг и почетная обязанность.

На шестой день, когда они отчаевничали и Стасе надо было уходить, она поднялась, но пошла не к двери, а неторопливо поцокала ко мне. Остановилась, глядя мне в лицо. Так, как она, наверное, всегда хотела — сверху. А я — ей, снизу вверх.

— Я говорила сейчас с лечащим. Все у нас хорошо, заживаем стремглав, — произнесла она. — А я как раз и рукописи, что привезла, все причесала. Так что я возвращаюсь в столицу. Здесь я больше не нужна, а там пора очередные рубли зарабатывать.

Это было как гром среди ясного неба. Не только для меня — Лизе, видимо, до этого момента она тоже ничего не говорила.

— Когда? — спросила после паузы Лиза из чайного угла.

— Через два часа вылет.

— Вам помочь с багажом?

— Ну что вы, Лиза, какой у меня багаж. Не волнуйтесь, донесу играючи.

— Не надо этим играть. Лучше возьмите носильщика.

— Благодарю вас. Я так и поступлю.

Она помедлила, нагнулась и поцеловала меня полукрытым ртом. Бережно, чтобы не потревожить окаянной кислородной трубочки, втянула мои губы и несколько секунд вылизывала их там, внутри себя: «хочешь сюда?»; потом отстранилась и подняла дрожащие синеватые веки. Глаза были сухими. А зрачки — огромными. Словно она стояла на костре.

— Пожалуйста, Саша, больше не делай так, — хрипло произнесла она. — Береги себя, я же просила. Если тебе до нас дела нет, хоть о Поле подумай.

Я молчал. Не мог я сейчас раздавленно шипеть — в ответ на такое.

Она открыла висящую на плече сумочку, сосредоточенно порылась в ней и вынула ключи, которые я вернул ей перед отлетом сюда. Мгновение, как бы еще колеблясь — а возможно, стремясь подчеркнуть следующее

движение, — подержала их в неловко согнутой руке, потом решительно, но осторожно, без малейшего стука положила на тумбочку у моего изголовья.

— Вот... Я все боюсь, ты мог неправильно понять. Возвращаю владельцу. Может, пригодятся еще. Понадоблюсь — заходи, всегда рада.

Повернулась и поцокала прочь. Пропала с глаз, и я закрыл глаза. Цокот прервался.

— Это и к вам относится, Елизавета Николаевна. Очень рада была познакомиться. И, ради бога, простите меня. Я не... уже... не просто... Я люблю.

— И вы простите меня, Станислава Соломоновна, — ответил мертвенно-спокойный голос Лизы.

Дверь открылась и закрылась.

Прошло, наверное, минут пять, прежде чем раздались медленные, мягкие, кошачьи Лизины шаги. Она приблизилась, и я почувствовал, как прогнулась кровать, — Лиза села рядом.

— Ты спишь? — шепотом спросила она.

Я открыл глаза. Казалось, она постарела на годы. Но это просто усталость — физическая и нервная. Нам бы на недельку в Отузы — сразу вновь расцвела бы малышка.

Втроем со Стасей. То-то бы все расцвели.

— Вечным сном, — ответил я.

Ее будто хлестнули.

— Не шути так! Никогда не шути так при нас!

Я не ответил. Она помолчала, успокаиваясь.

— Саша... Ты кого больше любишь?

— Государя императора и патриарха коммунистов, — подумав, прошелестел я. — Оба такие разные, и оба совершенно... необходимы для благоденствия державы, — передохнул. — Третьего дня я больше любил государя.

Потому что у него сын погиб. А потом стал больше любить патриарха... потому что его искалечили и теперь... мне его жальче.

Она обшаривала мое лицо взглядом. Как радар, кругами. Один раз, другой...

— Тебе со мной взрывных страстей не хватает, — сказала она. — Я для тебя, наверное, немножко курица.

— Гусеночек, — ответил я.

Она попыталась улыбнуться. Все ее озорное оживление, всю ребячливость, на которых только и держалась наша тройка эту неделю, как ветром сдуло. Я даже думать боялся, что с нею происходило, когда она оставляла нас вдвоем со Стасей и оказывалась в гостиничном номере одна.

— Зато ей свойствен грех гордыни, — сказала она.

— Что правда, то правда, Елизавета Николаевна, — жеманным голосом прошелестел я.

Она опять попыталась улыбнуться — и опять не смогла. И вдруг медленно и мягко, как подрубленная пушистая елочка, уткнулась лицом мне в здоровое плечо. Длинные светлые волосы рассыпались по бинтам.

— Нет, нет, Саша, не говори так. Она хорошая, очень хорошая. Ты даже не знаешь, какая она хорошая.

Ее плечики затряслись.

Хлоп-хлоп-хлоп.

6

Еще спустя неделю улетела к своим абитуриентам и Лиза. К этому времени я сам уже мог есть и ходить в туалет. И руководить.

Куракин растряс Беню до последнего донца. На все восемь дней его пребывания в Симбирске до покушения был выстроен буквально поминутный график. Ничего не получалось, не обнаруживалось никаких зацепок. Что спровоцировало его «откровения» насчет драгоценностей в портфеле и прочего, оставалось таким же загадочным, как и после первого допроса. Ни с какими личностями, в которых хоть с натяжкой можно было заподозрить неких гипнотизеров, он не общался. Не было у него никаких провалов в памяти, ни дурнотных потерь сознания — ничего.

Круус доложил, что все попытки нащупать и разблокировать какие-либо насильственно закрытые области памяти или подсознания Цына провалились. Нечего оказалось разблокировать, Беня был един и неделим.

И в то же время его обмолвка насчет юного увлечения коммунизмом никак не подтверждалась. Опрашивали людей, с которыми он общался на заре дней своих, опрашивали его ранних поделщиков, опрашивали коммунистов звезд, в которые он мог в те годы обращаться с просьбой о послушании, — никаких следов. И, однако, Беня твердо стоял на своем. Но ничего не мог указать конкретно. Не просто не хотел, а явно не мог; Куракин, рассвирепев, уж и на детекторе его гонял. Во Владивостоке? Да, во Владивостоке. А может быть, в Сыктывкаре? Или в Ханты-Мансийске? Да. Может быть. В молодости, давно. Не помню.

Возникли у него откуда-то и иные, в прошлом никак не проявившиеся странности. Например, он всерьез был убежден, что мог бы царствовать правильнее государя, руководить страной лучше, чем Дума или кабинет. «Да что ж они делают, козлы, хлюпики, — говорил он в сердцах, заявляясь на допрос со свежей газетой в руках. — Я

бы...» И с уверенным, очень солидным видом плел ахиною; причем зачастую назавтра не помнил, что плел вчера, и плел что-нибудь совершенно противоположное. Но что в лоб, что по лбу. Так, как он предлагал, можно было разве что какой-нибудь мелкой бандой править, а не великой державой. Всех со всеми сравить; тех, без кого не обойтись, купить, остальных запугать тем, что никогда не станет их покупать; обещать одно, а давать другое и совершенно не тем... Даже банда бы такого долго не выдержала. Прежде за ним такой политизированности никогда не водилось.

Несколько экспертов показали, однако, его полную вменяемость. Похоже было, что в сознании его разом возникло несколько навязчивых идей и все они органичным образом вписывались в его изначальный менталитет.

Потом прилетел Папазян и приволок просто дикие вороха статистики. Я разбирал их несколько дней. Проступила интересная и тоже весьма непонятная картина. На что-то она явно указывала, просто-таки явно — но на что?

Гипотезу о новоиспеченном вирусе-мутанте пришлось оставить сразу — если не предполагать, спасая ее насильственно, что он не новоиспечен, а живем мы с ним довольно долго. Но это казалось весьма маловероятным — все-таки его бы заметили; если церебральная патология носит выраженный характер, какие-то вскрытия ее обязательно покажут.

Криминальные акты, по существенным параметрам сходные с двумя достоверно зафиксированными образцами — Кисленко и Цына, происходили издавна и весьма редко; как правило, они либо оставались нераскрытыми, либо преступник признавался невменяемым, либо осво-

бождался за недостаточностью улик, либо действительно вскорости после совершения акта при невыясненных обстоятельствах погибал, умирал или исчезал, обрывая таким образом все нити. Но разброс преступлений такого рода не был равномерным; они явно тяготели к тем или иным пространственно-временным узлам — то они почти сходили на нет, то в каком-то регионе на какой-то срок, от нескольких недель до нескольких лет, вдруг необъяснимым образом учащались, не имея между собой никакой доступной для наблюдения связи, то приобретали на довольно длительные сроки характер обширной эпидемии или даже пандемии. Это было чертовски любопытно.

Ближайшая к нам по времени пандемия, к счастью, отстояла от нас уже более чем на полвека, ее можно было приблизительно датировать первой половиной сороковых годов, но за истекшие пятьдесят лет мощные, до шести-семи десятков случаев в год, эпидемии вспыхивали то в одной, то в другой стране; медленнее всего пандемия затихала в России, практически завершившись лишь лет через восемь после того, как она отбушевала, скажем, в Европе. Настораживало то, что после уместившихся в эти полста лет периодических и довольно локальных вспышек в Африке, Индокитае, Центральной Азии, Китае, Центральной Америке эта нелепая эпидемия в последние годы снова начала проявлять себя в нашей стране, захватывая подчас на целые месяцы сразу по несколько губерний; ситуация по интенсивности, конечно, не шла ни в какое сравнение с сороковыми, но значительно превышала показатели, скажем, шестидесятых — семидесятых годов. Не нравилось мне это.

Глубже в пыль десятилетий идти было труднее. Точная и всеобъемлющая статистика в ту пору отсутствова-

ла, и оставалось только преклоняться перед неведомыми мне, незаметными и кропотливыми работниками статбюро МВД, в свое время из года в год переносившими в память центрального банка данных все архивные дела страны и, насколько хватало возможностей, всего мира. Даже непонятно было, зачем они это делают, — просто для порядка. А вот оказалось — специально для меня работали.

И там, в этой пыли, обнаружились факты прямо-таки зловещие.

Пандемия в России началась явно раньше, чем в большинстве иных районов мира; выходило так, что, наряду с Германией и отчасти приморскими провинциями Китая, моя страна оказалась одним из трех мощных очагов, рассадников этого загадочного «заболевания», захлестнувшего затем весь цивилизованный мир. Во всех трех очагах крутой рост начался примерно одновременно, с начала тридцатых годов. Но эти же страны — а что особенно обескураживало, именно Россия в первую очередь — прочно держали пальму первенства и на протяжении двадцатых годов, пока наконец во второй половине десятых явление вновь не приняло пандемического или, вернее, квазипандемического характера, буквально шквалом пройдя по Евразии с запада на восток.

Затем — в порядке, обратном хронологическому, — эпидемия успокоилась. Отдельные, и не очень значительные, вспышки то в той, то в другой провинции Китая; то в той, то в другой губернии России; то в той, то в другой европейской стране. Вспышка в Мексике. Африка и Южная Америка в это время полностью стали белыми пятнами — учета там, в сущности, тогда не было; но и не они меня интересовали. Для меня уже беспор-

ным было существование трех узлов, правда, покамест неизвестно чего: восточноазиатского, среднерусского и центральноевропейского. То среднерусский, то центральноевропейский узел давали метастазы на Балканы. Потом стал чахнуть восточноазиатский узел. Сошел на нет; возможно, правда, что это учет тамошний сошел на нет. Потом, в девяностых годах прошлого века, начали увядать оба европейских узла; показатели устойчиво держались ниже, чем показатели самых спокойных для двадцатого века семидесятых годов. Наконец, в семидесятом — семьдесят первом годах прошлого века — резкая вспышка в центральной Европе, как будто Франция и Пруссия потерлись друг о друга кремнями границ, выбросив сноп искр...

И все.

Как ножом отрезало.

Все отслеженные мною по разработкам группы Папаяна пульсации для девятнадцатого века можно было бы, наверное, назвать притянутыми за уши — недостатки тогдашней статистики и пробелы в переводе ее данных в центральный банк делали материал малорепрезентативным. Но, шел ли процесс так или несколько иначе, один факт для меня был практически неоспорим: явление это, что бы оно ни представляло собою, стартовало в истории земной цивилизации не раньше 1869-го и не позднее 1870 года.

Действительно, напрашивалась мысль о вирусе. Если бы хоть раз за почти сто тридцать лет биология и медицина заикнулись об инфекционных сумасшествиях! Если бы хоть что-то указывало на контакты между одним преступником-заболевшим и другим!

Ничего этого не было.

Скорее, скорее выходить отсюда. Криминалистическое расследование неудержимо превращалось в научное изыскание, и противиться этому было бессмысленно.

К концу июля я уже старался как можно больше ходить — сначала по отделению, потом по коридорам всей центральной больницы Симбирска, а в хорошую погоду выбирался и на вольный воздух, в небольшой, но уютный сквер позади больницы. Скоро я уже многих больных узнавал в лицо, мы раскланивались, коротко, но приветливо беседовали о погоде и о лечении; посиживали на лавочках под шелестящими тополями, то разговаривая, то молча, с улыбками прислушиваясь к доносящимся из детского отделения пронзительным визгам, беззаботному смеху, выкрикам выздоравливающей ребятни. «На Марс полетим после обеда, а сейчас давай в индейцев!» — «Да ну их на фиг, там друг в дружку стрелять надо!» От приглашений принять участие в турнирах по домино и шахматам я вежливо отказывался, предпочитая устроиться где-нибудь в относительном одиночестве, на солнышке, и читать и перечитывать Лизины и Полины письма. Письма были как письма — уютные и спокойные, как домашнее чаепитие; Лиза ни единым словом не напоминала мне о том, что здесь происходило шесть недель назад. Только однажды у нее вырвалось — безо всякой аффектации сообщая мне, как соскучилась, и спрашивая, не хочу ли я, чтобы она приехала к моей выписке и в Петербург, скажем, мы летели бы уже вместе, она написала вдруг: «И вообще, тебя тут все очень ждут и очень без тебя тоскуют». Можно было многое прочесть между строк этой фразы.

Стася не писала мне ни разу.

* * *

Именно в сквере я встретил наконец его. В этом не было ничего удивительного — больница была лучшей в губернии и, конечно, мы оба попали именно в нее. Странно было, наоборот, что мы так долго не встречались. В инвалидном кресле он неторопливо катил мне навстречу, подставляя бледное лицо лучам клонящегося к скорой осени солнца. На полных щеках лежали тени от сильных, с толстой оправой очков. Одна из пуль повредила ему позвоночник; я знал, что скорее всего он никогда уже не сможет ходить.

В сущности, ничего особенного не было в нем, куда ему до импозантного Бени! — просто очень ранимый, добрый и совестливый человек. Работяга, хлебороб, так и не избавившийся от мягкого ставропольского выговора, в плоть и кровь вошедшего к нему там, в южнорусской душистой степи. В молодости он пробовал было заняться практической политикой, чуть не решился баллотироваться в Думу — и слава богу, что не решился, это был не его путь. Он действительно, как выразился Цын, слишком хотел всех со всеми примирить и старательно, доходя иногда до смешного, отыскивал объединяющие интересы, которые могли бы превысить интересы разъединяющие, всегда призывал к естественным, но с трудом пробивающимся в разгоряченные головы уступкам и тех, и других, и третьих, всегда мягко апеллировал к голосу разума, к спокойному здравому смыслу — в Думе такое не проходит, там далеко не все коммунисты. Но уважение и любовь он снискал куда большие, чем, скажем, председатель Думы Сергуненков, и даже члены других конфессий прислушивались к его словам и просили быть арбитром в спорах. Что делать, на Руси мечтатели

всегда в большей чести, нежели люди дела. Дело — что-то низменно конкретное, уязвимое для критики, имеющее недостатки; а мечта — идеальна, в ней бессмысленно выискивать слабые места. Тот, кто делает это, выставляет себя на посмешище; а тот, кто ухитряется хоть на год заразить своей мечтой многих, остается в истории навсегда.

— Здравствуйте, товарищ патриарх.

Он остановил кресло. Поднял мягкое лицо, посмотрел на меня снизу. Как я — на Стасю в последний раз. Тронув щепотью дужку, поправил очки.

— Здравствуйте...

— Я полковник Трубецкой, Александр Львович.

— А, как же, как же! Мне говорили уже здесь о вашей миссии. Вы ведь коммунист, не так ли?

— Истинно так.

Он протянул мне руку.

— Здравствуйте, товарищ Трубецкой. — Мы обменялись рукопожатием. — Я могу быть чем-нибудь полезен?

— Да. Более чем. Я хотел бы побеседовать с вами.

— Присядем. — Он огляделся по сторонам в поисках скамейки для меня и проворно покатил свое кресло к ближайшей. Я следовал за ним — слева и на полшага сзади.

Расположились. Я удовлетворенно отметил, как поодаль от нас остановились, оживленно о чем-то беседуя, двое молодых дюжих больных. Это были ребята Усольцева, которых он сразу подложил в больницу присматривать, не угрожает ли здесь что-либо патриарху или мне и не следят ли за нами.

— Я — коммунист, и интересы нашей конфессии ставлю очень высоко, — начал я, волнуясь. — Но я также

русский офицер, и интересы Отечества для меня — не пустой звук. Моя здешняя миссия, связанная с расследованием покушения на вас, лишь один из моментов следствия, которое я веду по именному повелению государя. Я расследую катастрофу гравилета «Цесаревич».

Он поправил очки.

— Здесь есть что-то общее? — немного отрывисто спросил он. Явно для него мои слова были неожиданными.

— Ничего — или все. Это мне и предстоит выяснить. Я хочу просить у вас совета и с этой целью беру на себя смелость познакомить вас, если вы не возражаете, с основными результатами той работы, которую я успел сделать. Хочу только предупредить, что разговор является строго конфиденциальным. Следствие еще далеко не закончено.

— Понимаю и вполне сознаю меру своей ответственности. Слушаю вас.

Я ввел его в курс фактической стороны событий, сделав упор на странной статистике, которую собрала группа «Буки». Когда я закончил, патриарх долго молчал, шурясь в небо.

— Все это очень странно, — произнес он после серьезного раздумья. — Углубить статистические изыскания на первую половину девятнадцатого века вам не приходило в голову? Или это просто невозможно сделать вследствие скудости материала?

— Скорее второе, нежели первое. Папазян отработал, насколько это возможно, насквозь все шестидесятые годы. Ни одного случая. Если такой результат обусловлен дефектами статистики, то опускаться еще ниже по временной оси бессмысленно, слишком случайным и неполным будет подбор дел. Если же этот результат обус-

ловлен, а я склоняюсь к этому мнению, какими-то иными причинами, то такой спуск еще более бессмыслен.

— Что же вы думаете по этому поводу, товарищ Трубецкой?

— Единственное; что мне приходит в голову, выглядит чистой воды фантастикой, — признался я. — Но остальные версии, вроде того, что имеет место невыявленный возбудитель инфекционной агрессивной шизофрении, еще более фантастичны и к тому же, в отличие от моей, не объясняют всех фактов.

Он поправил очки. Смешно ерзнул в кресле вправо-влево, будто ему неудобно было сидеть.

— Продолжайте, прошу вас.

— Шестидесятые годы прошлого века были временем расцвета террористических течений протокоммунизма. Предположим, в ту пору возникла тайная секта подобного рода. Предположим также, что волею судеб она получила в свое распоряжение до сих пор не известный позитивной науке способ манипулирования человеческим сознанием. Ну, скажем, — я говорю для примера, стремясь лишь показать, что возможны очень странные варианты, — вычитав его из каких-то древних восточных текстов. Древние на Востоке были горазды на провоцирование измененных состояний сознания, а среди радикалов подчас встречались весьма образованные люди... Предположим, что секта эта, стараясь сохранить своих немногочисленных адептов в тени, начала осуществлять свои акции чужими руками, руками «пешек». Предположим также, что, как и следовало ожидать, она быстро выродилась в бандитскую группу, возможно, до сих пор описывающую свою деятельность в терминах борьбы за справедливость. Возможно, выродившись, она действует

вполне хаотично, а возможно, и по плану, сути которого мы пока не понимаем.

— Но чем им помешал я? Ведь я тоже коммунист... — Он улыбнулся. Я прикусил губу. Похоже, он не верил.

— Для них — нет. Вместо того чтобы, так сказать, бороться за свержение самодержавия, вы боретесь, и не без успеха, за утверждение человечности. То есть на свой лад делаете то, что делают и делали всегда лучшие люди из христианской, мусульманской да и любой другой конфессии. Вместо того чтобы свергнуть несправедливый строй, вы делаете его все более и более несправедливым. Это же полное предательство интересов простого народа!

— Из вас, товарищ Трубецкой, получился бы прекрасный пропагандист этой секты.

Он не верил.

— Я занимаюсь вопросом уже давно и вжился в образ.

— Но ведь, насколько я вас понял, в меня стреляли вовсе не за это.

— Но ведь, насколько я старался вам объяснить, товарищ патриарх, в вас стреляла «пешка». Психика Бени Цына, при всей его медицински доказанной вменяемости, носит явные следы тщательно сбалансированного, мощного и интегрального воздействия. Именно новые мании, чрезвычайно удачно и эффективно наложившись на старые преступные наклонности, подвигли его на это нелепое преступление. Мотивов истинного преступника мы не знаем. Я говорил об этом довольно подробно.

Он успокаивающе положил руку мне на колено.

— Не раздражайтесь, товарищ Трубецкой, прошу вас. Давайте определимся. Вы меня пока не убедили. Все это выглядит очень невероятно — во всяком случае, вот так сразу. А кроме того... — Он ерзнул вправо-влево. Вздох-

нул. — Кроме того, если нечто подобное действительно обнаружится, боюсь, это может существенно повредить авторитету нашего учения. Вы с кем-нибудь делились вашими соображениями?

— Предварительно — с министром безопасности России и его товарищем. Больше, разумеется, ни с кем.

Патриарх снова вздохнул.

— Это исключительно порядочные и доброжелательные люди, — поспешил добавить я.

— Будем надеяться, что слухи об этом не просочатся... раньше времени.

— Уверен, что не просочатся.

Он помолчал.

— Я не могу сейчас с ходу придумать своей версии, но ваша представляется мне маловероятной. Не обессудьте. Однако я готов помочь вам чем могу.

— Тогда я задам вам несколько вопросов.

— Задавайте.

Я открыл было рот, но заметил, что по дорожке к нам степенно приближается парочка пожилых женщин в больничных халатах. Донеслось: «Нет, нет, петрушку к мясу надобно подавать непременно. Это же вкусно и освежает как! И мужчинам пользительно. Мой-то, помню...» Они удалились, и я не разобрал окончания фразы, но обе вдруг громко, безмятежно засмеялись. Чем-то это напоминало Лизу и Стасю в чайном уголке.

Патриарх, с веселой симпатией щурясь, проводил их взглядом.

— Вы, как глава коммунистов России, а фактически и всего мира, слышали хоть что-нибудь о существовании или хотя бы возникновении в прошлом подобной секты?

— Нет.

— Хотя бы слухи... намеки, предания?

— Нет.

— В патриаршестве есть люди, которые занимались бы историей ранних сект?

— Нет.

В сердцах я ударил себя кулаком по колену. Бок отозвался на резкое движение медленно гаснущим сполохом тупой боли.

— На рубеже шестьдесят девятого — семидесятого годов в Европе произошло нечто, положившее начало этому дьявольскому процессу. Как мне узнать?

Он поправил очки.

— Ваша убежденность заражает... но вы немного ошиблись адресом. Мы — практики и смотрим в будущее. Для меня коммунизм вообще начался с Ленина... Но, кажется, я могу вам помочь. Вы когда выписываетесь?

— Через неделю-полторы.

— Мы с вами обязательно встретимся еще раз. Я сделаю несколько звонков, а потом дам вам знать о результате. Попробую вывести вас, товарищ, на одного старого своего друга. Его зовут Эрик Дирксхорн, он швед и работает в Стокгольме. Есть такое учреждение — центральный архив Социнтерна. Нужные вам материалы, если они вообще существуют, могут быть только там.

Я слушал, не веря удаче. Он снял очки и принялся протирать их носовым платком; от этого уютного жеста стало тепло на душе.

— С его помощью вы не запутаетесь, и для вас не будет ненаходимых документов. Есть фонды, с которыми тамошние работники предпочитают не знакомить случайных людей, — я надеюсь, благодаря Дирксхорну вы не попадете в эту категорию. Но, товарищ Трубецкой, еще раз... призы-

ваю вас. Будьте осторожны с той информацией, которую, возможно, обнаружите. Бude выяснится, что люди, именующие себя коммунистами... ведут себя столь неподобающе, — мягко сказал он об убийцах, — это может вызвать в мире очень сильный резонанс, и он никому не пойдет на пользу, кроме самих же этих радикалов. — Он надел очки и вдруг беззащитно улыбнулся. — Если бы я был политиком, я, вероятно, счел бы своим долгом перед приверженцами любыми средствами мешать вам.

— Если бы вы были близоруким и неумным политиком, вы бы так и поступили, — ответил я.

Он даже крякнул.

— Вы считаете, что я сейчас делаю ловкий политический ход? — Бессспорно. А уж от души или от ума — другой вопрос. — Мне и в голову это не приходило. Я просто хочу помочь вам... Если сочтете возможным, держите меня в курсе дела, хорошо?

— Разумеется, товарищ патриарх, — сказал я и поднялся со скамейки, понимая, что разговор окончен пока.

— Будет ужасно, если вы окажетесь правы, — произнес он грустно.

— Я намерен действовать с максимальной осмотрительностью и конфессию под удар не поставлю, — заверил я. Помолчал. — Со своей стороны, у меня тоже будет просьба об осторожности.

— А в чем дело?

— Пусть о моей миссии знает как можно меньше людей. Вы, ваш Эрик, коль скоро вы ему так безраздельно доверяете, и все. И по телефону говорите обиняками. Ведь если я на верном пути и они об этом узнают, они, в отличие от вас, действительно будут мешать любыми средствами. Меня мгновенно уничтожат.

Он взглянул буквально с ужасом.

— И самое отвратительное, что почти наверняка это будет сделано руками человека, с которым мне и в голову не придет держаться настороже и который затем сам погибнет, как Кисленко, мучительной смертью. Руками друга, или... жены, или... — Я осекся и, помедлив мгновение, ушел, так и не кончив фразы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И СНОВА ПЕТЕРБУРГ

1

Она словно собралась ко двору. Лицо радостное, предвкушающее; прическа, косметика, серьги, колье; строгое, закрытое темное платье до полу, идеально подчеркивающее мягкую женственность фигуры — сердце у меня упало: ну неужели именно сегодня ей куда-то нужно идти? Не говоря ни слова, я обнял ее и сразу на ошупь понял, что никуда ей не нужно — под платьем у нее ничего не было. Это она меня так встречала.

— Наконец-то, Сашенька, — вжимаясь лицом мне в плечо, сказала она. — Как долго... А почему ты не захотел, чтобы я приехала?

— Конспирация, — серьезно ответил я.

Она чуть отстранилась, встревоженно заглядывая мне в лицо.

— Шутишь.

— Нисколько. Меня даже из больницы не выписали, а по всем документам перевели для долечивания в санаторий в Архызе. Это Северный Кавказ, уединенное место. И, судя по отчетности симбирских авиакасс, я туда улетел. Пусть там поищут, если хотят.

— Кто?

— Бармалеи.

— Так ты что, дома будешь сидеть, не выходя? — Она не сумела скрыть радости.

Я плотнее прижал ее к себе. Бедная... Лучше сразу.

— Завтра вечером выйду один раз — и в Стокгольм.

Эти слова задули ее, как свечку.

— Надолго? — спросила она, помолчав.

— Надолго.

Несколько секунд мы еще стояли обнявшись, но она уже была как мертвая.

— Ужин на столе, Саша, — сказала она потом и мягко высвободилась.

— Чудесно. Я только в душ быстренько.

Везде душ хуже, чем дома. То кран реагирует нечутко, то напор воды слабый, то свет тусклый, то неудобно мыло класть... Как я соскучился по дому, кто бы знал! Почти целое лето провести в чужом городе, в больнице... смотреть на листья за окном, то трепещущие на ветру, то истомно замирающие в теплом безветрии, то прыгающие вверх-вниз или обвисающие под тяжестью дождя, — и думать: они скоро опадут, а я тут лежу... Смотреть, как медленно ползет по кафельному неживому полу золотой прямоугольник солнечного света, и думать: скоро солнце будет едва вылезать из-за горизонта, а я тут лежу...

Смотреть на свое серое лицо во время бритья и думать: скоро сорок, а я тут лежу.

Очень горячий душ, потом — очень холодный душ. Как всегда, я с удовольствием ухнул, когда разгоряченную кожу вдруг окатила ставшая почти ледяной струя. Я лишь относительно недавно открыл для себя это удовольствие, а раньше вдобавок, когда вылезал из ванной, неудобно было причесываться: зеркало всегда оказывалось запотевшим, приходилось сначала протирать его, и все равно стекло оставалось в неряшливых мокрых разводах. Теперь, помимо удовольствия и пользы для организма, я получал еще и пригодное к употреблению зеркало, успевающее проясниться, пока я вертелся в холодном бурлении.

Маленькие домашние радости. Без них ничего не мило и ничего не нужно.

Я закрыл воду, потянулся к своему полотенцу: жесткому, долгожданному, пахнущему лавандой, все еще пропитанному, казалось, блеском крымского солнца — Лиза всегда подстилала его, загорая; и вдруг сзади мягко накатил прохладный воздух, словно открылась дверь. Я обернулся; она действительно открылась. Лиза, выглядевшая в своем церемониальном убранстве среди интимного керамического сверкания очень нелепо и потому как-то особенно преданно, стояла, прислонившись плечом к косяку, прижав кулачок к губам, и со страхом и состраданием глядела на мой развороченный бок.

— Болит? — поймав мой взгляд, тихонько спросила она.

— Что ты, родненькая. Давно уже не болит. Только чешется.

Ванна длинным тянущим хлебком всосала остатки воды.

— Тебе халат? — спросила Лиза.

— Нет.

— А хочешь — вообще не одевайся. Буду тобой любоваться наконец. Ты такой... античный.

Я засмеялся сквозь ком в горле. Она даже не улыбнулась в ответ. Она теперь смотрела ниже, и мне казалось, я знаю, о чем она думает. О том, что вот я, оказывается, бывал внутри то у нее, то не у нее.

— Нет уж, — сказал я. — Хочу тебе соответствовать.

— Только галстук не надевай, пожалуйста, — попросила она и взглянула мне в глаза. И чуть улыбнулась, в первый раз после того, как я сказал про Стокгольм. — Давай попросту, без чинов.

— А сама-то? — возмутился я.

Она помолчала и вдруг покраснела. Снова улыбнулась:

— Это снимается одним движением.

В том же самом белоснежном костюме миллионщика на собственной яхте я вошел в столовую. Стол ломился; казалось, сюда каким-то чудом перекочевало все, что я нахватал для Стаси перед Симбирском. Плюс громадный букет роз посреди. Плюс две бутылки голицынского шампанского, мерзнущие в ведерках по краям.

— Так у нас сегодня что — праздник? — спросил я.

— Еще бы не праздник. Повелитель домой заглянул на часок.

— А где же Поля?

— В имении, у твоих.

Сердце у меня опять упало; я подумал, что она специально, в предвидении домашних разборок, удалила дочь. Потом сообразил, что Поля в августе всегда гостит в деревне, и мимолетно позавидовал ей. Раздольные подмосковные равнины с таинственно клубящимися по го-

ризонтам лесами; сад, обвисающие от румяных плодов ветви яблонь; запахи сена и луга. Покой. В детстве я сам все летние месяцы проводил там.

Хлоп-хлоп-хлоп.

— Ну что же, Лизка, — сказал я. — Предадимся греху чревоугодия?

— Народ грешить готов! — отрапортовала она и непроизвольно, сама, видимо, не заметив, что сделала, козырнула двумя пальцами, по-польски.

2

Я лег, а она не приходила долго. Я думал, она принимает ванну, но когда она вошла наконец, стало ясно, что она просто бродила по дому или просто сидела где-нибудь, в детской например, и думала о своем. О девичьем. Камушки, впрочем, уже сняла и переделалась.

Мне так и не довелось узнать, действительно ли этот ее тугой блестящий черный кокон снимается одним движением.

Она виновато поглядела на меня и погасила свет.

— Зачем? — тихо спросил я.

— Стесняюсь, — так же тихо ответила она из темноты. — Я лягу, и ты, если захочешь, включишь, хорошо?

— Хорошо, маленькая.

Коротко и мягко прошуршал, упав на ковер, халат. Я услышал, как она откинула свое одеяло, почувствовал, как она легла — поодаль от меня, на краешке, напряженная и испуганная, словно и впрямь снова стала девочкой, пока меня не было. По-моему, она даже дрожала.

— Что с тобою? — подождав, спросил я.

Она ответила тихонько:

— Не знаю...

— По-моему, ты совсем замерзла, Лизанька. Давай я тебя немножко отопрею, хочешь?

— Хочу, — пролепетала она. И когда я приподнялся на локте, добавила: — Очень хочу. Отогрей меня, пожалуйста.

Мимоходом я дернул шнурок торшера. Теплое розовое свечение пропитало спальню; я увидел, что Лиза, укрывшись до подбородка, смотрит на меня громадными перепуганными глазами. Я поднырнул под одеяло к ней, и она опустила веки; и я стал согревать ее.

Едва ощутимо, умоляюще оглаживал и оцеловывал плечи, шею, грудь, бедра, трогательный треугольничек светлой шерсти, нежно и едва уловимо пахнувший девшкой, — она ничему не мешала и ни на что не отзывалась. Но вот судорожно сжатый кулачок оттаял, вот она задышала чаще, вот отопрелись и расцвели соски; ожили плотно сомкнутые ноги, она согнула одну в колене и увела в сторону, раскрываясь, — тогда я обнял ее бедра, мягко придвигая их к себе, поднося и наклоняя благоговейно, будто наполненную эликсиром бессмертия чашу, и она облегченно вздохнула, когда я скользнул в ее податливое сердцевинное тепло.

И снова я нежил ее осторожно, поверхностно, едва-едва, продолжая поклевывать шею, плечи и губы детскими поцелуями, — но она уже начала отвечать: с чуть равнодушной, сестринской ласковостью положила мне на спину ладонь, потом поймала мои губы своими, потом немного подвинулась, чтобы мне было удобнее, — а когда она в первый раз застонала и в первый раз ударила бедрами мне навстречу, я сорвался с цепи.

Скомкал ее грудь рукою — вскрикнула, перекатился на нее — снова вскрикнула, радостно распахиваясь настежь; яростно гнул и катал ее, совсем послушную и счастливую оттого, что ей по-прежнему сладко быть послушной, и, кажется, даже рычал: «На меня! Ну на же! Вот, бери!»; а когда я взорвался наконец, с невыносимой силой обняла меня, будто желая впечатать в себя навеки, расплющить свою нежную плоть моею — и с мукой, мольбой и надеждой закричала, словно чайка, догоняющая корабль:

— Мой! Мой! Мой!

Наверное, минуты две я был выброшенной на песок медузой. Потом открыл глаза. По ее щекам катились слезы.

— Лиза...

— Молчи. Просто полежи на мне и помолчи. — Она всхлипнула. — Господи, Саша, как с тобой хорошо...

Некоторое время я не шевелился, но было неловко. Мне казалось, ей тяжело. Я отодвинулся, лишь руку оставив на ней.

Но она, кажется, уже успокаивалась. Глаза просохли. Уже не стесняясь, села; обхватив колени руками, уложила на них подбородок — мне были видны лишь лоб и сверкающие глаза. Она смотрела на меня неотрывно. Наверное, так смотрят на иконы.

— Я люблю тебя, — сказала она. — Я тебя обожаю, я жить без тебя не могу. Я так люблю тебя кормить, тебя смешить, с тобой разговаривать... Так люблю с тобой вместе ходить куда-нибудь, все равно куда. Так люблю... — она запнулась, подыскивая слово, и выбрала самое, наверное, грубое и животное из тех, что могла произнести; наверное, она хотела подчеркнуть, что становится зверушкой и не

стыдится этого, напротив, восхищается, — давать тебе. — И тут глаза у нее вновь стали влажными. — Я просто не знаю, что делать.

Я молчал.

— У нее будет ребенок, Саша.

Я заморгал. Вазомоторика, будь она неладна; беда с нею у всех на свете цынов. Ошеломленно приподнялся на руке, а потом спросил, как дурак:

— От меня?

Секунду она еще смотрела, не меняясь в лице, а потом зашлась от смеха. И плакала, и хохотала, и не сразу смогла произнести:

— Саша... родненький... ну уж это ты спрашивай не у меня!

Я тоже сел. Теперь уже я начал стесняться; забаррикадировался одеялом. Мир вертелся зыбкой каруселью.

— Это она тебе сказала?

— Да.

— Когда?

— Сразу. Когда я догнала ее в первый день.

Я попытался собраться с мыслями. Долго. Но безуспешно.

— Как же ты там терпела...

— Потому что люблю тебя. — Господи, горшок выносила... Она упрямо встряхнула головой. — Потому что люблю тебя.

— Почему же ты мне сразу не сказала?

— Потому что — люблю тебя!

Я провел ладонью по лицу. Словно хотел стереть залепившую глаза паутину. Но не смог.

— Ты нас не оставишь?

— Если вы не прогоните — ни в коем случае.

— А их?

Я помедлил.

— Если они не прогонят...

— Ни в коем случае, — договорила она за меня. — Скажи, а у тебя были еще женщины одновременно со мной?

— Лиза, ты уверена, что хочешь все это знать?

— Да, родной. Может, буду жалеть потом, но раз уж начали — надо... разгребать. У тебя было много женщин после того, как мы поженились.

— Много — это сколько?

— Десять! — храбро сказала она.

— Ну, ты мне льстишь...

— Пять.

— Две. То есть без Станиславы две. С одной мы были очень недолго, восемь лет назад. Она быстро поняла, что я с тобой из-за нее не расстанусь, и ушла. Хотя, по-моему, не хотела, ей было очень больно. И я с ума сходил... знаешь, в основном от чего? От того, что делаю ей больно и не могу не делать. Помнишь, я забился на дачу один и пил там три дня?

— Помню. Когда я позвонила, а ты подошел... еле ворочая языком... я ужасно испугалась, хотела все бросить и ехать туда, но ты не велел... а уж на следующий вечер вернулся. Зелененький такой... Значит, это было из-за нее?

— Да.

— А через две недели мы первый раз поехали в Отузы. И ты был веселый, домашний, заботливый, гордый!

— Еще бы. Там было так хорошо. И я видел, что вам с Полькой хорошо, — и оттого цвел вдвойне.

— А вторая? Кто от кого?..

— Она уехала на трехлетнюю стажировку в Бразилию. Она биолог, занимается экосистемами влажных тропических лесов. Мы переписываемся иногда, но как она теперь ко мне относится — не знаю.

— Ты по ней скучаешь?

— Знаешь, да. Как правило-то некогда, но иногда вдруг будто очнешься и чего-то не хватает.

— А Стася была уже при ней?

— Нет. Разминулись больше чем на год.

— Во мне действительно чего-то недостает?

— Лиза, я тебя очень люблю.

— Я знаю, родненький. Неужели ты думаешь, если бы я этого не чувствовала, я стала бы вести этот разговор? Знаю. Но тут другое. Наверное, так бывает, так может быть — любишь и в то же время постоянно переживаешь какую-то неудовлетворенность, недобор. То ли страстности не хватает, то ли уюта, то ли акцентированной на людях преданности...

— Нет. По-моему, нет.

— Значит, ты просто совсем не можешь, чтобы у тебя была только одна женщина?

— Ну как это не могу!

— Нет, ты не отвечай так с лету. Не тот разговор теперь. Ты сам спроси себя.

Я спросил.

— Теперь уже не знаю, — сказал я.

— А когда эта... тропическая, вернется?

— Весной должна.

— А если, например, она опять к тебе захочет?

Я не ответил. Не знал, что сказать. Никто ни к кому не может прийти дважды.

Она смотрела на меня уже не как на икону. И не как на человека. И даже не как на подлеца. Впрочем, как на

подлеца она на меня никогда не смотрела... не знаю. Так смотреть она могла бы на пришельца из другой галактики, но не на полномочного представителя братской могучей цивилизации, спускающегося по широкому трапу из недр сверкающей фотонной ракеты, а на нелепое, не приспособленное к земным условиям желеобразное существо, которое, мирно и жалобно похрюкивая и попукивая, вдруг выползло бы, скажем, из-за унитаза — явно не агрессивное, но абсолютно неуместное и чужое.

— То есть ты хочешь сказать, что по весне нас у тебя уже может скопиться трое?

Я молчал.

— Саша. Ты прекрасный, добрый, чуткий, страстный, смелый, умный... Ну, все хорошие слова, какие есть, я могу сказать о тебе, правда. Ничего нет удивительного, что время от времени ты увлекаешься какой-нибудь женщиной или какая-нибудь женщина увлекается тобой. Но ведь... Саша... ты ведь не можешь всем им быть мужем!

— Наверное, не могу, — сказал я. — Но попытаюсь.

Она резко отвернулась. Положила голову щекой на колени, затылком ко мне; занавесив бедро, свесился длинный, пушистый хвост распущенных светлых волос.

— Бог в помощь, — сказала она.

Некоторое время мы молчали.

— Лиза, — тихо позвал я.

— Да, любимый, — ответила она, не поворачиваясь ко мне.

От этих слов сердце дернулось пронзительно и сладко; на миг я забыл, что хотел сказать.

— Повтори еще раз, если тебе не неприятно, — попросил я.

Она подняла голову и улыбнулась мне.

— Да, любимый.

— Лиза. Понимаешь... нет у меня сил рушить живое. Я давно почувствовал: если уходит один друг, и остальные становятся чуть дальше. То, что действительно умирает, осыпается само, и бог с ним, хотя и от этого больно, всегда больно от смерти — но... я знаю, это тоже подло, но... рубить по живому нельзя! От этого люди ожесточаются, высыхают... и тот, кто рубит, и тот, кого рубят. Представь: ты была с человеком два года, и вдруг он говорит: уходи. И два года счастья у тебя в памяти превращаются в два года неправды. И жизнь становится короче на четыре года!

— Господи, ну мне-то что делать, Саша? Самой сказать тебе: уходи?

Я задохнулся. Но она уже снова смотрела на меня с нежностью.

— И не надейся. Твой выбор за тебя я делать не буду.

— Но ты понимаешь, я ведь могу выбрать...

— Да знаю я, что ты выберешь! Все! Ах, если бы можно было выучить все языки! Сколько раз ты это говорил! Ну а раз нельзя, можно ни одного не знать. Фразку из одного, фразку из другого... Весь ты в этом! Русский князь...

— Я говорил про языки империи, — даже обиделся я. — Зарубежных я три штуки знаю прилично...

Она не выдержала — засмеялась; потянулась ко мне, взъерошила мне волосы.

— Мальчишка ты, — сказала она. — Как мы Поле-то все это скажем?

— Пока никак, разумеется, — ответил я. — А, например, к совершеннолетию сделаем подарок: что есть у нее братик или сестричка...

— Подарочек, — с сомнением произнесла Лиза. Помолчала. Потом уронила нехотя: — Между прочим, они со Станиславой друг другу понравились.

— Она была здесь?

— Трижды. Я звала — чайку попить, тебя повспоминать...

Я покачал головой.

— Ты настоящая подруга воина. Ну и?..

— Да в том-то и дело! — с досадой сказала Лиза. — И симпатична она мне, и жалко мне ее, и любит она тебя остервенело, а это чувство, как ты понимаешь, я вполне разделяю... Ох, не знаю, что делать. А пустить тебя привольно пастись на лужайке с двумя — а то и с тремя, святые угодники! — с тремя козами... Это же курам на смех!

3

Наша встреча с Ламсдорфом была организована без особых конспиративных вычур. Но она и не разрушала версии о том, что я долечиваюсь где-то. Иван Вольфович, в преддверии моего потайного возвращения, последние недели зачастил к Лизе в гости — как бы проведать супругу получившего, так сказать, производственную травму коллеги. Точно так же он приехал и на этот раз, к десяти утра. Дом мой загодя был сызнова прозвонен противоподслушивающими датчиками; привезли меня вчера с военного аэродрома в наглухо закрытом кузове почтового фургона, который вогнали во внутренний дворик особняка, и я в виде одного из двух грузчиков — вторым был Рамиль — втащил в дом через хозяйственный вход корзину настоящего крымского «кардинала», вполне на-

турально присланную Рахчиевыми, но вдобавок использованного для вящей натурализации легенды; так что, ежели кто и ухитрился заглянуть в ворота из окон, скажем, дома напротив — хотя жильцы там, в сущности, были вне подозрений, — он увидел лишь рыло мощного грузовика, поданного кузовом к самым дверям, да в зазор между дном авто и асфальтом ноги двух грузчиков и полную винограда корзину, тут же пропавших в доме. То, что обратно в кузов села лишь одна пара ног, уверенно разглядеть в вечерней мгле было невозможно даже в инфракрасную оптику. Так что, если неведомые водители «пешек» взяли меня в Симбирске на заметку, угнаться за мною им сейчас будет тяжело.

Мы принимали Ивана Вольфовича в алой гостиной, по-свойски; к тому же окна ее выходили во двор, что было очень ценно в нынешней ситуации. Выспавшиеся, худо-бедно отдохнувшие — а Лиза с моим приездом прямо-таки расцвела, несмотря ни на что, и мне это было черт знает как приятно и лестно, — мы сидели рядышком на диване и были живой иллюстрацией к песенке «голубок и горлица никогда не ссорятся». Ведь мы за пятнадцать лет действительно не ссорились ни разу — об этом я думал еще ночью, перед тем как заснуть. Но была в этом и определенная опасность. Есть пары, которые чуть ли не раз в неделю собираются разводиться, то и дело перекатывают взад-вперед обвинения во всех смертных грехах, орут на два голоса бранные слова — и прекрасно при этом существуют, даже силы черпают в каждодневных перепалках. Будто умываются оплеухами. Правда, дети в таких семьях растут — ой. Для нас с Лизой одна резкая или даже просто неуважительная фраза оказалась бы столь значимым, столь из ряда вон выходящим собы-

тием, так фатально выломилась бы из семейных отношений, что поставила бы между нами стену более высокую, чем смогли бы десять Стась. И, инстинктивно чувствуя это, мы даже голоса никогда не повышали друг на друга.

Я поднялся с дивана, сделал пару шагов навстречу Ламсдорфу, и мы по-братски обнялись. Несколько секунд он молча щекотал мне щеку своими бакенбардами, от избытка чувств легонько похлопывая меня ладонью по спине, потом отстранился.

— Ну-с, рад снова видеть вас в добром здравии! Чертовски рад! Как вы? Совсем хорошо?

— Совсем хорошо, Иван Вольфович, совсем. Вашими и Лизиными молитвами.

— Не только, батенька, не только...

— Да уж ясное дело, что не только, — игриво ввернула Лиза.

Ламсдорф с некоторым удивлением повернулся к ней и разъяснил:

— Государь вот справлялся многожды... Здравствуй-те, Елизавета Николаевна! Простите старика, что не к вам к первой. Уж очень все это время беспокоился за вашего гусара!

Он склонился к ней — она грациозно встала. Поцеловал ей руку.

— Не хотите ли чайку, Иван Вольфович?

— Нет, увольте, Елизавета Николаевна, только что отзавтракал. Да и вас обижать не хочу — корабль отходит вечером, вам, я полагаю, суток одних маловато друг для друга между двумя разлуками, так что уж это время у вас занимать теперь — смертный грех. Я коротенько, по делу.

Мы расселись, а Лиза осталась стоять.

— Ну, раз по делу, тогда удаляюсь, — сказала она и пошла к двери. Открыла ее, обернулась, послала еще одну улыбку Ламсдорфу, потом мне. И плотно затворила дверь за собою.

— Что за супруга у вас, Александр Львович! — произнес Ламсдорф. — Золото!

— Да уж мне ли не знать, — ответил я.

— А как похорошела-то, помолодела с вашим приездом! Вся конспирацию ломает! И ведь не скажешь: выгляди-ка плохо, а то все догадуются!..

— Не скажешь, — подтвердил я.

Он побряхтел.

— Ах, беда-то какая... опять вам ехать. И кроме вас — некому. Вряд ли патриарх допустит чужого человека к социалистическим потемкам.

— Вряд ли, — согласился я. — Его можно понять.

— Что мы и делаем, — покивал Ламсдорф. Потерял бакенбарды. — Значит, первое. За ранение вам положена компенсация — полторы тысячи рубликов переведены на ваш счет в Народном банке...

— Помилуйте, Иван Вольфович, за что столько? На эти деньги я авто могу сменить! Вы уж лучше врачей симбирских премируйте!

— А это мысль. Я поговорю с министром... Второе... — Он достал просторное, как лист лопуха, портмоне и начал, будто фокусник, извлекать из него бумагу за бумагой. — Вот билет на судно. Отплытие в девятнадцать ровно. Мы решили вас морем отправить. И для конспирации лучше, и для здоровья. Два дня погоды не делают, а морская прогулка вам будет чрезвычайно полезна, мы с медиками консультировались...

Я бы лучше эти два дня дома провел, подумал я, но вслух ничего не сказал, чтобы не расстраивать Ламсдор-

фа. Видно, что-то заскочило у них в мозгах. Каждый день дорог — поэтому отправить как можно скорее; но два дня погоды не делают — поэтому морем. Ладно, сделанного не воротишь. И действительно, в аэропортах контроль жестче. Больше вероятность, что засекут — если меня секут.

— Вот документы. Теперь вы — корреспондент «Правды» Чернышов Алексей Никодимович. Мы выбрали вашу газету, коммунистическую, по тем соображениям, что догматы учения и проблемы конфессии вам хорошо известны и при случае вы сможете поддержать разговор более или менее профессионально.

— Резонно, — сказал я.

— Как вы представитесь вашему контрагенту в Стокгольме — в это мы не лезем. Это вам решать, смотря по тому, как договорились вы с патриархом. Но для остальных сочли за лучшее подмаскировать вас таким вот образом. С редакцией снеслись, они вошли в наше положение. Теперь в отделе кадров у них есть соответствующая бумажка — товарищ Чернышов А.Н., внештатный корреспондент, командирован редакцией для ознакомления с такими-то фондами архива Социнтерна с целью написания серии исторических обзоров для рубрики «Наши корни».

— Да уж, — сказал я, — если версия подтвердится, корешки окажутся будь здоров.

Ламсдорф помрачнел.

— Чем больше я думаю, батенька, тем больше тревожусь. Когда отчет ваш читал, просто волосы дыбом вставали. Коли вы правы окажетесь — то как же они, аспида, научились людей уродовать! Уж, кажется, лучше бы Папазянов вирус. С природы и взятки гладки, от ее зло-

действ не ожесточаешься. А тут... Триста сорок шесть невинно убиенных в сорок первом году! Триста восемьдесят два — в сорок втором! И это только в Европе! Нелюди какие-то!

— Вот я и хочу этих нелюдей... — Я уткнул большой палец в подлокотник кресла и, надавив, сладостно покрутил.

— Думаете, вы один? В том-то и опасность я новую предвижу. Ведь для них смертную казнь опять ввести захочется!

Мы долго молчали, думая, пожалуй, об одном и том же. И сугубо, казалось бы, физический термин «цепная реакция», вдруг всплывший у меня в душе, разбухал, как клещ от крови, грозя лопнуть и забрызгать дом и мир.

— Этого допустить нельзя, — сказал я. — Ни в коем случае нельзя.

Ламсдорф вздохнул.

— Вы уж поосторожней там, — попросил он. — Под пули-то не лезьте без нужды.

— По малой нужде — под пули, — пошутил я. — По большой нужде — обратно под пули...

Ламсдорф смеялся до слез. Но, вытирая уголки глаз, поглядывал с тревогой и состраданием.

— Охрану бы вам, — сказал он, отсмеявшись. — Парочку ребят для страховки, чтобы просто ходили следом да присматривали...

— Мы ведь по телефону уже говорили об этом, Иван Вольфович.

— Гордец вы упрямый, батенька. Все сам да один, один да сам...

— Ну при чем здесь упрямство? Если серьезное нечто начнется, два человека — просто смертники. Одно-

му, между прочим, куда легче затеряться... Это во-первых. А во-вторых — и в-главных, — я еду к Эрику как частное лицо, представитель патриарха. Если он заметит, что меня пасут боевики...

— Да, батенька, да. Резонно. Я потому и подчинился. — Он опять вздохнул. — А сердце не на месте. Все оберечь как-то хочется. Так... Что же еще вам сказать? Ага, вот карманные денежки. Чтобы вам не суетиться сразу с обменом — уже в шведских, шесть тысяч крон. И в Стокгольмском Национальном открытом кредит еще на двадцать пять. Счет на «пароль»...

— Вы меня просто завалили деньгами! Зачем?

— На всякий случай, батенька, на всякий случай. Хоть что-то. Мы — страна богатая, можем позаботиться о своих. Кто знает, сколько вам там пробыть придется. Да и мало ли... вдруг... — он сразу запутался в словах, не решаясь назвать вещи своими именами, — лечение какое понадобится. У них же там все за деньги. Счет, говорю, на «пароль». Мы думали-думали, какое слово взять. А тут князь Ираклий позвонил — беспокоился, что-то, дескать, от вас давно восточек нету; ну и дали мы счету пароль «Светицховели».

Мне стало тепло и нежно, как в вечернем сагурамском саду.

— Спасибо, — проговорил я растроганно. — Это вы мне действительно приятное сделали.

— На то и расчет. Подавайте о себе знать при случае. Атташе военный в Стокгольме о миссии корреспондента Чернышова осведомлен... то есть не о цели ее, конечно, но о том, что есть такой Чернышов, которому надлежит, ежели что, оказывать всяческое содействие. Проще держать связь через него. Вот телефон. — Он показал мне бумажку

с номером, подержал у меня перед глазами, потом провел большим пальцем по цифрам, и цифры исчезли. Скомкал бумажку, повертел в пальцах и, не найдя, куда ее деть, сунул себе в карман. — Вот и все. — Поднялся. — Давайте-ка опять обнимемся, Александр Львович.

— Давайте, — ответил я.

4

Когда Ламсдорф ушел, мы снова двумя ангелочками у ourselves на диван; Лиза положила голову мне на плечо, и некоторое время мы молчали. Небо, довольно ясное утром, затянулось сплошной серой, сырой пеленой, и в гостинной все было сумеречно.

— Сколько у тебя осталось? — спросила Лиза потом.

— Шесть часов.

— Тебя опять повезут как-то по-хитрому?

— Да.

— Я очень боюсь за тебя.

— Это лишнее.

— Там еще шампанского немного осталось. Хочешь допить?

— Хочу.

Она встала, быстро вышла в столовую, быстро вернулась, неся в руке почти полный бокал. Я взял, улыбнулся благодарно. Едва слышно шипела пена.

— Ты будешь?

— Нет, нет, пей.

Я неторопливо выпил. Вкусно. Тут же щекотно ударило в нос, я сморщился. Поставил бокал на ковер возле дивана. В желудке мягко расцвело тепло.

— Можешь покурить...

— Абсолютно не хочется.

Она промолчала. Потом сказала негромко:

— Будет совсем не по-людски, если вы не повидаетесь.

Я думал о том же. Но совершенно не представлял, как это сделать. И вдобавок самую середку души вкрадчиво, но неотступно глодал ядовитый червячок: а можно ли ей доверять-то, господи боже мой? Хотя Беню, по всем его показаниям, «осенило» раньше, чем я собрался в Симбирск и проболтался об этом Стасе, но ведь и показания могли быть «наведены» извне; оставалась вероятность того, что покушение на патриарха вызвано моим внезапным желанием побеседовать с ним, — ничтожная, да, но, казалось, я не имел права рисковать, совсем уж сбрасывая ее со счетов; слишком велика была ставка.

И все же я сбросил. Пусть лучше меня застрелят в Стокгольме. Жить с такими мыслями о женщине, которую любишь, которая ждет ребенка от тебя, — это много хуже смерти. Собственно, это и есть смерть. Смерть души.

— Ты права, — ответил я.

— Давай знаешь как сделаем? — бодро заговорила она. — Я сейчас ей позвоню и позову в гости. Она здесь уже бывала, так что, если твои бармалеи действительно следят за домом, они ничего не заподозрят. А сама, — она чуть пожала плечами, — куда-нибудь уйду на часок-другой. Так хорошо?

И опять горло мне сдавил горячий влажный обруч. Уже я смотрел на нее, как на икону, с восхищением и благоговением, и думал, что, если хоть волос упадет с ее головы или если она действительно решит уйти от меня, — все, я умру.

— Это слишком, Лиза, — сказал я. — Я не могу... тебя так использовать.

— Господи, ну что ты глупости говоришь? При чем тут использовать? Я просто тебе помогаю, и нет мне занятия приятнее. Когда я тебе бинты меняла с нею вместе — разве это было использование? Ты страдал, а я, как могла, тебя лечила.

— Тогда в меня попала пуля.

Она вздохнула, а потом сказала задумчиво:

— Знаешь, это для меня тоже как пуля.

— Ты тоже страдаешь.

— Я страдаю, потому что тебе тяжело, а ты — потому что в тебя попали. Есть разница? И вообще, — решительно добавила она, тут же покраснев, — если бы я, например, в кого-нибудь влюбилась, ты что, вел бы себя иначе? Ты, палач, кровосос, кобель, мне бы не помог?

— Не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю. Я тебя знаю лучше их всех, и даже лучше, чем ты сам. И знаешь почему?

— Почему?

— Потому что я очень послушная. Ты со мной самый неискаженный.

Она подождала еще секунду, потом ободряюще улыбнулась и встала. Пошла в столовую, к телефону.

Щелк... щелк-щелк кнопочками.

— Стася? Здравствуйте, это... узнали? Ну, разумеется... А? Не может быть! Спаси-ибо... Нет, нет, право, я не могу, лучше себе оставьте, вам нужнее. Ах, гонорар подоспел крупный. Вышла подборка? Поздравляю, от всей души поздравляю. От Саши ничего, но вот сейчас заходил его начальник, сказал, что его перевели на долечивание в санаторий, куда-то на Кавказ. Ох, правда. Я тоже соскучилась. Лучше бы сюда, мы бы его быстрее вылечили. Как вы-то себя чувствуете? — Послушала,

потом засмеялась вдруг. — Да не волнуйтесь так, это же обычное дело. Я, когда Поленьку ждала...

Я встал и прикрыл дверь. Сестренки, похоже, завелись надолго.

За окном собирался дождь; плоская, беспросветная пелена небес совсем набухла влагой. Два сиреневых кустика в углу двора потемнели и понурились. Под одним, напряженно приподняв переднюю лапу, каменел Тимофеус с хищно поднятой вверх мордой — наверное, стерег какого-нибудь воробья на ветке, невидимого отсюда.

Как не хочется уезжать!

Дверь открылась, и я обернулся.

— Минут через сорок будет здесь.

Я молча кивнул. Нет таких слов.

— Знаешь, Саша, — виновато сказала она, — что я подумала? Тебе виднее, конечно, но если она придет, а я вскоре уйду одна, со стороны это может выглядеть странно и... подозрительно. Ты только не думай, что я ищу предлог остаться и... — Запнулась. — Если ты действительно опасаясь каких-то наблюдателей.

— Есть такая вероятность.

— Я тогда встречу ее и просто забьюсь куда-нибудь подальше, в хозяйственный флигель, например. А потом, когда вы... когда уже можно будет, ты меня оттуда вынешь.

Я подошел к ней, положил ей ладони на бедра и чуть притянул к себе. Некоторое время молча смотрел в глаза. Она не отвела взгляд, лишь снова покраснела.

— Я обожаю тебя, Лиза.

Она улыбнулась.

— А мне только этого и надо.

5

Когда раздался звонок, открывать пошла Лиза. Я так и сидел, как таракан, в гостиной, боясь днем даже ходить мимо окон, выходящих на улицу; бог знает, кто мог за-сесть, скажем, в слуховом окне на крыше дома напротив с биноклем или, например, детектором, подслушивающим разговор по вибрации оконных стекол. Ерунда какая-то, скоро от собственной тени шарахаться начну — а рисковать нельзя, раз уж взялись маскироваться.

Из прихожей донеслись два оживленных женских голоса, на лестнице слышались шаги, и сердце у меня опять, будто я все еще лежал на больничной койке, заколотило, как боксер в грушу: короткая бешеная серия ударов и пауза, еще серия и еще пауза... Ведь я Стасю с той поры не видел и не слышал.

Они вошли. Стася, увидев меня, окаменела.

— Ты...

— Я.

Да, по фигуре уже было заметно.

Она поняла мой взгляд и опустила глаза. Потом резко обернулась к Лизе:

— Отчего же вы мне не сказали?

— У Саши спросите, — улыбаясь, пожала плечами Лиза. — Каких-то Бармалеев наш муж боится.

Она снова уставилась на меня.

— Опять что-то случилось?

— Нет. Надеюсь, и не случится.

— Ну, вы беседуйте, — сказала Лиза, — а я пойду распоряжусь насчет обеда. Вы ведь пообедаете с нами, Стася, не так ли? И сама прослежу, чтобы все было на

высшем уровне. Редкий гость в доме, повелитель — нельзя ударить лицом в грязь. Стася, я надолго.

Она вышла и плотно затворила дверь.

— Вы просто идеальная пара, — произнесла Стася, помолчав. Мы так и стояли неловко: я посреди комнаты, она у самой двери. — По-моему, вы органически не способны обидеться или рассердиться друг на друга...

Я усмехнулся.

— Я от тебя тоже готова снести все, что угодно, лишь бы остаться вместе — но иногда, сама того не замечая, начинаю злиться. А ты к этому не привык в своей оранжерее — сразу замыкаешься, отодвигаешь меня и готов сбить кому угодно. Угораздило же меня!

— Жалеешь?

Она взглянула чуть исподлобья.

— Я? Нисколько. Ей — сочувствую. Тебя мне ничуть не жалко. А себя — и подавно.

— Присаживайся, Стася. — Я показал на диван, возле которого стоял.

Она уселась на один из стульев у двери, подальше от меня. Ее и отодвигать не надо было — сама отодвигалась. Я нерешительно постоял мгновение, потом сел подальше от нее.

— Когда ты вернулся?

— Вчера.

— Надолго?

— На полсегодня. В семь отходит мой корабль.

— Корабль... Что вообще происходит?

Я открыл было рот, но холодный скользкий червячок крутнулся вновь. Молчи, она ведь даже не спрашивает, куда ты едешь! Додавливая гада, я старательно проговорил:

— Плыву в Стокгольм, в архив Социнтерна. И даже под чужим именем. Чернышов Алексей Никодимович, корреспондент «Правды».

Я глубоко вздохнул, переводя дух от этого смехотворного для нормальных людей подвига, но слышал бы меня Ламсдорф! Ведь я разом перечеркнул многодневные усилия многих людей, старавшихся обеспечить максимально возможную безопасность моему делу и моему телу! — а на выдохе вдруг попросил, сам не ожидая от себя этих слов:

— Только не говори никому.

— Да уж разумеется! — выпалила она. — Хватит с меня сцены, которую ты устроил перед отлетом в Симбирск!

— Я устроил?! — опешил я.

— Не надо повышать на меня голос. Конечно, ты. Не Квятковский же.

Я молчал. Что тут можно было сказать.

— Он весь наш коньяк выпил, — пожаловалась она.

Я улыбнулся.

— Пустяки. Я ни секунды не сомневался.

— Он очень замерз! — сразу встала она на защиту. Как хохлатка над цыпленком. Словно ястребом был я. — В Варшаве жара, он летел в одной рубашке — а на борту кондиционеры плохо работали, и все продрогли еще в воздухе. А в Пулкове этом болотном вдобавок и вымокли до нитки. Что же мне, жмотиться было?

— Да я же не возражаю, — сказал я. — Для того и нес, Стасенька.

Она вдруг растерянно провела ладонью по лицу.

— О чем мы говорим, Саша...

Я устало пожал плечами.

— О чем ты хочешь, о том и говорим.

— А ты о чем хочешь?

— О тебе.

Она помолчала.

— Ты надолго?

— Не знаю. Думаю, да.

— Значит, — вздохнула она, — буду встречать тебя уже с чадиком на руках.

— Чадиком? — улыбнулся я.

— Ну... чадо, исчадие... если ласково, то чадик. Это я сама придумала.

— Давно это?..

— Больше полсрока отмотала. Уже лупит меня вовсю, как футболист.

— Думаешь, мальчик?

— Хотелось бы. Дочка у тебя уже есть. Хватит с тебя... девочек.

— Что же ты мне сама-то не сказала?

Она искренне изумилась.

— Как? Это я Лизу совсем уж расстраивать не хотела, не сказала, что ты мне сам разрешил!

Мне захотелось закурить. Кто-то из нас сошел с ума. И вдруг мелькнула жуткая мысль: да не «пешка» ли она уже? Как Бенья, долдонивший про тягу патриарха к личной власти...

— Когда разрешил? — спокойно спросил я и поймал себя на том, что, кажется, уже веду допрос.

— Да в Сагурамо! Я была уверена, что ты все понял! Ты сразу сказал — только немножко поломался сначала насчет порядочности, — а потом сказал: если без ссор и дрызг, то был бы рад. Я все делаю, как ты сказал, — ни ссор, ни дрызг.

— Ну ты даешь, — только и смог выговорить я. А потом спросил, прекрасно зная, что она ответит, если будет честна: — А если бы не разрешил, что-нибудь бы изменилось?

Она помедлила и чуть улыбнулась:

— Нет.

Я молчал. У нее исказилось лицо, она даже ногой притопнула:

— Мне тридцать шесть лет! Через месяц — тридцать семь! Имею я право родить ребенка от того, кого наконец-то люблю?!

— Имеешь. Но я-то теперь как? В петлю лезть от невозможности раздвоиться? Ведь что я ни делай — все равно предатель!

— До сегодняшнего дня прекрасно раздваивался. Теперь хвостик задрожал? Тогда гони меня сразу.

Мы помолчали. Задушевная получилась встреча.

— А я шла сюда, — вдруг тихо сказала она, — и думала: удастся ли мне еще когда-нибудь затащить тебя в постель или уже все?

Меня сразу обдало жаром.

— А хочется? — так же тихо спросил я.

— Вопрос, достойный тебя. Да я тут ссохлась вся от тоски!

— Зачем же ты так далеко сидишь? — Я старался говорить как можно мягче и только боялся, что после недавней перепалки это может не удалиться или, хуже того, прозвучать фальшиво.

— Здесь? — с отвращением выкрикнула она.

Я опять перевел дух. Как тяжело... Язык не поворачивался. Но надо же ей растолковать.

— Стасенька, по-моему... Лиза уверена, что у нас с тобой это будет.

— Это ее проблемы.

— Не надо так. Даже если ты сейчас не... — Не знал, как назвать. И не назвал. — Все равно ты плохо сказала. Ведь мы с тобою можем опять очень долго не увидеться, и она это понимает.

— Не хватало еще, чтобы твоя жена тебя мне подкладывала.

Я почувствовал, что у меня дернулись желваки.

— Ну, самоутверждайся, — сдержавшись, сказал я глухо.

— Сашенька, я уже лет пятнадцать этим не занимаюсь. Но в ваше супружеское ложе не лягу ни за что.

— Ложе, ложе! — Я уже терял терпение. Единственное, на что меня еще хватало, — это на то, чтобы не повышать голос. — Стася, при чем тут ложе! — И, уже откровенно глумясь, добавил: — Вот можно на коврик!

Она поднялась.

— Какой тяжелый ты человек, — сказала она и пошла к двери. — Не провожай. А то ведь везде враги.

Все мое раздражение отлетело сразу. Остались только страх за Стасю и тоска. Что же она делает? Она же доламывает все! Она этого хочет?

— Стася, а обед?! — нелепо крикнул я ей в спину, и дверь резко закрылась.

Я с яростью потряс головой. Дьявол, ничего не успел даже спросить. Как у нее с деньгами? Как со здоровьем? Как с публикациями, сдержал ли Квятковский слово? По телефону вроде говорили о какой-то подборке... Дьявол, дьявол, дьявол! Бред!

С чего же начали цапаться-то?

Когда я прикуривал четвертую сигарету от третьей, в дверь осторожно поскреблись. Я обернулся, как ужаленный. Неужели вернулась? Господи, хоть бы вернулась!

— Да! — громко сказал я, уже поняв, что это Лиза.

Она правильно рассчитала: если бы мы были в спальне, то просто не услышали бы.

И она бы снова ушла. Все зная наверняка.

Она явно не ожидала, что я отвечу. Только через несколько секунд после моего «да!» оживленно влетела в комнату, и задорная, гостеприимная улыбка на ее лице сразу сменилась растерянной.

— А где Станислава? Ой, дыму-то!.. — Она почти подбежала ко мне. Глянула в розетку для варенья, которую я превратил в пепельницу. — Святые угодники, четвертая! Да что случилось, Саша? На тебе лица нет!

— Все, Лизка, — сказал я, снова впихивая себе сигарету в губы. Руки все еще дрожали. — Пляши. Одной козы — как не бывало.

— Вы что, поссорились? — с ужасом спросила она.

Я неловко размолотил окурок в розетке, среди вонючей трухи предыдущих, и кивнул. Лиза, прижав кулачок к подбородку, потрясенно замотала головой.

— У нее на шестой уже перевалило... тебе, может, опять под пули лезть... Ой, дураки, дураки, дураки... — И тут же, схватив меня за локоть, энергично заговорила: — Саша, ты только не расстраивайся. Не бери в голову. Это у нее просто период такой. Я, когда Поленьку ждала, тоже на тебя все время обижалась, из-за любого пустяка. Только виду не подавала. А она — другой человек, что ж тут сделаешь. Привыкла к свободе, к независимости. Она родит, и все постепенно уляжется, она ведь очень тебя любит, я-то знаю!

— Задурила она тебе голову, Лизка, — почти со злостью проговорил я. — Не верь ей. Просто с возрастом

приперло. Решила родить абы от кого — ну а тут как раз дурак попался. Никого она, кроме себя, не любит и никогда не любила... Ну так что у нас с обедом? Ты вкусный обед обещала!

Она испуганно всматривалась мне в лицо. Будто не узнавала. Будто у меня выросли рога и чертов пятак вместо носа.

— Вот теперь я совсем поняла, о чем ты ночью говорил...

— Да я много глупостей наговорил.

— Не надо так! — болезненно выкрикнула она. — Эта ночь — одна из самых счастливых в жизни у меня! Никогда, может, мы с тобой не были так близко... А говорил ты, что нельзя крушить живое. Потому что тогда оба ожесточаются и высыхают. Ты не становись таким, Саша. — Она подняла руку и погладила меня по щеке. — До нее мне, в конце концов, извини, дела нет, но ты... лучше уж изменяй мне хоть каждый день, но таким не становись. Потому что я тебя такого очень быстро разлюблю. И что я и Поля тогда станем делать?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СТОКГОЛЬМ

1

Теплоход крался по фьорду.

В желтом свете предосеннего северного заката тянулись назад лежащие в воде цвета неба острова. Крупные,

покрытые лесом, или помельче, скалистые, украшенные одним-двумя деревьями и какой-нибудь почти обязательной избушкой под ними, или совсем лысые, или совсем небольшие, не крупнее Лягушек в Коктебельской бухте — просто валуны, высунувшие на воздух покатые, как шляпки грибов, розово-коричневые спины. На каждом из них хотелось посидеть — свесить ноги к воде и, кротко глядя на остывающий мир, в рассеянности размышлять обо всем и ни о чем. Глухо рокотали на малых оборотах дизеля; корабль мягко проминал зеркало поверхности, и за ним далеко-далеко тянулись по ясной, холодной глади медленно расходящиеся морщины. Красота была неопишуемая, первозданная, хотя громадный город уже надвинулся — из-за леса на правом берегу тянулась в небо окольцованная игла телебашни, светились в настильном сиянии почти не греющего солнца разбросанные в темной зелени прибрежные виллы и особняки Лилла-Вартан, но все равно современное мощное судно казалось неуместным здесь, нужен был драккар. Пятнадцать лет назад один мой друг, писатель, — с ним-то мы и попали впервые в эти края, он-то и познакомил нас со Стасей позапрошлым летом, — сказал: «Теперь я понимаю Пер Гюнта. Здесь можно встать, взять меч и молча выйти на двадцать лет. Здесь можно ждать двадцать лет». Я не очень понял тогда, что он имел в виду, не понимаю и теперь, но сказано было красиво, и вокруг все было красиво — а между двумя красотами всегда можно найти связь, один найдет одну, другой — другую. Смертельно, до тоски хотелось показать все это Поле, Лизе и Стасе. Одну красоту — другой красоте. Вот и еще одна связь между красотами, уже моя; кроме меня, ее никто не поймет.

На нижних палубах суетились туристы, перебегая от борта к борту через широкую, как площадь, кормовую площадку; беззвучно для меня орудовали фотоаппаратами и видеокамерами, толкались в поисках своей идеальной точки зрения. Я стоял наверху, неподалеку от труб — они туго вибрировали и сдержанно рычали. На шее у меня болтался полагающийся по легенде «Канон», но я про него забыл. Не хотелось дергаться. Кто смотрит через видоискатель — тот видит только фокус да ракурс, а мне хотелось видеть Стокгольм. Я люблю этот город.

Совсем уже неторопливо мы проползли мимо островка Кастель-хольмен, где на тонкой мачте над краснокирпичным замком чуть полоскал давно уже навечно поднятый флаг — исторически его полагалось спускать, когда Швеция ведет войну; потом слегка взяли вправо. По левому борту открылся близкий и продолжающий мерно наплывать изящный лепесток моста, разграничивающего залив Сальтшен и озеро Мелорен, — со стороны Старого города у въезда на мост высился строгий и гордый каменный Бернадотт; а дальше, за строениями Рыцарского острова, похожими все, как одно, на дворцы, вывернув из-за высоких палубных надстроек судна, четко прорисовалась в напряженной желтизне небес ажурная башня Рыцарской кирки. Все это напоминало Петербург — но еще причудливее и плотнее, потому что мельче и чаще были накинаны в залив острова; а берега кое-где были низкими и плоскими, как у нас, но кое-где вспучивались вверх каменными горбами — и здания взлетали в небо.

Подумать только. Чтобы построить город, так похожий на этот, мы воевали с ними едва ли не четверть века. А они с нами — чтобы мы не построили. Средневековье...

Ошвартовались в самом центре, у набережной Скепсбрэн, почти что под окнами королевского дворца. Толпа на палубах медленно всосалась в недра корабля, а я, не спеша никуда, замороженно озираясь, еще выкурил сигарету на своей верхотуре. Чуть не швырнул окурок за борт, как делал в море, но рука сама не пошла. Это было все равно что плюнуть в лицо мадонне Литте.

«Правда» была столь любезна, что по своим каналам забронировала для меня скромный, но вполне уютный двухкомнатный номер в одном из отелей на Свеаваген, в двух шагах от концертного зала, где, как мне говорили когда-то, и происходит вручение Нобелевских премий. Начало смеркаться, когда я закончил разбирать багаж и полез в душ. Очень горячий; очень холодный. Все вроде было в порядке: и краны чуткие, и напор хороший — а не то.

Вытерся, вылез, оделся. Подошел к окну. Загорались огни, двумя плотными противонаправленными потоками катили вниз яркие авто. Покосился на телефон. Нет, не хотелось сразу звонить. На корабле я как-то расслабился, морская прогулка даже слишком пошла мне на пользу, размяк я, как последний бездельник, и никак было не решиться снова броситься в бойцовый ритм. Я знал: стоит начать — это надолго.

Да и не следовало, пожалуй, звонить из отеля. Береженого бог бережет.

Хотя покамест за журналистом Чернышовым, по всем признакам, никто не следил.

Я спустился в полупустой бар. Музыка играла ни уму, ни сердцу, но, к счастью, негромко. Не спеша выпил чашку кофе, выкурил еще сигарету. Сладкое ничегонеделание... Вышел на улицу. Поколебался немного и пошел налево, к роскошной Биргер-ярлс-гатан.

Насколько я понимал, это в честь того ярла Биргера, которого в свое время откомпостировал святой князь Александр. Хорошо, что средневековые закончилось. Я не смог бы жить в те эпохи. Разве что принял бы постриг. И то: католики, лютеране, православные, старообрядцы — и все правее остальных.

На улице имени смертельного врага русского святого я купил мемориальный банан. Понюхал пахнущую приторной тропической сыростью кожицу; интернациональным жестом уважительно показал тонущему в своих фруктах уличному торговцу большой палец — тот с утрированной гордостью выпятил челюсть и задрал нос: мол, плохого не держим. Мы разошлись, довольные друг другом. С бананом в руке я двинулся дальше.

Люди, люди, люди... Люди у витрин, люди у машин, люди у лотков и просто идущие не спеша, жующие резинку и не жующие резинку, разговаривающие, смеющиеся... Нет, люди у нас красивее. А вот город чище у них. Аккуратнее как-то, прополотее.

Слитно шумя и моргая тысячью красных глаз, катил мимо вечерний автомобильный ледоход.

Улица вывела к маленькому скверику, громко именуемому парком. Берцели-парк, кажется. Я миновал его, и тут уж снова недалеко было до воды. Остановился. Вот с этого места начиналась моя симпатия к Стокгольму.

Никуда он не делся за пятнадцать лет, мой чугунный приятель, которого я когда-то, тоже в сумерках, принял в первый момент за живого. Надо очень любить свою столицу, чтобы любить ее так весело и непринужденно: в блистательном центре великого города, сердца северной империи, пусть даже бывшей, поставить красно-желтую загородку «Ведутся работы», кинуть на асфальт тя-

желую крышку канализационного люка, а под крышкой воткнуть с натугой открывающего ее чугунного водопроводчика, так что казалось, будто он вылезает из дыры в земле — с худой, костлявой, уныло перекошенной и явно похмельной рожей.

Одно только слегка портило впечатление — торчащая тут же табличка с надписью «Хумор». Как будто без этого пояснения кто-нибудь мог не догадаться, что водопроводчик является юмором, и окаменел бы от недоумения. Была тут какая-то неуверенность шведов в самих себе.

Хотелось навестить еще Риддар-хольмен, Рыцарский остров, но небо уже отцветало, и даже на западе сквозь холодную зелень заката вовсю проступала синева. Я стоял у воды, вспоминая, как мы с другом сидели на стрелке этого самого хольмена, на скамейках открытой эстрады, а за темной водной ширью, неторопливо игравшей словно бы каучуковыми отражениями городских огней: потянет и отпустит, потянет и отпустит, — громоздился тяжелый, угловатый бастион ратуши, а мимо, в двух шагах от нашего берега, тарахтя несильным дизельком и тускло светя фонарями и единственным квадратным оконцем, проплывал занюханый катерок с громким названием «Соларис Рекс»... Но сердце было уже не на месте. Пора работать.

Я решительно пошел к телефону. Я не знал по-шведски; Эрик, по словам патриарха, не знал по-русски. И когда, подняв трубку, с того конца ответили международным «алло», я спросил, старательно надавив на английское «р», чтобы сразу дать понять, на каком языке ведется разговор:

— Эрик?

Он включился сразу.

— Е-э...

— Гуд дей, Эрик. Ай'м фром Михал Сергеич*.

2

Дни летели — как листья на ветру.

Работа была кропотливой и, в общем, совершенно непривычной для меня. Эрик — немногословный, очень славный и феноменально эрудированный в своей области человек — помогал, чем мог, без него я запутался бы быстро и безнадежно; для меня действительно все оказалось доступно и открыто, по первому требованию поступали картотеки, документы, пожелтевшие, а то и затянутые прозрачной пленкой ветхие письма, расписки, дагерротипы... Но что Эрик мог сделать, ежели я сам не ведал, что ишу? Поди туда — не знаю куда... Целыми днями я просиживал за терминалом ЕСИ — помню, когда создавалась Единая Сеть Информации, мы, желторотики, пили за ее здоровье и пели «Ой, ты гой, еси!» в читальных залах, а то и в рабочих каморках фондов, расшифровывая старый почерк — на русском, на немецком, на французском, — и тонул в ворохах ничего не значащих фактов, и вновь выныривал было, уцепившись за какую-то нить, а потом нить рвалась или приводила в тупик, и я искал другую, и все было наугад, на ощупь, все было зыбко. А дни летели, и я скучал по всем.

Однажды мне показалось, что меня пасут, — и я целый день проверялся. Кружил в перепутанном, как кишечник, метро; зашел в кино; зашел в ресторан. Похо-

* Я от Михал Сергеича (англ.).

же, почудилось. Вечером просто руки чесались прозвонить номер на предмет электронных «жучков», но у меня, естественно, не было никакой аппаратуры с собою: аппаратура — вещь броская, первый же сделанный обыск в номере меня бы расшифровал; а во-вторых, пусть слушают, я все время молчу. Однако нервы были на взводе, и в тот же день я дольше обычного мучился бессонницей. Слишком уж медленно шло дело. Да и шло ли? Порой мне казалось, что я топчусь на месте. Порой мне казалось, что я вообще на ложном пути и не по заслугам проедаю казенные кроны. Очень хотелось осведомиться, набегает ли и дальше статистика Папазяна, происходят ли и теперь в мире преступления, аналогичные выявленным нами, — но отсюда это было невозможно. Я бежал в пустоте.

А листья и впрямь полетели, поплыли, зябко дрожа, по рябой от осеннего ветра воде узких проливов.

Я ни с кем не знакомился, ни с кем не сходил.

Я тосковал.

Я работал.

Поначалу мне то Стася, то Лиза мерещились в толпе. Потом это стало реже. Потом прекратилось совсем. Я даже не мог узнать, как у них дела, здоровы ли...

Пятого сентября мы и штатники запустили очередную пару гравиторов. Вот об этом мне прожужжали все уши по радио, промозолили все глаза в газетах. «Новая фаза глобального сотрудничества...»

Никто проекту «Арес» не угрожал.

Из газет же я узнал, что патриарх вернулся к работе. Его все-таки ухитрились поставить на ноги, он снова мог ходить сам — медленно, приволакивая ноги, присаживаясь для отдыха каждые метров полтора, но все же не

остался прикованным к креслу, которое я запомнил так хорошо. Потрудились и в Симбирске, и в петербургской нейрохирургии, и в прекрасном санатории «Бильгя» на северном берегу Апшерона... В основном писали с радостью и симпатией к патриарху — иногда, как мне казалось, чересчур экзальтированной, неприятной для нормального человека так же, как и любое вибрирующее на грани истерики чувство. Но событие всколыхнуло угасшую волну интереса к покушению; газеты всех направлений в течение нескольких дней были наводнены версиями. Версии — хоть плачь. Однажды довелось мне прочесть и про себя. Яро антирусская газета — не помню названия, зато врезался в память тираж: 637 экземпляров — огорошила своих шестьсот тридцать семь читателей заявлением, что злодейское убийство наследника русского престола было осуществлено по воле патриарха коммунистов, так как великий князь своей популярностью в народе и набожностью способствовал усилению православия, чего коммунисты постарались не допустить; покушение же на патриарха было карательной акцией российских спецслужб. Как единственное доказательство этому приводился факт, что «контрразведчик Божьей милостью, знаменитый своей щепетильностью в вопросах чести (?) полковник МГБ России князь Трубецкой, участвовавший в расследовании убийства наследника, после случайной встречи с патриархом Симбирска бесследно исчез во время пребывания в горном пансионате «Архыз», и ни жена, ни друзья, ни любовницы ничего не могут сообщить о его местопребывании». Любовницы. Так-так. Неужели эти заразы со своими вопросами приставали к моим ненаглядным? Я едва не скомкал газету. Потом перечел фразу снова. Уж если писаки пронюхали,

что меня нет в Архызе, настоящие сыскари могут знать куда больше. Стало не по себе, и спина ощутилась какой-то очень беззащитной.

Как-то раз со мною попыталась многозначительно познакомиться то ли кубинка, то ли мексиканка, остановившаяся в том же отеле, что и я, и вдобавок на том же этаже. Женщины свое дело знают туго, почерк, что называется, поставлен — сообразить не успеваешь, что происходит, а уже ведешь ее в бар, уже заказываешь для нее ликер, а она томно жалуется на одиночество, жестокость мира и рассказывает тебе, какой ты красивый. Наверное, до конца дней я останусь у нее в памяти то ли как импотент, то ли как педераст. Если вообще останусь, конечно. На следующий вечер я встретил ее в том же баре с каким-то шейховатым финансистом из Аравии. Она говорила ему то же самое и, по-моему, теми же самыми словами — а шейховатый шуровал яркими маслинами глаз, часто и быстро облизывал кончиком языка, будто жалом, свои коричневые тугие губы; его волосатые пальцы подергивались от нетерпения, разбрызгивая перемолотые перстнями радуги. Сначала мексиканка меня долго не видела, а потом, заметив, изящно указала на меня мизинчиком и что-то игриво сказала коротко глянувшему в мою сторону шейховатому; и они засмеялись с чувством полного взаимопонимания. Очень глупо, но чем-то они мне напомнили в этот момент Лизу и Стасю в чайном углу. Ноги у мексиканки были очень стройные. Она так и егозила ими — то одну забросит на другую, то наоборот. Ей тоже не терпелось. Я велел в номер литровую бутылку «смирновской» и, сидя в сумраке и одиночестве, мрачно выел ее на две трети; сник в

кресле и уснул, но, видимо, проснувшись через пару часов, сам не помню как, доел.

Наутро Эрик, настоящий товарищ, забеспокоился. Открыть-то я ему открыл с грехом пополам, но беседовать не то что по-английски, а даже на ломаном русском был не в состоянии. Раздрай был полный; хорошо, что я себя не видел и не знаю, как выглядел, — впрочем, реконструировать несложно, алкашей, что ли, мы не видывали? Трезвому мне всегда хотелось давить их, как тараканов, — настолько они омерзительны. Немногословный Эрик срисовал ситуацию в ноль секунд; помог мне доползти обратно до постели, уложил и укрыл одеялом. «Рашн эм-пайр из э грейт кантри»*, — хмуро констатировал он, подбрасывая на широкой ладони пустую бутылку и оценивающе поглядывая то на нее, то на меня. Я лежал, как чурка, и стеклянными глазами следил за его действиями. Я даже моргать не мог: с открытыми глазами голова кружилась в одну сторону, с закрытыми — в другую; а если моргать, она начинала кружиться в обе стороны сразу, и в этом ощущении было что-то непередаваемо чудовищное. Эрик молча вышел, а через пять минут вернулся с гремящей грудой пивных жестянок на руках. «Рашнз из э грейт пипл, — утешал он меня, как умел, заботливо поддерживая мне голову одной рукой, а другой переливая из жестянок мне в рот густую, темную, пенистую жидкость. — Дьюк Трубетской из э риэл коммюнист...»** На четвертой, а может, и пятой жестянке я слегка просветлился. Слезы ручьями потекли у меня из глаз. Я сел в постели и начал орать. «Эрик! Оу, Эрик! Ай

* Русская империя — великая страна (*англ.*).

** Русские — великий народ. Князь Трубецкой — настоящий коммунист (*англ.*).

лав зэм! Ай лав боус оф зэм! — Я забывал предлоги, размазывал слезы кулаком и размахивал руками, как Виннету Вождь Апачей, одними жестами вдохновенно рассказывающий соплеменникам, как давеча снял скальпы сразу с пяти бледнолицых. — Кэч ми? Ай уонт фак боус!!!»* — «Фак боус водка энд биар?»** — хладнокровно осведомился Эрик, даже бровью не дрогнув. — О'кей...» И удалился, тут же вернувшись еще с пятью жестянками.

Не знаю, что было дальше. Не знаю, как и когда он ушел.

Я проснулся около пяти. Глядя на часы, долго не мог сообразить, пять утра или вечера; чуть не собрался идти на ужин, но потом все же осознал, что очень уж тихо за окном. Голова была кристаллически холодной и ясной. И очень твердой. Имело место лишь одно желание: немедленно перестать жить. Зато оно было необоримым. Тоска и отвращение к себе так переполняли душу, что она вот-вот готова была взорваться, дернув правую руку, ногтями располосовать вены на запястье левой. Абстинентный суицид, будь он навеки проклят. В этом состоянии половина русской интеллигенции попрыгала из окон. Хорошо, что я не интеллигент. Я зажег торшер; голый, как был, погремел жестянками, но все они, сволочи, были пусты и буквально выжаты досуха. Тогда я уселся нога на ногу возле журнального столика в мягкое кресло и закурил, брезгливо и ненавидяще взирая на свое ничтожно скукоженное, бессильно прикорнувшее мужское естество и борясь с диким искушением ухватиться

* Эрик! Я люблю их! Я люблю их обеих! Усекаешь? Я хочу трахать обеих! (англ.)

** Трахать и водку, и пиво? (англ.)

как следует и вырвать эту дрянь с корнем, чтобы уж не мучить больше ни хороших людей, ни себя. Да, пора дать им свободу. Пусть самоопределяются. Неужели вот это может кого-то радовать? Не верю. И никогда в жизни больше не поверю. Светлый абажур торшера плыл в неторопливо текущих сизых струях, вдоль стен грудами лежал мрак. Из-за окна время от времени начал доноситься пролетающий шелест ранних авто. После пятой сигареты опасные для жизни и территориальной целостности острые грани кристалла в башке стали оплывать и студенисто размягчаться. Тогда я встал, принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный; тщательно побрился, налил по самую завязку кофеем и по утренним улицам Стокгольма бодро пошел в архив — работать.

3

Пожалуй, самой широкомасштабной акцией радикалов в годы, непосредственно предшествующие загадочному рубежу 1869–1870, была авантюра, вошедшая в историю под названием «экспедиции Лапинского». В ней, как в фокусе, сконцентрировалась вся бессмысленность и вся трагическая изломанность левых идеалов того времени, вся их нелепая, не несущая фактически никакого позитива разрушительность и полное элиминирование таких категорий, как, например, ценность человеческой жизни. Она отличалась от большинства иных, сводившихся, в сущности, к маниакально расцвеченной красивыми словами людоедской болтовне, и объединила в одну упряжку львиную долю стремившихся к «справедливому

будущему общественному устройству» людей дела — людей, всегда вообще-то более симпатичных мне, нежели люди слова; но тут дело было таким, что уж лучше бы эти люди продолжали болтать, попивая абсент и пошныривая к дешевым проституткам. Началась она, как и должна была у этих людей, со лжи, а кончилась, как и должна была, кровью.

В ту пору Польша в очередной раз пылала. Поляки кромсали русских поработителей, как могли. В ответ русские начали кромсать взбунтовавшихся польских бандитов. Но в душе великоросса, широкой, словно окаянный наш, от Дуная до Анадыря, простор, всему найдется место; и вот уже русские гуманисты не только деньгами и медикаментами помогают изнемогающим, как тогда писали, в неравной борьбе полякам, не только петициями и газетными статьями, требующими от государя даровать, во избежание крови и злобы, вольность западной окраине — все это достойно, все это вызывает уважение... но и оружием, и участием. И вот уже один, другой, третий русский борец за справедливое устройство гвоздит из польских окопов русскими пулями в русских солдат, думая, что попадает в прогнившее самодержавие, — как будто, стреляя в людей, можно попасть во что-нибудь иное, кроме людей. И чем больше их, этих деятельных, презирающих интеллигентскую болтовню о смягчениях и дарованиях, тем глупее выглядят те, кто оказывает реальную, бескровную помощь, тем легче квалифицировать их великодушие и стремление к компромиссу как измену. И это в момент, когда только-только пошла крестьянская реформа — теперь две трети замшелых царедворцев тычут Александру: вот что от свободы-то деется! При батюшке-то вашем про такое слыхом не слыхивали!..

Трижды прав Токвиль: для устаревшего строя самый опасный момент наступает, когда он пытается обновить себя. И еще говорят об исторической справедливости! И тем более о ее ненасильственном восстановлении!

Исторически справедливо лишь то, что препятствует убийствам. И несправедливо то, что им способствует. Вот единственно возможный справедливый подход — остальное скромно называется «грязной политической игрой».

Пароход «Уорд Джексон» отошел из Саутхэмптона 22 марта 1863 года. На борту — оружие для поляков и сто шестьдесят человек разных национальностей, по тем или иным причинам решивших принять участие в боевых действиях на стороне несчастных и обездоленных поработанных. Во главе — поляк по происхождению, полковник австрийской армии по службе Лапинский. Был и некто Демонтович, на манер якобинских времен называвший себя комиссаром. Святые угодники, как сказала бы Лиза, — команда зафрахтованного Лапинским парохода ведать не ведала, куда и зачем она ведет судно, гуманисты намолостили какую-то чушь вместо объяснений, даже не задумываясь о том, что подвергают ни в чем не повинных, ни сном ни духом не вовлеченных в эту многовековую разборку людей всем превратностям военной авантюры! 26 марта здесь, в Швеции, в порту Хельсингборг к борцам за правое дело справедливого устройства присоединился сам Бакунин — решил, видимо, лично начать устанавливать живую бунтарскую связь между русскими пахарями, на этот раз при помощи польских инсургентов. Но двумя днями позже, уже в Копенгагене, шило проткнуло мешковину — команда во главе с англичанином Уэзэрли, узнав о цели плавания, просто покинула судно в полном составе. Свободолюбцев это не

обескуражило; тою же ложью была нанята команда, состоявшая почти целиком из датчан. Однако шило проткнуло мешковину еще раз. О продвижении «Уорда Джексона» стало известно в Петербурге, и кровавый царизм вновь явил миру свой звериный лик: вместо того чтобы, скажем, подослать убийц или встретить суденышко в море, поближе к российскому берегу, каким-нибудь из военных кораблей Балтийского флота и уж даже не расстрелять, конечно, главным калибром, а просто хотя бы арестовать всех, кто на нем находился, царизм корректнейшим образом снесся с властями Мальме, куда «Джексона» доплюхал 30 марта, с просьбой интернировать судно. Но что это было за интернирование! Жуткий произвол! Демонтовичу даже часть оружия удалось сберечь — и уже 3 июня непреклонные борцы, наняв парусник «Эмилия», во главе со своим Лапинским снова плывут навстречу справедливому устройству. Путь к нему на этот раз, по их мнению, лежит через Литву, там они надеются организовать новый очаг восстания. 11 июня они попытались высадиться у входа в Куриш-гаф — так называлось тогда длинное, буквально шнуром вытянутое озеро, отделенное от Балтики Куршской косой. Балтика подшармливала, с нею даже летом шутки плохи. Но вооруженным мечтателям всегда море по колено — рай к завтрему! Двадцать четыре человека потонули буквально в версте от берега, не умея добраться не то что до справедливого устройства, а до песчаного пляжа. Потрепанная «Эмилия» отправилась наконец восвояси — похоже, после столкновения со столь «несправедливой» реальностью борцы поняли, что дело-то, оказывается, идет всерьез, красивые фразы и жесты кончились, и вот-вот вслед за утонувшими последуют пострелянные и, возможно, даже

повешенные; им такая перспектива не улыбалась. Убивать, посылать на смерть других во имя справедливого устройства — священный долг, всегда пожалуйста. Умирать самим — это как-то чересчур. С грехом пополам дотянули до Готланда — приблизительно как я до двери гостиничного номера, когда стучался Эрик, — и 19 июля шведский военный корабль доставил уцелевших обратно в Англию.

Мне их даже не было жалко. Господи, да если бы они везли бинты или йод — я бы каждому памятник поставил! Я пытался представить себе этих уцелевших. Как они, в ожидании шведского корвета, посиживают на набережной мирного, сонного, игрушечного, как домик-пряник, Висбю, коробчатой коростой островерхих черепичных крыш взбегающего улица за улицей, точно ступенька за ступенькой, на высокий берег Готланда, с тоской смотрят на синее, прохладное даже летом, давно отштормившее море, на чаек, слепящими сгустками белоснежного пламени медленно крестящих лазурь небес, пьют какую-нибудь дрянь и думают... о чем? О чем же они думают? Казалось бы, это так легко вообразить, ведь я человек и они люди; вот ноги, вот руки, как сказал Христос Фоме неверующему — вот небо, вот море, о чем тут можно думать? Но синдром Цына бушевал в каждом из них — и я не мог проникнуть в их мысли, как не мог проникнуть, скажем, в мысли больного шизофренией, абсолютно правильными, ораторскими фразами доказывающего: «Возьмем Кольский полуостров, вставим в него телевизор, будем вокруг все время хлеб накручивать — так что же, Илья Муромец, что ли, вырастет, я вас спрашиваю?»

Да, в своей жизни я стрелял. Совсем недавно стрелял, чтобы спасти Рамиля. Конкретного человека от кон-

кретного убийцы. Но, скажем, подойти к парню, который не сделал еще ничего плохого ни тебе, ни твоим близким, который в данный момент думает — и это на лице у него написано — о том, уродился ли нынче в родных краях овес, не прохудилась ли дранка на отчем амбаре и с кем теперь гуляет соседская Парашка, и с истерическим воплем «Ты — наймит прогнившего режима!» или, к примеру, «Крофафый порapotитель!» пырнуть штыком в живот?

Не представить.

Я методично, забывая о летящих днях, копался в жизнях этих уцелевших людей дела и подчас удивлялся, набредая на факты, свидетельствующие о том, что все они были все-таки обыкновенными людьми, а подчас поражался тому, сколь сильно их поведение время от времени все-таки выдавало некую извращенность их сознания, сбитость прицела, что ли. Почти все так или иначе переживали случившееся, многие пытались делать какие-то выводы, но чаще всего выводы эти заставляли меня лишь руками всплескивать в бессильном и, каюсь, злобном недоумении. Двадцать второго сентября мне в руки попало письмо Петра Ступака, отправленное им из Саутхэмптона в Хельсингборг своей, как тогда говорили, гражданской жене. Была у этого несостоявшегося убийцы жена, оказывается; оказывается, его можно было любить, да еще как... «Здравствуй, пухленькая моя! — писал Ступак. — Я еще задержусь в Британии, подлечусь и отдохну маленько после нашего балтийского вояжа. А потом уж ворочусь насовсем, Зинульчик. Умонастроение у меня преотвратительнейшее. Вояж наш оказался неудачен, и от этих неудач стал я более прежнего презирать род людской. А особенно, ты уж не обессудь, нас, россиян. Дальше

собственного носа не видим, кроме как на собственный пуп ни на что не глядим. Хоть горло надорви — никто не слышит, да и слушать не желает. В голове только женка, да буренка, да по праздникам кабак с церковью. Как я все это ненавижу! Ах, если бы в силах был я вдунуть в спящих людей благородный огонь неприятия такого, с позволения сказать, счастья! Чтобы ярость клокотала в жилах у всякого, как клокочет она у меня! Чтобы не сносили наши хлебопашцы и мастеровые несчетные несправедливости, понунив покорно выи, а отвечали на единый окрик — сотнею, на единый удар — тысячею ударов! Чтобы великая цель высвобождения от векового ярма руководила всяким чувством, заставляя позабывать о презренном благополучии, о куцах добродетелях, о животной заботе о семье и потомстве! Гордость, независимость, самодостоинство, постоянное стремление к свободе — где они? Ах, наука, наука! Как могущественна она в создании новых машин и как беспомощна в создании нового человека!» Помню, я еще головой покачал, читая, и подумал, что, по моим понятиям, получив такое письмо, любая нормальная женщина должна была бы плюнуть в морду автору и на порог больше не пускать...

И тут почуял запах моего дьявола.

Петр Поликарпович Ступак. Тридцать пять лет было ему в шестьдесят третьем. В пятьдесят пятом с отличием окончил Петербургский университет, проявив недюжинные способности в естественных науках. Но карьера не сложилась — происхождением Ступак похвастаться не мог, а, кроме того, желал всего и сразу просто потому, что он — такой. Неуживчив, как гений, — говорят обычно о подобных людях, забывая, что большинство действительных гениев, при всех подчас действительно тя-

желых в быту странностях характера, отличаются доброжелательным и даже отрешенным от мирских конкурентных склок нравом, а неуживчивыми оказываются на поверку главным образом люди, которые, будучи непоколебимо уверены в своем потенциале, все никак не соберутся его реализовать, погружаясь глубже и глубже в мелочную борьбу с теми, кто, по их мнению, препятствует раскрытию их талантов; и потом уже сами произвольно провоцируют эту борьбу, ощущая в глубине души, что затихни она — и не останется никаких признаков гениальности. Общих правил тут, конечно, нет — и все же... Ступак явно считал себя гением и, не исключено, действительно мог им стать. Он носился со странной идеей: Вселенная есть кристалл. Между прочим, по моему, эта идея кое-где вспыхивает до сих пор, и, значит, в ней что-то есть, хотя мне с моим госбезопасным умом не взять в толк — что, но, насколько мне известно, Ступак высказал эту идею в науке первым.

Однако он с лихостью необычайной, революционной вполне, делал из этой идеи практические выводы; в силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной с арбуз или с купол Ивана Великого, все равно — размер зависит исключительно от срока кристаллизации. Вселенные будут абсолютно идентичны, причем чем меньшую Вселенную мы хотим вырастить, тем, естественно, меньше времени это потребует; наша Вселенная потому такая большая, что давно растет. На мой взгляд, чистый бред, на уровне Кольского полуострова с телевизором, — но очень изящный, сюда даже разбегание галактик укладывается, хотя Ступак о нем знать, разумеется, никак не мог (кристалл растет, всего-то и делов); но в то же время размер атомов, о которых

Ступак тоже, видимо, не мог знать, наверняка должен был бы положить минимальный предел масштабам выращиваемой структуры, или я уж совсем ничего не понимаю. Если мы хотим получить Вселенную размером с апельсин, звезды в ней должны оказаться значительно меньше атомов, а это уж ни в какие ворота. Но Ступак подобными деталями не смущался, его заворожил сам принцип. Он осаждал инстанции с ультимативным требованием: дать много денег на опыты. И при этом, как фонограф, который заело, одним коротким текстом излагал идею: Вселенная есть кристалл, а в силу закона изоморфизма кристаллов...

Я убил с неделю, теребя через ЕСИ петербургские архивы, — грустно и горько было отсюда, из Стокгольма, выкликать на дисплей информацию из города, где живешь, из университета, мимо которого ходишь домой после работы, и при этом не иметь ни возможности, ни права дать домой знать о себе, узнать, как дома дела, но из Петербурга я этого Ступака нипочем не нашел бы, — и пытался понять, какие доказательства своей концепции гений приводил или хотя бы как он объяснял, зачем ему Вселенная величиной с арбуз. Тщетно. Такой ерундой Ступак себя не утруждал. Вселенная есть кристалл. В силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной хоть с арбуз, хоть с купол Ивана Великого. Дайте много денег. Точка. Сомневаюсь, что даже в наши сытые и доброжелательные времена президент де-Сиянс Академии или, скажем, министр атомной энергетики, послушав ввалившегося к ним с таким бредом гонористого, язвительного, наглого юнца, отпустили бы средства под эту тему. Тем более при Николае-то Палыче! Во время Крымской-то катастрофы! Да

великая империя ружья приличного себе сделать не могла — не то что Вселенные отращивать! Ох, Россия... Ну а сила действия равна силе противодействия. Вместо того чтобы хоть попробовать чуток продумать аргументы, подобрать фактики поухватистее, как сделал бы на его месте любой нормальный Эйнштейн, хоть австрийский, хоть еврейский, хоть какой, вместо того чтобы замотивировать свой прожект ну любым, самым даже липовым на первый момент мотивом — скажем, хочу Вселенную в колбе новую вырастить, чтоб Отечество не тратилось, перекупая чай да кофей у заносчивых британцев, а прямо из колбы, стоящей на столе в родном Торжке, все сие извлекало невозбранно и неограниченно, — Ступак, как это в те поры модно было для простоты и удобства деления мира на белое и черное, надулся на косность самодержавия. Плюнул он на свои кристаллы и занялся противуправительственной деятельностью. И пошло, и поехало... И Россия-то у него сразу стала «выгребной ямой мировой цивилизации». И Александр, едва взойдя на престол, оказался «кровавым душителем народных чаяний, в первые же дни своей нечистой власти превзошедшим по ненависти и жестокости к собственному народу все долгое царствование своего незаконнорожденного(?) батюшки». И крестьянская реформа почему-то не чем иным, как «очередной грязной уловкой деспотизма, направленной на стравливание хлеборобов и горожан». И тут уж порулил мой Ступак в Европу...

По завершении Лапинской авантюры, бережно подлечившись на каком-то из курортов Южной Англии, он действительно вернулся к своей «пухленькой» Зинаиде Артемовне Христофоровой. Где они познакомились, где он ее в первый раз, как выразилась бы Стася, «обнял-

поцеловал», я не смог выяснить, да не очень и старался, не это было важно. Я опять, как в Симбирске, вдруг почувствовал себя взявшей след гончей — хотя, что это за след, никому не смог бы объяснить.

Хоть и обещал Ступак в том письме воротиться навсегда, но месяца через четыре, что-то такое похимичив — сохранились его счета, оплачивающиеся, как ни странно, Зинульчиком, бывшей в услужении у какого-то хельсингборгского галантерейщика, и счета эти выдавали вдруг пробудившийся интерес к химическим опытам на дому, — вновь отчалил в Англию. Потолкавшись подле ведущих британских химиков, сунувшись в Королевское общество и, видимо, нигде не найдя того, что искал, — а я никак не мог понять, что он ищет, — он опять-таки, судя по всему, на деньги живущей впроголодь «пухленькой» еще раз пересек море и обнаружился в Германии, которая к тому времени уже выдвигалась в области химических изысканий на первое место в мире. Где-то он, пожалуй, прирабатывал и сам все же — ну никак не могла Зинульчик финансировать пять месяцев его прыжков то в Берлин, то в Кенигсберг, то в Гамбург, то в Мюнхен; хотя в каждом из сохранившихся его писем к ней если не второй, то третьей фразой шло беззастенчивое, казавшееся ему самому, видимо, уже совершенно естественным требование денег. «Пышечка! — писал он, хотя от пышечки к тому времени кожа да кости остались, я видел, однажды она попала в кадр, запечатлевший вверенных ей упитанных, ухоженных, ангелоподобных детей процветающего галантерейщика. — Профессор Моммзен оказался чистой воды шарлатаном. Я ехал в Бремен совершенно напрасно. Нынче я опять в крайней нужде, и вся моя надежда на тебя, лапулька. Но

мне удалось получить совершенно достоверное известие, что доктор Рашке в Мюнхене добился больших успехов в той области, которая нас с тобою так интересуется...»

Чем бы этот Рашке ни занимался, его работы вряд ли могли в такой ситуации так уж интересовать пышечку. Это я понял из следующего, последнего полученного ею письма — и, едва разобрав первые строчки, словно удар в солнечное сплетение схлопотал и минут десять не мог сосредоточиться, с безнадежной болью и отчаянием вспоминая Стасю, всем телом ощущая, как ей тяжело сейчас, и пытаюсь уже не избавиться хотя бы, но по крайней мере до конца рабочего дня забыть давящее чувство того, что я этому идейному мерзавцу сродни. «Зинульчик! Ты прислала какие-то гроши и пишешь, что более не смогла. Пишешь, что и вперед уж не сможешь, потому как родила. Уж не знаю, мой ли то ребенок или не мой, не виделись мы с тобою, лапулька, давненько, так что всякое могло случиться, — да это и не важно. Я такой шаг с твоей стороны расцениваю как предательство. Служение великой идее не терпит мирской суеты. Непримиримая борьба за идеалы грядущего освобождения народов требует от меня всех сил. Допрежь ты всегда это понимала и, полагаю мнением, не будешь держать на меня зла за то, что вперед я воздержусь от всяких с тобою сношений. Но порадуйся за меня: я нашел наконец то, что искал...»

Это письмо было приобретено архивом уже в архиве полиции. Заметив изменения в фигуре гувернантки, галантерейщик выпер лапульку с треском. Какими-то крохами сбережений она еще сумела дотянуть до родов, сумела родить, а оклемавшись едва, не придумала ничего лучше, как идти на панель. Опыта у двадцативосьмилет-

ней русской идеалистки не было никакого по этой части. По простоте она влезла на чужой пяточок, и ее зарезал сутенер державших эту территорию дам. Что стало с ребенком, выяснить не удалось.

Буквально раздавленный, я сидел, тупо глядя на ломкие мелкие странички, покрытые бледной вязью выцветших чернил, и, забыв всю арифметику, считал на пальцах: если в конце августа — пять, значит, в конце сентября — шесть... значит, девять месяцев — в конце декабря. К началу декабря я должен все закончить. Сдохнуть, но закончить. И вернуться. Пусть поссорились, пусть видеть не хочет, пусть ненавидит уже, пусть у нее кто-нибудь другой и всегда был кто-нибудь другой — надо находиться поближе. На всякий случай. Вдруг понадобится помощь.

4

Рашке.

Рашке, Рашке, Рашке...

Вновь, в который уже раз, я на какое-то время сменил ветхие бумаги на терминал. Я так и не мог до сих пор уразуметь, что ищет Ступак, но, когда ответ высветился у меня на дисплее, я даже не удивился, подумал только с хищным удовлетворением: ага. Похоже, подсознательно я этого ждал.

Отто Дитрих Рашке, молодой, из ряда вон талантливый химик-органик, в конце пятидесятых был восходящей звездой, ему прочили блестящую будущность. Однако года с шестьдесят второго его активность сходит на нет. Он не публикуется, не участвует в ученых съездах и собраниях, не поддерживает и подчас даже резко рвет

все контакты с коллегами. Коллеги злословят и ехидно подмигивают друг другу: тема Рашке, которая выглядела очень заманчиво, видно, оказалась блефом. Ему стыдно смотреть нам в глаза! А Рашке безвыездно живет в дешевой мюнхенской гостиничке, с национальной пунктуальностью прогуливается в любую погоду с десяти до одиннадцати утра и с пяти до семи вечера по живописным набережным Изара — ясные глаза, юная мечтательная улыбка — и все чаще наезжает, оставаясь там погостить на день, на два, а потом и на неделю, на две, в имение Альвиц, принадлежащее его меценату Клаусу Хаусхофферу. Во время одной из вечерних прогулок, в апреле семидесятого года, он погибает при не вполне ясных — а попросту говоря, вполне неясных — обстоятельствах, не исключаяющих чьего-то злого умысла.

Семидесятого.

У покровителя наук Хаусхоффера на лице с детства не было мечтательной улыбки. Возможно, она и в детстве туда не забредала. Этот отпрыск благородного древнего рода, влиятельный магнат, жесткий прагматик, один из лидеров военной партии при дворе баварских Виттельсбахов. После того как в шестьдесят шестом году Бавария выступила на стороне Австрии в ее безнадежном конфликте с Пруссией и вместе с нею потерпела поражение, Хаусхоффер утратил было позиции и даже впал в немилость — но через полгода он уже обнаруживается в Берлине, доверительно беседует с Бисмарком и стремительно трансформируется в горячего поборника германского объединения. С тех пор поскольку росло влияние Гогенцоллернов в Баварии, постольку росло и влияние Хаусхоффера.

Если бы Рашке оставил больше печатных работ, если бы заявил официально о каком-то своем состоявшемся

открытии, он бы, вероятно, вошел в историю науки как один из зачинателей биохимии. С молодых ногтей его интересовало влияние органических реагентов различного свойства на состояние человеческой психики.

Ага.

Впору было дрожать от нетерпения, впору было замереть с поднятой передней лапой, как Тимотеус под сиренью в день моего отплытия. Но броска не получилось. От Рашке почти не осталось следа — только замыслы, только намётки...

Но.

Вот что он пишет моему Ступаку — видимо, в ответ на какое-то письмо, которое либо не сохранилось, либо не нашлось. «Действительно, не так давно я занимался выделением токсинов мухомора, обеспечивающих, по всей видимости, известное нам с древности явление берсеркеризма. Мне казалось очень заманчивым создать препарат, который на какое-то время, а быть может, и навсегда, притуплял бы у человека чувство страха. Как облегчил бы он, например, труды пожарных, или спасателей на водах, или бьющихся за правое дело воинов. Однако по независящим от меня обстоятельствам работу мне пришлось прервать и покинуть Геттинген...» По тону письма чувствуется, что молодого химика буквально распирает от гордости за свой ум и свои достижения, но чья-то сильная рука зажимает ему рот.

Вот что он пишет дальше: «Идея угнетения сдерживающих стимулов в человеческой душе и, так сказать, медикаментозного усиления героического начала натуры человека тоже в принципе не представляет собою ничего невозможного. По-видимому, древним народам такие естественные медикаменты были известны. Уже

сейчас можно было бы очертить круг встречающихся в природе предметов, среди которых следовало бы попытаться отыскать подобный препарат. Главная трудность заключалась бы в том, как выделить его, как сделать устойчивым, как добиться усиления его воздействия с тем, чтобы совладать с искусственно вызываемым им изменением системы ценностей не могла бы ни единая душа, пусть бы даже была б то душа, подобная ангелу Божию...»

Ага.

Так вот как собрался Ступак вдунуть «в спящих людей благородный огонь неприятия».

А идея, согласно которой революция давно бы произошла, если бы люди не были бы так привязаны к своим обывательским радостям, к женкам-буренкам, и не боялись бы кинуть в пламя все это, а потом и самих себя, гвоздем застряла у Ступака в голове. Вот что он пишет Бакунину, другу еще по балтийскому вояжу: «Михаил Александрович, голубчик! Вот вы говорите, что организовали «Интернациональное братство», тайную боевую организацию анархистов, и радуетесь, как дитя малое, надеясь, что послужит оно спичкой, коей суждено поджечь старый мир. Не послужит, не подожжет. Покуда человеки у нас вялы и благодушны, покуда не способен всякий мужчина и всякая женщина, не памятуя ни о чем, oprичь нанесенных им обид, отринуть в единое мгновение то, чем живо простацкое сердце, и на самомалейшую потугу любого деспотизма угнесть их отвечать сокрушительной местию, дело революции безнадежно. Не помогут братства, не помогут речи. Поможет, голубчик мой, великая наука, коя накопец-то начнет служить истинному делу...»

Это он пишет летом шестьдесят четвертого, уже из Мюнхена, уже повидавшись с Рашке. А вскоре их водой

не разлить, они иногда даже гуляют вместе, и молодой химик ради нового, по-русски безалаберного друга даже как-то раз начинает прогулку не в десять, а аж в три четверти одиннадцатого, ибо друг проспал и не заехал за ним вовремя. Этот потрясающий факт отметила в своем дневнике юная Грета Бюхнер, жившая напротив гостиницы Рашке и наблюдавшая его ежеутренние выходы, сидя у своего окошка.

А в сентябре шестьдесят четвертого Рашке берет Ступака с собою в Альвиц.

А годом позже Хаусхоффер, агитируя правительство Баварии за активную силовую политику и, в частности, за участие в неминуемом, по его мнению, столкновении Австрии и Пруссии, делает в кабинете министров, в присутствии короля, многозначительную оговорку: «Да, это будет еще старая война. Но ведь это не последняя война. И даю вам слово, в новых войнах у нас будут новые солдаты. Солдаты врага станут нашими солдатами».

А Рашке сидит в Альвице почти безвылазно. А в Альвице со всей Германии прибывают какие-то странные грузы: тяжелые металлоконструкции, мощные помпы, паросиловые установки и динамо-машины, бесчисленные химикаты...

А Ступак то неделями не вылезает из Альвица, то вырывается вдруг и, явно не ведая былого недостатка в средствах, колесит по коммунистическим адресам Европы. Пытается договориться с Энгельсом, но терпит неудачу; в его бумагах обнаруживается отрывок черновика письма неизвестно кому: «Фридрих туп и пассивен. Человек, собирающийся писать «Диалектику природы», ничего в природе не смыслит. Человек, призывающий к насильственному ниспровержению реакционного строя,

ничего не смыслит в насилии. С «Интернационалкой» нам не по дороге».

Зато, когда в семидесятом году в Европе появляется Нечаев, они встречаются и мгновенно становятся лучшими друзьями. Нечаев неделями позже пишет Бакунину: «Петенька меня просто очаровал. Какая воля, какой ум, какой размах! Он рассказал мне много такого, что я принял бы за прекрасную сказку, если бы он не привел доказательств. Скоро, скоро по всему миру нежданно-негаданно для врагов наших то тут, то там, ровно грибочки после дождя, начнут прорастать бесстрашные, неумолимые, беспощадные и не сдерживаемые никаким Христом воители! Петенька обещал мне большую статью для «Народной расправы», где, ничего, разумеется, определенного не говоря, постарается вдохновить этой перспективную слабеющие ряды нашего воинства». Вот этого-то, похоже, Петеньке не следовало обещать. Когда писалось это письмо, Петенька уже исчез бесследно по дороге из Лозанны в Мюнхен.

В семидесятом.

И в том же семидесятом, на торжественном праздновании дня рождения сына и наследника, Карла Хаусхоффера, счастливый отец на глазах у двух десятков ничего не понимающих гостей вложил в ладошки годовалого малыша, спокойно тарашившего глазенки на праздничный стол, благосклонно гукавшего и пускавшего пузырьки на радость роившимся вокруг него дамам, нелепый, ни на какую игрушку-то не похожий железный ящичек. И малышатик сжал его пухлыми ангельскими пальчиками и потащил в рот, но ящичек не пролезал, пришлось ограничиться угрызением углов. С бокалом шампанского стоя над отпрыском, гордый и сияющий

магнат, так ничего и не пояснив гостям ни тогда, ни впоследствии, заявил: «Сын мой! Ты младенец, и ты неоспоримый властелин этого сундучка. Ты подрастешь и станешь неоспоримым властелином сундучка побольше и посложнее. А когда ты станешь совсем взрослым, ты, я верю, будешь неоспоримым властелином всего мира. Пью за это!»

И, что называется, немедленно выпил.

Сундучок.

Деньги? Сокровища? Если бы он сказал «побольше и поценнее», я бы так и понял. Слово «поценнее» здесь просто напрашивалось. Но в письме одной из присутствовавших на церемонии дам, отправленном ею в Вену сестре, было написано именно «посложнее». Так не перепутаешь и не придумаешь. Даму это выражение, судя по письму, удивило не меньше, чем меня.

Клаус Хаусхоффер прожил еще почти двадцать лет, и все это время не покидал Альвиц ни на день. Гости, бывавшие у него в поместье — с годами их становилось все меньше и меньше, — в один голос утверждали, что у пожилого политика усталый, издерганный вид и он как бы все время ждет чего-то.

5

Мы сидели на скамье летней эстрады Рыцарского острова, и ночное озеро Меларен играло каучуковыми отражениями огней. По ту сторону темной, блестящей глади, на самом берегу Кунгсхольмена, темной тяжелой тенью громоздился бастион ратуши, вытянувшей к небу мощный стебель главной башни. Казалось, мимо вот-

вот должен, потешно тарахтя, проковылять «Соларис Рекс». Казалось, я пока не знаком со Стасей и сидящий рядом еще только должен меня познакомить с нею через целых тринадцать лет; и даже с Лизою мы только-только начали обниматься-целоваться, и все чудесное еще предстоит. Казалось, разговор должен идти о российской словесности, о том, что она неизмеримо духовнее любой иной, поэтому европейский рынок и принимает ее через час по чайной ложке. «Ты посмотри, — должен был говорить молодой и глупый я, — они даже не знают, что такое, например, любовь. Есть секс и есть брак. В первом главное — размеры гениталий, объем бюста, техничность исполнения и все такое. Во втором главное — урегулирование имущественных отношений, особенно на случай смерти или развода. И так постоянно! Вы пишете о неизвестных им вещах!»

— Все уже решено, — устало говорил я на самом деле, и говорил уже не в первый раз. — Билет у меня в кармане, утром я вылетаю в Мюнхен. Не нужно мне подстраховки, не нужно прикрытия. Я прошу вас лишь передать эти материалы Ламсдорфу.

— Риск неоправданный, Алексей Никодимович, — в который раз, и тоже устало, возражал атташе. — Безо всякой подготовки и проработки — в пекло...

— То, что Альвиц — пекло, никто мне не доказал. Риск будет куда большим, если мы без согласования с германским правительством затеем какую-то серьезную операцию на германской земле. Это варварство, и я этого не допущу. А начни согласовывать — сколько времени уйдет! Даже если мне удастся уговорить государя породственному снести с кайзером — все равно не менее недели потеряем. Это в идеальном варианте. Много

может случиться за это время — от утечки информации до новых убийств. К тому же при совместных действиях придется со всем этим, — я поболтал в воздухе гибкой дискетой, — знакомить германских коллег. А пока я не знаю, насколько Альвиц может скомпрометировать учение, которое распространяет моя газета, — на такое ознакомление я не могу пойти. Нет, все решено.

— И с какой легендой вы намерены...

— Безо всякой легенды. Туповатый, но въедливый журналист героем одного из исторических очерков выбрал анархиста Ступака. Выяснилось, что в последние годы жизни Ступак много бывал в Альвице. Не осталось ли у вас писем, воспоминаний, фотографий...

— Да за один вопрос о Ступаке, ежели Хаусхоффер его действительно убрал, вас там...

— Не каркайте. Как сказала бы сейчас одна моя знакомая, вы создаете устойчивую вибрацию между нынешним словом и грядущим событием и таким образом резко увеличиваете вероятность нежелательного исхода. Надо говорить: все будет хорошо, все будет хорошо — и тогда все будет хорошо. — Я помолчал. — На этот случай, собственно, я и прошу вас передать всю собранную мной информацию в центр.

— Извините, Алексей Никодимович, но... если вы все-таки не вернетесь?

— Если я не вернусь, думать о том, что делать с Альвицем, уже не мне. — Помолчал. — Вернусь. Вы не представляете, сколько у меня еще долгов по отношению к двум очень хорошим взрослым и двум совершенно замечательным маленьким людям!

В слабом свете далеких городских огней я увидел, как атташе неуверенно улыбнулся мне в ответ.

Со стороны устья Барнус-викен, там, где она впадает в Меларен, донеслось приближающееся, натужно побряхтывающее тарактение. Я оглянулся. Между нами и ратушей, мерцая тусклыми огнями, медленно смещался кургузый катерок. Я присмотрелся — и глазам не поверил. Демонстративно не скрывая ни радости, ни национальности, по-мальчишески подпрыгнул и заорал на пол-острова:

— Все будет хорошо!

Это плыл «Соларис Рекс».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

АЛЬВИЦ

1

У развилки, там, где автострада Мюнхен — аэропорт отстреливает короткий аппендикс к загородной резиденции Виттельсбахов, я почувствовал «хвост». Поглядывая в зеркальце заднего вида, я мягко притормозил свою взятую в порту напрокат «бээмвэшку» — местные патриоты вот уже третий год покупали исключительно продукцию «Баварских машиностроительных» и приезжим сдавали исключительно ее же; шедший за мною «опель» приблизился было, затем тоже стал сбрасывать скорость. Я съехал на обочину и, чуть накренившись, заскрипев правыми протекторами по песку, остановился. Вышел из авто, шевеля плечами и локтями, будто разминаясь после долгого сидения за рулем, и встал столбом в трех шагах

от «БМВ», с блаженно туристическим видом любясь пожухлым ноябрьским ландшафтом Баварского плоскогорья, окаймленным с юга дальними отрогами Альп, накрытым холодной синевой небес и слепящими, расплывчато-волокнистыми полосами перистых облаков. «Опель» нерешительно протащился мимо; в нем сидели двое, и в мою сторону они с очевидной старательностью даже не взглянули, хотя что может быть естественнее — скользнуть безразлично-любопытным взглядом по ехавшему впереди и вдруг очутившемуся сзади. Ребята, похоже, были дюжие. Началось. Они остановились впереди, не удалившись и на сотню метров. Ну и дальше что? Мимо с коротким шипением то и дело проносились взад-вперед разноцветные автомобили; преобладали, разумеется, «БМВ». Странно, что они не взяли эту марку.

Сознательно ставя своих пастухов в неловкое положение, я нахально сел прямо на сухую траву у обочины и, не торопясь, с удовольствием закурил, продолжая медленно водить взглядом вправо-влево. Действительно, было красиво, что и говорить. Передние дверцы «опеля», как крылья бабочки, открылись одновременно, и пастухи, о чем-то беседуя, вышли на свет божий. За рулем — тот вообще громила. У меня как-то сразу заныл раненный в Симбирске бок. Давненько не давал о себе знать. Осень, что ли, чувствует или перемену погоды, пошутил я сам с собой, досадливо прикидывая габариты и возможности шофера. А пассажир — явный интеллектурал, «генератор идей». Одет строго, даже немного чопорно, черепаховые очки. Уроженец Кенигсберга, не иначе. Или какое-нибудь поместье неподалеку. Шофер несколько раз ударил носком ботинка по левому заднему протектору, указывая на него обеими руками и что-то

втолковывая пассажиру; пассажир с неудовольствием кивал. Бедняжки. Какие-то у них, видите ли, неполадки. Ваньку валяют. Или у меня уже мания преследования? Такой поводок достоверно расшифровывается в тридцать секунд. Ладно, поиграем. Я докурил, кинул окурок в кювет, вернулся в авто и покатил дальше. Со свистом пронесся мимо них — шофер, полезший было, пока я докуривал, в багажник, тут же его захлопнул, не глядя на меня с прежней старательностью, а интеллигент безразлично взглянул. Праздные, находящиеся в хорошем настроении люди нередко склонны беззлобно поерничать над ближними своими, у которых имеют место маленькие, не представляющие никакой опасности, но досадные неприятности — это я и изобразил: с веселой улыбкой помахал интеллигенту рукой и громко крикнул по-русски в полуоткрытое окно: «Не горюйте, ребята!» Вздернул скорость до ста семидесяти. «Опель», подрагивая, быстро съезжился в зеркальце. Все-таки мания преследования.

Нет. Пропустили расфуфыренный «ниссан», поставив его перед собою, и тоже двинулись. Детские штучки. Даже не очень скрываются. Так, разыгрывают элементарную маскировку для порядка, чтобы не выглядеть совсем уж подурячки или даже чтобы я вернее их заметил. И чего они хотят? На нервы жмут? Дураки вы, ребята. После сменного дежурства жен нервов у меня нет вообще.

Ладно, играем дальше.

Въехал в Швабинг. Улицы были полны авто, отслеживать поводок стало труднее — но нет-нет да и мелькала позади покатая зеленая спинка, уже знакомая до тошноты. Принял восточнее и шустро перескочил в Богенхаузен. И мой сурок со мною. Остановился на округлой площади пе-

ред собором Фрауэнкирхе — великолепный образчик, что и говорить, просто-таки поет всеми линиями; но, сказать по совести, мне было не до того. Вовремя вспомнил, что я корреспондент, и, цапнув с заднего сиденья «Канон», вылез из авто. Дружок — милый пастушок тормознул на той стороне площади. Ну, ребята, такая ваша планида — терпеть. Минут двадцать я суетился вокруг собора, прикладываясь к видеоискателю и сокрушенно поматывая головой — нет, дескать, ракурс не тот; нет, режется... Щелкнул раза четыре и так, и этак. Зеленая спинка покорно и безмолвно, как восточная женщина, тосковала в жидкой, дырявой тени под почти облетевшими вязами.

Я увлекся, хоть какая-то польза от этой игры. Нырнул в «БМВ» и медленно покатил к Изару, выпрыгивая, едва лишь в глаза бросалось что-либо живописное, — и ну вертеть фотоаппаратом, припадать на колено, щелкать... Чувствуя на затылке тяжелые, ни на миг не отлипающие присоски взглядов. И еще успевал развлекать себя — да и, что греха таить, успокаивать, это наглое и неприкрытое преследование все ж таки давило на отсутствующие у меня нервы, — рисуя сладкую грезу: сижу это я в затемненной гостиной со Стаськиным короедом на колене, сестренки двумя уютными хохлатками устроились на диванчике, Полушка, как она это любит, сама вставляет в проектор слайды, а я приговариваю, слегка покачивая теплого малышастика ногой: «Ну-ка, Поленька, теперь эту... Вот, лапульки мои, Фрауэнкирхе, пятнадцатый век, елы-палы, готика. Вот, пышечки, Театинская церковь, семнадцатый век. Вот Глиптотека, это классицизм. Вот отель «Оттон», назван так в честь императора Оттона Виттельсбаха, тут я жил... Что, интересно? Интересный я у вас мужикашка?»

Действительно, интересно — которая первая заедет мне по рылу?

Надеюсь, что хоть не Поля.

Я припарковался на полупустой стоянке у «Оттона», в котором еще с аэродрома заказал номер. Отель стоял в великолепном месте, на самом берегу Изара, у излучины, и я опять щелкнул пару кадров. Летом «Оттон», вероятно, утопал в зелени, но сейчас листья на дубах были даже не золотыми, а по-ноябрьски мертвенно-коричневыми и от порывов ветра скреблись друг о друга, как жестяные. Багаж мой, вероятно, уже в номере — если только его не исследуют где-нибудь; все может быть, ежели так началось. Вон они, мои лапульки, куда ж я без них — остановились в пятнадцати шагах от меня, у газетного автомата; газеточку им приспичило купить, моим пухленьким...

Я опять пошевелил плечами, разминаясь, и огляделся. Забавно. Почти на этом месте сто тридцать лет назад горбился отелишко, где прожил последний десяток лет своей короткой жизни бедняга Рашке. А, собственно, почему бедняга? Токсин мухомора, видите ли, ему подавай. Заглушить чувство страха у сражающихся за правое дело воинов... Полагаю, тот воин, который уконтрапупил химика по затылку, взял за штаны и перекинул через парапет набережной в ледяной Изар, был абсолютно убежден в правоте своего дела.

И все ж таки — не Лапинский, не Ткачев, не император Николай Павлович. Бедняга, одно слово.

И дома, где жила и писала свой дневник, так мне помогший, Грета Бюхнер, тоже нет в помине. Снесли давно. Под сквер перед «Оттоном». И дубы вон как уже выросли.

Я пошел к отелю, почти машинально бросив очередной взгляд на пастухов — и едва не сбился с шага; и деланный зев, который я начал было изображать для вящей конспирации, прямо-таки защелкнулся у меня сам собой.

Интеллектуал сосредоточенно вынимал из автомата «Правду». И на его уставленной в мою сторону прямой спине буквально неоновая реклама полыхала: «Видишь? Я покупаю «Правду!»» Дальше — больше. Он тут же развернул газету и, как бы увлеченный чтением донельзя, ничего окрест не замечая, медленно двинулся в мою сторону. Зрелище было просто гротескное: широкие, как паруса, родные листы с за версту узнаваемым шрифтом названия обзавелись вдруг тощими прусскими ногами и шли на меня. Интеллектуал едва не коснулся моего плеча бумажным краем — я оторопело посторонился; а он, так и продолжая замороженно глядеть на вторую полосу, куда-то между статейными заголовками «Гримасы рынка» и «Гидропонике на Таймыре — быть!», медленно, напряженно прошел мимо и удалился в одну из аллей сквера. Он явно давал мне какой-то знак — но какой? Что я дешифрован? Но зачем? Или это очередной этап психологического прессинга? Как бы следя в туристической расслабленности за полетом сороки, я провел взглядом влево, к округлой спинке «опеля», — громила, скрестив руки на баранке и уложив на них голову ко мне затылком, показательно дремал. Я решил.

Интеллектуал, упорно продолжая делать вид, что от таймырской гидропонике зависит вся его будущность, успел уйти шагов на семьдесят вперед и почти миновал сквер на пути к проезжей аллее по ту сторону окружавшей «Оттон» зеленой зоны. В сквере было безлюдно; перистые облака, которые я с таким удовольствием созер-

цал двумя часами раньше, превратились в сплошную комковатую массу, забившую небосвод, — от этого стало сумеречно и как-то зябко... Ах, боже ж ты мой, да не от облаков тебе зябко, сказал я себе, и эта догадка меня взбудрила. Я пошел за интеллектуалом. А когда он, не доходя десятка шагов до Тирпиц-аллее, остановился, опустил газету и обернулся, глядя сквозь черепаховые очки прямо на меня, я огладил себя ладонями — невиннейший жест, я как бы проверяю, не помялся ли костюм, нет ли где неожиданных складок, но профессиональный глаз сразу поймет, что я демонстрирую отсутствие оружия и в карманах, и под мышками, и где угодно. Он, явно спеша, сложил «Правду» — почти скомкал, чтобы успеть, пока я иду, — и повторил мое движение. С души у меня чуть отлегло. А то я уж готов был к чему угодно — хоть в кусты нырять, хоть маятник качать на мирной дорожке, заваленной сухой листвой... С другой стороны, что ему, он на своей земле, и он не один — шарахнут сейчас в спину или из тех же кустов выскочат и брызнут в рыло гадостью; или вообще... вдунут как-нибудь благородный огонь неприятия простацких радостей и презрение к женкам-буренкам...

Наверное, поразительное чувство свободы и независимости должен испытывать человек, для которого все это действительно ничего не значит по сравнению с собственной персоной и тщательно взлелеянной манией непримиримой борьбы за какой-нибудь живорезный идеал. Похоже, именно такое состояние свободы в старину именовали мужественностью. Не представить...

И как, наверное, муторно и тоскливо становится этому свободному, живущему лишь собой да борьбой, ежели хоть один день у него пройдет без того, чтобы не чет-

вертовать, не изнасиловать, не предать кого-нибудь нормального во имя идеала... Ведь эти четвертования и предательства — единственное, чем утверждает он себя в мире. Иного следа нет.

Я подошел к интеллектуалу вплотную и остановился. Отчетливо спросил по-русски:

— Вы, похоже, хотите мне что-то сказать?

Он кивнул.

— Да, — тоже по-русски ответил он. — Я рад, что вы так быстро и так правильно меня поняли.

Языком он владел прекрасно. Акцент не сильнее, чем, скажем, у Крууса.

— Слушаю вас, — проговорил я.

Он помедлил.

— Я имею честь говорить с корреспондентом газеты «Правда» Алексеем Никодимовичем Чернышовым?

— Истинно так.

Он снова помедлил.

— А может быть, с полковником Александром Львовичем Трубецким?

— Может быть, — равнодушно ответил я, а у самого буквально сердце упало. Где ж это я так проколотся?

Он протянул руку и утешительно тронул меня за локоть. И вдруг улыбнулся мне. На костистом узком лице, почти наполовину спрятанном под очками, улыбка оказалась неожиданно мягкой и светлой.

— Не расстраивайтесь, полковник. Вы не допускали профессиональных ошибок. В том, что мы расшифровали вас, нет ни грана вашей вины. — Он вздохнул. — Вы никак не могли знать, как не могли этого знать и те, кто вас послал, что вилла Альвиц давно вызывает у нас пристальный интерес и мюнхенский узел ЕСИ много лет назад оборудован небольшой автоматической приставкой.

Он опять вздохнул, и в этом вздохе явно скользило облегчение. Похоже, подзывая и поджидая меня, он тоже перенервничал и теперь помаленьку распускался. Видимо, рад, что все кончилось без недоразумений.

— Как только откуда бы то ни было поступает запрос, в котором фигурируют «Альвиц» или «Хаусхоффер», на соответствующий терминал в Берлине сразу уходит информация о том, какой запрос поступил, откуда, что передано в ответ. Первый сигнал мы получили более месяца назад. Пяти недель было достаточно, чтобы разобраться, кто такой этот Чернышов, столь интересующийся Альвицем. Тем более что характер ваших запросов не оставлял практически никаких сомнений в том, в связи с каким расследованием они поступают. Интересоваться сектами коммунистов-асасинов мог скорее всего человек, занимающийся каким-то актом террора в сфере современного коммунизма.

Ловко, черт. Действительно, предположить, что у них тут зуб на Хаусхоффера нынешнего, было невозможно.

А у кого, собственно, у них?

— Коль скоро вы хотели только побеседовать, зачем была эта слезка? — осторожно спросил я. — Я вам нервы мотал, вы — мне...

Он чуть поджал губы. Потом ответил:

— Да, видимо, я виноват перед вами. Но я просто не нашел другого способа дать вам понять, что я знаю, кто вы, и хочу встретиться с вами, но на встрече отнюдь не настаиваю. Сочти вы для себя более целесообразным уклониться от этого разговора — я не стал бы его навязывать. Клянусь честью, у нас нет никакого желания вмешиваться в вашу работу или тем более препятствовать ей. Если мои действия показались вам бестактными — душевно прошу простить.

Он чуть склонил голову, потом снова поднял. Почти без колебаний я протянул ему руку.

Потом он показал мне удостоверение с имперским орлом на корочке и, уже не так напряженно, проговорил:

— Я сотрудник четвертого отдела Управления имперской безопасности Хайнрих фон Крейвиц. По чину равен вам. По титулу несколько ниже, барон.

— Восточная Пруссия? — спросил я.

— Заметно? — ответил он вопросом на вопрос, и в его голосе прозвучала спокойная гордость. — Да, вы угадали. Так... Может быть, выпьем по кружке пива? Здесь совсем рядом...

— Простите, барон, но я так долго не высыпался в Стокгольме и совсем сник в дороге. Боюсь, мне сейчас даже пиво противопоказано. Не сочтите, бога ради, мой отказ за демонстративный.

— В таком случае это я еще раз прошу у вас прощения, князь. Та неприличная поспешность, с которой я спровоцировал нашу встречу, объясняется лишь опасением, что вы уже сегодня попытаетесь посетить Альвиц, а я никак не хотел упустить возможность побеседовать с вами предварительно. Против прогулки по парку вы не возражаете?

— Никоим образом.

— Я отниму у вас не более получаса.

— Я к вашим услугам, барон.

Мы медленно пошли по одной из боковых дорожек.

— Вы, безусловно, больше меня знаете о том, что происходило и происходит в Альвице, — начал барон.

Я прервал его:

— Даю вам слово коммуниста... слово дворянина, если вам угодно, — я ничего об этом не знаю!

Он чуть пожевал узкими губами. Внезапный порыв ветра с его стороны вдруг донес до меня тонкий запах хорошего одеколona.

— Воля ваша, но тогда я сформулирую так: вы догадываетесь о большем. В моем распоряжении лишь та информация, которую вы получили по ЕСИ, но в вашем — и та, которую вы получили в архиве Социнтерна, и та, которая, неведомо каким образом, вообще повела ваше расследование путем исторических изысканий. Я ведь совершенно не представляю, что за странные мотивы вас к этому подвигли. И не спрашиваю вас ни о чем. Когда и чем поделиться со мною, и поделиться ли вообще — зависит только от вас.

— Боюсь, я не смогу этого решить, пока не доведу расследование до конца.

— Я был уверен, что вы ответите именно так. Для нас, однако, представляется бесспорным, что на вилле Альвиц сто тридцать лет назад было совершено некое открытие. Для нас представляется почти бесспорным, что оно было воплощено в жизнь. В свое время я тщательнейшим образом анализировал все счета Клауса Хаусхоффера, все заказы, размещенные им на различных заводах тогдашней Германии, но ни к какому выводу не пришел. То ли он строил какой-то герметичный бункер, скорее всего подземный. То ли он строил лабораторию, где смог бы синтезировать боевые отравляющие вещества, — уже в этом случае он значительно обогнал свое время, хотя, видит бог, далеко не в том деле, каким я мог бы восхищаться. То ли... но не буду утомлять вас, эти предположения гроша ломаного не стоят, как говорят в вашей стране. Так или иначе, некий чрезвычайно существенный результат был достигнут, ибо, если бы он до-

стигнут не был, Хаусхоффер не избавился бы от своих ученых... Вы ведь тоже убеждены, князь, что и Рашке, и Ступак были ликвидированы по распоряжению Хаусхоффера, когда они дали ему все, что могли?

— Да, — признался я, — убежден.

— Роль Ступака между тем для меня совершенно не ясна, — сказал фон Крейвиц. — Рашке, судя по всему, уже с конца пятидесятых пользовался благосклонностью Хаусхоффера, целиком зависел от его финансовой поддержки и работал на него.

— А между тем именно Ступак был вдохновителем того проекта, который оказался настолько серьезен по своим результатам, что вынудил Хаусхоффера убить ученых. Простите, барон, но мне несимпатичны эти эвфемизмы: «избавиться», «ликвидировать»... Убийца — убивает, и все.

— Вы правы.

— Хронология событий выглядит так. Вначале Хаусхоффер находит Рашке, берет его под свое крыло и изолирует от научного мира. Что дает Рашке Хаусхофферу? Пытается, похоже, синтезировать препарат, который лишил бы человека страха.

— Да, да, именно эта тема и привлекла внимание Хаусхоффера к Рашке.

— И она же привлекла к нему Ступака. Ступак, обуреваемый маниакальной идеей вызвать революцию путем повышения агрессивности у человека...

— Ах вот как? — не удержался фон Крейвиц.

— Вы не знали этого?

Он коротко улыбнулся:

— Откуда? Будьте осторожны, князь. Если вы не хотите мне рассказывать чего-то, лучше не рассказывайте ничего. Я очень мало знаю.

— Вздор, барон, вздор. Мы коллеги. И, как я понимаю, опасаемся одного и того же. Ступак рассчитывал на то, что Рашке снабдит его необходимым препаратом. Но у Ступака какой-то свой план, химия Рашке входит в него лишь как составная часть. Ведь именно встреча Ступака с Рашке высекла искру! Именно после того, как они оба стали бывать у Хаусхоффера, в Альвиц пошли заказы, о которых вы говорили!

— Да, пожалуй, что так, — задумчиво согласился фон Крейвиц. — И именно после убийства обоих ученых Хаусхоффер с полной серьезностью начинает говорить о власти над миром.

— Ах, вас тоже насторожила эта фраза?

— Еще бы!

— Что это за сундучок, по-вашему, барон?

— Не имею ни малейшего понятия.

Мы помолчали. Ветер усиливался; листья скреблись на деревьях и с крысиным шуршанием ползали по земле.

— Одним словом, — вернулся к прерванной линии разговора барон, — хотя у Хаусхоффера, по всей видимости, что-то не получилось или получилось не так, как он рассчитывал, мы опасаемся, что созданное Рашке и Ступаком, чем бы оно ни было, представляет собой угрозу для современного мира.

— Собранные мною факты, — ответил я, — хотя я и не могу, к сожалению, сказать, какого они характера, подтверждают ваши опасения.

— Вот оно что, — чуть помедлив, проговорил фон Крейвиц. — Тем более. В таком случае мы действительно делаем одно и то же дело, князь. Но при всех этих абстрактных — во всяком случае, при моем объеме сведений — опасениях мы не имеем никакого предлога, что-

бы тщательно обыскать Альвиц или допросить живущего там безвыездно Альберта Хаусхоффера, который, безусловно, является больным... во всяком случае, очень странным человеком.

— Это правнук?

— Представьте — внук... Пару лет назад мы, в полном отчаянии, дошли до такой низости, как тайная засылка на виллу наших людей под видом электромонтеров, менявших в усадьбе проводку.

— Ничего?

— Ничего. Усадьба как усадьба. Ветшает.

— Подземный бункер?

— Никаких следов. Это не значит, конечно, что его там нет. Значит лишь, что не нашли никаких его следов. У агентов было очень мало времени... Но порой мне кажется, что я, много лет занимающийся этой проблемой, просто маньяк. Параноик.

— Я не могу нынче же рассеять эти ваши сомнения, барон, но, повторяю, материал, который нами собран, ваши давние опасения скорее подтверждает, нежели опровергает.

— Благодарю. Так вот... Я шел на встречу с вами с одним предложением, теперь у меня их два. Начну с первого. Как я понимаю, у вас есть необходимый предлог, чтобы проникнуть в Альвиц?

— Не лучший, но за неимением гербовой пишут на простой.

— Простите... а, это поговорка. Понял. При благоприятном течении событий вы, будем надеяться, выйдете из ворот Альвица гораздо более информированным, чем вошли туда.

— Хочется верить.

— Смею ли я просить вас о любезности познакомить меня с тем, что вам удастся узнать?

— Барон, я прекрасно понимаю ваши чувства. Но сейчас я не могу сказать вам ни да, ни нет. Все будет зависеть от того, что именно я там узнаю.

Фон Крейвиц, глядя себе под ноги, тихонько посвистел сквозь зубы. Поддал ногой какую-то веточку.

— Кажется, я сообразил. В Альвиц вас привело расследование одного убийства и одного покушения на убийство. И то и другое выглядят как политические акции. Пришли вы сюда через биографию члена раннекоммунистической секты асасинов. Сами вы коммунист. Вы опасаетесь, что полученная в Альвице информация нанесет удар по вашей религии.

— Не только опасуюсь — я сильнейшим образом переживаю такую возможность.

— Что ж. Это свято... Тут нечего сказать. Кроме того, что, если по возвращении вы сочтете возможным поделиться с имперской безопасностью полученными сведениями или хотя бы какой-то частью их, мы будем вам крайне признательны.

— Я даю слово учитывать интересы имперской безопасности по мере сил, барон.

— Благодарю. Теперь второе. Признаюсь, пока я не познакомился с вами, князь, этот вариант мне даже в голову не приходило рассматривать, он меня не волновал. Предположим, вы не выйдете из ворот Альвица.

Ему я не мог сказать: «Не каркайте, не создавайте устойчивую вибрацию...» Я лишь кивнул:

— Предположим.

— Какие инструкции даны вашим людям на этот случай?

— У меня нет здесь никаких людей.

Что-то дрогнуло в лице фон Крейвица.

— Вы идете... без подстраховки? — осторожно спросил он.

— Журналист Чернышов как частное лицо в поисках материала для своих очерков вполне мог посетить Альвиц на свой страх и риск. — Я пожал плечами. — Предпринимать что-то более масштабное без тщательной дипломатической подготовки было бы в высшей степени неэтично по отношению к Германии и германской короне. Через своего атташе в Стокгольме я это категорически запретил. Официальное согласование заняло бы слишком много времени, тогда как каждый день, возможно, чреват новым преступлением.

Фон Крейвиц скользнул по мне быстрым испытующим взглядом и бесстрастно уронил:

— Вы дворянин.

— Полно.

— Но в таком случае мое второе предложение приобретает еще больший смысл. Мы могли бы считать вас одновременно как бы и нашим посланцем. В таком случае, если вы не дадите о себе знать в течение, скажем, пяти...

— Десяти.

— Не долговато ли?

— Мне кажется, это не тот случай, где стоит дергаться, считая часы.

— Воля ваша. В течение десяти дней, мы, во-первых, получили бы желанный предлог как следует перетряхнуть Альвиц — шутка ли сказать, исчез человек, да к тому же иностранец, да к тому же журналист; во-вторых... или... — и он неожиданно смутился, даже порозовел чуток, — вернее, во-первых... возможно, успели бы вам помочь в затруднительном положении.

Я невольно улыбнулся — и он улыбнулся своей неяркой светлой улыбкой мне в ответ.

— Благодарю и польщен, — сказал я. — Если ваших полномочий достает для заключения подобных соглашений, давайте считать, что это наша совместная операция.

На лице его отразилось облегченное удовлетворение.

— В таком случае у меня все, — сказал он. — Я очень рад встрече.

— Я тоже. И крайне признателен вам.

— Десять дней мы будем отсчитывать...

— От сегодняшнего вечера.

— Хорошо. Найти меня вам будет легко и лично, и по телефону. Отель «Оттон», номер 236.

— А у меня 235! — вырвалось у меня.

С абсолютно невозмутимым видом фон Крейвиц сказал:

— Какое неожиданное совпадение.

Я, усмехнувшись, только головой покачал.

— А сейчас, князь, имею честь откланяться. Вы, вероятно, давно уже хотите отдохнуть. А мне нужно немедленно доложить Берлину о результатах встречи, там ждут с нетерпением. Душевно желаю удачи.

— Постараюсь оправдать доверие, барон.

Мы обменялись крепким рукопожатием; потом фон Крейвиц повернулся и, прямой как гвоздь, пошел к своей зеленой спинке с неловко скомканной «Правдой» в левой руке. Мы несколько раз проходили мимо урн, но ему, видимо, совестно показалось выбрасывать газету при мне. Сухие коричневые листья, усыпающие дорожку, разлетались из-под его ног. Я пожалел, что у меня нет с собой фотоаппарата.

А вот, пышечки мои, контрразведчик германского рейха, очень порядочный и милый человек. Правда, интересно?

2

Усадьба Альвиц располагалась верстах в тридцати пяти от Мюнхена, в уютной, уединенной долине. Когда я подъехал, уже почти стемнело. Ветер несся в долине, словно в трубе; мял и тряс сухие метелочки трав, шумел, прорываясь сквозь почти уже голые кроны деревьев старого, запущенного парка. И само здание усадьбы даже в густых сумерках ноябрьского вечера не умело спрятать своей ветхости, старческой обвислости и, казалось, какой-то небритости. Хотя когда-то оно было, по-видимому, великолепным.

Старый пес, припадая на заднюю левую ногу, облысевший и грустный, вышел из темноты на свет фар и молча понюхал переднее колесо. Я осторожно, чтобы ненароком не ушибить его, открыл дверцу и вышел. Ноги чуть затекли. Все-таки устал я за эти месяцы. Полчаса за рулем, и уже сводит мышцы. Отдохнуть бы пора. Жаль, лето кончилось, а на море так и не попали. А куда-нибудь в то полушарие махнуть нам, пожалуй, не по деньгам. Тьфу, какое там море — ведь рожать скоро! Только бы все обошлось... Пес, топорща голые уши, блестя мокрыми глазами, понюхал мою ногу и заворчал. Шумел ветер.

— Ну не ругайся, не ругайся, — сказал я примирительно.

Пес поднял голову и хрипло рявкнул один раз. Безо всякой злобы — просто, видимо, сообщил хозяину о моем появлении.

На втором этаже осветилось окно. Я стоял неподвижно, и пес стоял неподвижно. Совсем стемнело, и тьма упруго давила в лицо ветром; то и дело слышался костяной перестук невидимых ветвей. Светлое окно открылось, и на ветхий балкон — нипочем бы не решился на него встать, рухнуть может в любую минуту — выступил длинный черный силуэт.

— Кто здесь? — крикнул он. Я знал немецкий хуже, чем фон Крейвиц — русский, но делать было нечего.

— Я хотел бы увидеть господина Альберта Хаусхоффера! — громко ответил я, задрал лицо и поднеся одну ладонь полурупором ко рту. — Я приехал из Швеции, чтобы увидеться с ним. В усадьбе нет телефона, и поэтому я...

— Нет и не будет, — ответил силуэт с балкона. — Подождите, я сейчас спущусь. Гиммлер, это свои.

Последняя фраза явно была предназначена псу. Странная кличка, подумал я, пряча руки в карманы куртки. Ладони мерзли на ветру.

Зажглась лампа над входом, осветив потрескавшиеся резные двери и ведущие к ним шербохатые ступени, огороженные покосившимися металлическими перилами. Заскрежетал внутри засов, и одна створка натужно отворилась. Пес неторопливо поднялся по ступенькам и, остановившись, обернулся на меня. В белом, мертвенном свете обвисшего плафона было видно, как порывы ветра треплют остатки выцветшей шерсти на его спине. В проплешинах неприятно, по-нутрянному, розовела кожа.

Человек выступил из двери.

— Что вы стоите? — спросил он. — Поднимайтесь сюда. Я мерзну.

Я поспешно пошел вслед за псом.

Человек был высок, худ и сутул. И очень стар. И очень похож на кого-то, я никак не мог вспомнить на кого. Пропуская меня в дом, он чуть посторонился. За что-то зацепился ногой, или просто оступился неловко, и едва не потерял равновесия. Я успел поддержать его за локоть.

— Благодарю, — сухо сказал он. Пес искательно смотрел на хозяина снаружи, вываленный язык чуть подрагивал. — Хочешь послушать, о чем мы будем говорить? — спросил старик пса. — Застарелая привычка?

Пес коротко, моляще проскулил.

— Идем, — решил старик, и пес тут же переступил через порог. — Я Альберт Хаусхоффер. Чем могу служить?

В более мягком свете прихожей я вдруг понял, на кого похож владелец Альвица, и от этого открытия мурашки поползли у меня по спине.

У старика было лицо Кисленко.

Нет, не в том смысле, что они были похожи. Совсем не похожи. Но я не мог отделаться от ощущения, что та же самая жестокая и долгая беда, ожог которой почудился мне на опрокинутом лице умирающего техника в далекой, оставшейся в июне тюратамской больнице, оставила свои следы и на длинном лице Хаусхоффера. Только старик сумел пройти через нее, сохранив рассудок.

Или хотя бы его часть. Я вспомнил слова фон Крейвица. Да, владелец усадьбы действительно был странный человек, видно с первого взгляда. Но черный пепел страдания, вьвшийся во все его поры, заставил мое сердце сжаться.

Этому человеку я не мог лгать.

— У вас не шведский акцент, — сказал Хаусхоффер.

— Русский, — ответил я.

— Это уже интересно.

Пес стоял у ноги хозяина и пытливо смотрел на меня. И старик смотрел. Каждый с высоты своего роста: пес снизу, старик сверху.

— Я полковник МГБ России Трубецкой, — спокойно проговорил я, почему-то точно зная, что от того, скажу я сейчас правду или нет, будет зависеть все. В том числе и моя жизнь. И, возможно, не только моя. — Я расследую ряд загадочных преступлений. В связи с этим у меня есть к вам, господин Хаусхоффер, несколько вопросов. Германское правительство о моем визите к вам осведомлено.

Пес опять открыл пасть, вывалил язык и шумно, часто задышал. Старик очень долго смотрел на меня молча, и я никак не мог понять, что означает его взгляд, и был готов ко всему.

Сможет ли он здесь, в родных стенах, убить меня так, что я не успею ничего понять?

Вероятнее всего, да.

Заболел бок.

— Идемте, — сказал старик.

Мы прошли в глубь дома через четыре комнаты, расположенные анфиладой, и в каждой из них старик на мгновение останавливался у двери, гася свет. Пес, цокая когтями по паркету и время от времени чуть оскальзываясь, трусил рядом. В которой из этих комнат покойник Клаус дарил годовалому отцу этого старика загадочный скипетр несостоявшегося царствования? Роскошная ветхость... ветхая роскошь...

По отчаянно визжащей, трясущейся винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж.

— Вы не боитесь здесь ходить? — спросил я.

— Я уже ничего не боюсь.

— А если упадете не вы, а кто-либо из тех, кто здесь бывает?

— Здесь никто не бывает.

— А если упадет ваша собака?

Старик остановился. Эта мысль, видимо, не пришла ему в голову. Он оглянулся на пса: бедняга Гиммлер, прискуливая от напряжения, с трудом выдавливал старческое тело со ступеньки на ступеньку и смотрел на владельца умоляюще и укоризненно.

— Вам было бы жаль мою собаку?

— Конечно.

— Какое вам дело до нее?

Я пожал плечами.

— Никакого. Жаль, и все.

Старик двинулся дальше, проворчав:

— Он идет здесь впервые за три года.

Мы пришли в ту комнату с балконом, из которой он показался вначале. Догорал камин. У большого овального стола тяжко раскорячились протертые плюшевые кресла, им было лет сто. Старик повел рукой:

— Располагайтесь в любом. Портвейн, коньяк? Водка?

— Рюмку коньяку, если можно.

Старик обернулся ко мне от темного, с открытой створкой казавшегося бездонным шкапа и вдруг лукаво, молодо прищурился.

— Для хорошего человека ничего не жалко, — произнес он на ужасающем, но вполне понимаемом русском. Вероятно, так я говорил Ираклию «дидад гмадлобт».

Рюмка коньяку мне действительно была нужна. Я устал и отчего-то продрог. И очень нервничал. Этот старик был похож на главаря подпольной банды террористов, как я — на императора ацтеков.

Мы пригубили. Мягкий, розовый свет стоящей на краю стола старомодной лампы перемешивался и не мог перемешаться с дерганным оранжевым светом камина. Двойные тени лежали на стенах, одна была неподвижной, другая неприятно пульсировала и плясала.

— Я буду с вами абсолютно откровенен, и если что-то упусти, то лишь для краткости, — сказал я. — Преступления, которые я расследую, имеют ряд отличительных признаков. Это, во-первых, немотивированность или псевдомотивированность. Во-вторых, они всегда связаны с резким, ничем не объяснимым повышением агрессивности у преступника, оно буквально сходно с помешательством. В-третьих...

Очень жгато, не называя никаких имен и не приводя никаких фактов, я изложил старику причины, по которым приехал. Он долго молчал, вертя в пальцах давно опустошенную рюмку. Потом пробормотал, глядя в пустоту:

— Значит, они все-таки выходят... Как глупо!

Я смолчал, но внутри у меня будто мясорубка провернулась. Хаусхоффер взял бутылку и наполнил свою рюмку до краев.

— За вас, господин Трубецкой.

— И за вас, господин Ха...

— Нет-нет! Я здесь ни при чем. За вас. — Он выпил залпом. — Вы первый честный работник спецслужбы, которого я встречаю в своей жизни. — Протер уголки заслезившихся глаз мизинцем. — А то наезжают тут время от времени провода чинить. Или вместо старика, который привозит продукты, явится бравый офицер, одежду возчика-то увидевший первый раз за пять минут до того, как ехать ко мне на маскарад... «Ваш возчик заболел, прислал меня»... А сам, пока я разбираю пакеты,

шась-шась по пристройкам. Смешно и противно. И обидно. Для человека, который десять лет общался с гестапо, эти ужимки райской полиции...

— Что? — не понял я.

Он помедлил, набычась.

— Простите. Я привык разговаривать сам с собой, употребляя мне одному известные слова.

— Почему райской?

Он налил себе еще. Я сделал глоток. Держа рюмку у самого лица, он сказал:

— Конечно, райской. Вы ведь и не знаете, что живете в раю. У вас свои трудности, свои неурядицы, свои болячки, свои преступники даже — и вы понятия не имеете, что все это... рай.

— Пока не понимаю вас, господин Хаусхоффер, — осторожно сказал я.

— Разумеется. И тем не менее вы своего, кажется, добились. Отец много раз предупреждал: если Иван начнет что-то делать, по-настоящему очертя голову — вот как вы представились мне, — он всегда добьется успеха. Всегда. Но фюрер... — Он не договорил и лишь пренебрежительно, презрительно даже, поболтал в воздухе ладонью. Помолчал. — В конце концов мне скоро умирать, и детей у меня нет. А если эта штука, — задумчиво добавил он, — действительно представляет такую опасность... Ее судьбу решать вам. Я уже пас.

Я молчал. Мне просто нечего было сказать, я не понимал его, даже когда понимал все слова. А он вдруг распрямылся в кресле и бесстрастно спросил:

— Вы любите свою страну?

Тут уж распрямылся я.

— Я русский офицер! — Боюсь, голос мой был излишне резок. С больным человеком нельзя разговаривать так. Но Хаусхоффер лишь горько рассмеялся.

— Bravo! — Пригубил. — Таких вот офицеров Бела Кун сотнями топил в Крыму, живьем...

В Крыму? Русских?

Он явно бредил.

— Вам неприятно будет увидеть свое отечество в, мягко говоря, неприглядном свете?

Я сдержался. Сказал:

— Разумеется, неприятно.

— Утешу вас: мы тоже были по уши в дерьме. Но нам повезло больше, вы нас разгромили. Впрочем, если бы вы разгромили нас в одиночку, это бы был конец. К счастью, существовали еще и союзники... А впрочем, в чистилище все хороши.

— Я вас не понимаю, — тихо напомнил я. Он очнулся — и сразу пригубил. Я отставил наполовину пустую рюмку.

Он сказал:

— Да, в двух словах тут не расскажешь. — Помедлил, как бы что-то припоминая, а затем произнес на ужасающем русском: — Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. — И, взяв за горлышко бутылку, поднялся.

Пес, лежавший у его ног, вскочил. Отчетливо цокнули когти.

— Лежать, Гиммлер! — прикрикнул старик.

Пес коротко проскулил, а потом послушно лег. И вновь — только стонали стекла от ветра, да по временам подвывала где-то, надрывая душу, труба дымохода. Старик жалко улыбнулся.

— Бедная псина. И ведать не ведает, как паскудно ее зовут. Но мне приятно. Как будто наконец я распоряжаюсь этим упырем, а не он мной... Идемте, Трубецкой. — И сразу пошел обратно к лестнице. Гиммлер негромко гавкнул, в последний раз пытаясь напомнить о себе, но старик даже не обернулся. — Идемте! — повторил он.

Тою же ветхой лестницей мы спустились ниже первого этажа, в подвал. Старик отпер одну из тяжелых дверей, тронул выключатель, и цепочка тускло-желтых ламп вспыхнула, уводя взгляд вдаль, на всем протяжении нескончаемого, загроможденного дряхлой мебелью коридора. Порой приходилось даже протискиваться, идти боком, чтобы не зацепить торчащие ножки кресла, опрокинутого на истертую тахту, или ржавый ключ, бессильно свисающий из замочной скважины ящика громадного комода, под который, вместо одной из ножек, были подложены книги возрастом не менее полутора ста лет... Дошли до конца, до глухой стены. Старик постоял неподвижно; похоже, он еще колебался. Потом встряхнул головой — и я внезапно понял, что именно сейчас он окончательно решил оставить меня в живых.

— Я тоже умею быть благородным и честным, — проговорил он. — К тому же, полагаю, именно вас я ждал все эти годы.

Он странно, как бы пританцовывая на месте, несколько раз ритмично нажал на большой темный овал — след сучка, — красовавшийся на краю одной из половиц, примыкавших к глухой стене. Раз-раз... раз-раз-раз-раз... раз... раз-раз-раз...

Глухая стена с неожиданной легкостью шевельнулась и уползла вправо. Открылось небольшое кубическое помещение, в потолке которого чуть теплился полусфери-

ческий матовый плафон. Стены были, похоже, чугуными; доисторически дико тянулись вертикальными веревницами вздутия заклепок.

— В прошлом веке не умели многого, что умеют сейчас, но одного у них не отнимешь: то, что они умели, они делали добротнo, на века. Прошу. — И старик сделал рукою жест, пропускающий меня вперед.

Я вошел в железный куб.

Старик последовал за мною и снова станцевал одной ногой. Стена почти беззвучно встала на место, а наша тяжелая чугунная клеть медленно, чуть подрагивая, в сопровождении вдруг донесшегося снаружи приглушенного гула, поплыла вниз.

Мы опустились, пожалуй, метров на семнадцать-восемнадцать. Клеть рывком остановилась. Секунду ничего не происходило, а затем одна из ее стен широкой лопастью отворилась, с отвратительным металлическим скрипом повернувшись на угловой оси.

И снаружи уже горел свет. Просторный подземный зал открылся моим глазам; вслед за усмевающимся стариком я шагнул вперед и оказался на узком металлическом карнизе, обегавшем зал по периметру на половине высоты от пола до потолка.

Почти весь объем зала занимал стоящий посредине чугунный монстр — нелепо и неуклюже огромный, тоже простроченный вертикальными строчками заклепок, окруженный раскоряченными переплетениями толстых и тонких, прямых и коленчатых труб. Больше всего он походил на невероятных размеров паровой котел. От него за версту веяло чудесами науки жюльверновских времен. Здесь, у лифтовой стены, карниз проходил от него метрах в десяти, но с остальных трех сторон примыкал вплот-

ную, становясь более широким, и там его загромождали какие-то невероятные, допотопные средства управления: манометры, рычаги, маховики, рукоятки, призматические перископы, еще более придавая гиганту вид какой-то чудовищной паросиловой установки. И я как-то сразу понял, что — вот он, тот самый «сундучок побольше и посложнее», о котором упомянул распираемый тщеславием и гордостью Клаус Хаусхоффер перед гостями.

Старик с доброжелательным любопытством смотрел на меня.

— Вы хорошо держитесь, Трубецкой, — сказал он. — Но, бьюсь об заклад, вы даже не догадываетесь, что это такое.

Меня вдруг ошпарила догадка.

— В этой штуке делают людей агрессивными!

— Черт возьми, вы почти угадали. Но даже вы не представляете их размаха. В этой штуке СДЕЛАЛИ людей агрессивными. Навсегда. Идемте. — И он двинулся по чуть раскачивающемуся, чуть гудящему от шагов карнизу. Я пошел следом.

«Найди их и убей».

Кого? Вот этого перемолотого жизнью полусумасшедшего старика? Кого?

Мы подошли к толстой короткой трубе первого перископа. Хаусхоффер с заметным усилием сдвинул с нарамника железную заслонку, и на кирпичную стену напротив выхлестнул ослепительный световой блик; в пробившем сумеречный воздух луче поплыли, как звезды, пылинки. На изглоданном лице Хаусхоффера резче прорисовались морщины, белые отсветы легли на древние приборы. Щурясь, Хаусхоффер потянул на себя висящую на решетчатом раздвижном кронштейне дисковую кассету со смен-

ными светофильтрами; чуть прокрутил ее, выбирая, и ладонью с силой нашлепнул один из фильтров на перископ. Свирепый луч, бивший из адской топки «котла», померк.

— Извольте, — сказал Хаусхоффер, чуть отступив в сторону от перископа, поднес ко рту бутылку и сделал глоток.

В черном бездонном провале висел круглый, немного взлохмаченный сгусток огня. Несколько секунд я ошеломленно моргал — глаз привыкал к режущему свету медленно, — и память бестолково металась от одной ассоциации к другой, пытаюсь сообразить, на что это похоже...

— А если пошире — то вот так, — сказал Хаусхоффер и, неловко зажав коньяк под мышкой, обеими ладонями немного прокрутил широкое рубчатое кольцо, охлестнувшее тубус перископа.

Сгусток стремительно съезжился, превратился в каплю. А далеко по сторонам от него, в густой, невероятно густой и, казалось, не имевшей пределов тьме глазу вдруг померещились едва уловимые искры. Две... три...

В полной прострации я глянул на Хаусхоффера.

— Это... Это...

— Солнечная система, малый кристалл, — хрипло сказал Хаусхоффер и снова отхлебнул из горлышка.

Внутри у меня все оборвалось. Секунду спустя словно парализующий яд потек у меня по жилам, одна моя рука, лежавшая на трубе перископа, бессильно съехала с него и повисла. Еще мгновением позже за нею последовала другая. Мне дико захотелось сесть.

— Так ему все-таки удалось?..

— Да. Ступак растил это с шестьдесят шестого по шестьдесят девятый. А дальше все было совсем просто. Вообще идея проста, как а-бэ-цэ. Чтобы изготовить не-

обходимое для отравления хотя бы одного миллиона людей количество препарата Рашке, вся химическая промышленность тогдашней Германии должна была работать семьсот с лишним лет. А если планета Земля имеет радиус восемнадцать миллиметров, — Хаусхоффер качнул булькнувшей бутылкой в сторону котла, а потом, чтобы уж движение не пропало даром, в обратном качке поднес бутылку ко рту и сделал глоток, — достаточно обычным парикмахерским пульверизатором распылить в атмосфере одну-единственную лабораторную капельку, и дело в шляпе. Поскольку Ступак более всего радел о свержении российского самодержавия, то, естественно, и фукнул он непосредственно над европейской Россией. Ну а потом ветры, дожди и приливы разнесли по всей планете, конечно, по Европе — в первую очередь... Начальным мощным результатом впрыскивания, отчленившим их историю от нашей, были франко-прусская война и парижская коммуна, они-то и дали исходный всплеск вашей статистики... Ах да, ведь все эти названия для вас — пустой звук. Ну ничего, я вас познакомлю с их историей.

Он умолк, как-то очень понимающе и очень грустно глядя мне в лицо. Я пытался собраться с мыслями. Вот тебе и тайная секта. Но все же...

— И все же я не понимаю.

— Сейчас, Трубецкой, сейчас. Я просто не знаю, как вам рассказать попроще и покороче. Хотите? — Он вдруг протянул мне бутылку.

Я чуть не отказался, но неожиданно понял, что зверски хочу. Молча взял у него коньяк и отхлебнул как следует. Мгновение спустя горячая волна ударила мне в же-

лудок, как девятый вал в прибрежный камень, и ноги почти сразу перестали дрожать.

— Это было не просто создание альтернативного мира. Ради такой цели они не стали бы тратить силы и деньги. Они создавали станок, на котором собирались переделывать наш мир. Только, как это обычно бывает, после создания станка каждый захотел точить на нем что-то свое.

Он требовательно протянул руку; я отдал ему бутылку, и он сделал глоток. А я, начав после первого ошеломления замечать детали, увидел вдруг под пультом буквально гору пустых.

— Так что, когда Горбигер в Германии начал в двадцатых годах учить, что Земля и Солнце расположены внутри ледяной сферы, а никакого космоса нет и звезды с галактиками выдуманы еврейскими астрономами с целью обмануть народ и обогатиться, он был не так уж не прав. Видимо, какие-то крохи информации он выжал из отца... Для них, — он опять качнул бутылкой в сторону котла, и бутылка опять призывно булькнула; он задумался на миг, но потом решил в этот раз не пить, — космоса действительно нет. Просто эта адова штука пересылает им в соответствующем масштабе картину того, что окружает нас здесь. Ох, Трубецкой, как я хохотал, когда американский «Пайонир» — эти дурачки запустили его в глубокий космос с посланием, понимаете ли, к иным цивилизациям! — начал, точно муха о стекло, биться о стенку котла! Только что не жужжал... Пришлось взять на себя все заботы о том, что он передает в Хьюстон... — Хаусхоффер, вспомнив, и на этот раз засмеялся; но выпуклые старческие глаза его рыдали.

— Землю можно увидеть крупно? — спросил я.

— Разумеется. Только фильтр сменить. Перископы подвижны... Но потом, потом! — нетерпеливо выкрикнул он, увидев, что я пытаюсь пошевелить толстый, массивный тубус. — Еще насмотритесь. Слушайте, Трубецкой, я ведь умру скоро. Давайте, я завещаю вам Альвиц? Захотите — отдадите России, или подарите ООН, или сами будете здесь играть, как я играю уже полвека. Это увлекает... — задумчиво прибавил он.

Я не ответил. Он пошевелил кожей лба, собирая его морщинами и распуская; брови дергались, как на резиновых ночках. Видно, он слегка уже опьянел.

— У них даже техническая ментальность другая, — пожаловался он. — Например, гравиторы они могли открыть тогда же, когда и мы, — после работ Эйнштейна по полю. Но им и в голову не пришло копать в этом направлении. И я вам скажу почему. Потому что тогда все страны при полетах должны пользоваться общей сетью, она одна на всех. Даже при конфликтах никому в голову не придет нанести ей ущерб — сам пострадаешь ровно в той же степени, что и противник. А там строят громадные ревушие крылатые чушки, одна другой тяжелее и страшнее, они жгут прорву топлива, то и дело падают и гребят массу невинных людей, прожигают каждым рейсом во-от такие, — он развел длинные руки и едва не выронил бутылку, — мертвые коридоры в кислородной составляющей атмосферы, не выжимают, за редкими исключениями, и тысячи километров в час — но зато каждая из них летит сама! Не завися ни от кого! Суверенно!

Он протянул мне бутылку, я отрицательно качнул головой. Он тут же хлебнул сам.

— Я могу много выпить, — сообщил он и оперся свободной рукой на пульт, прямо на какие-то циферблаты

музейного вида — ни дать ни взять часы эпохи Людовика XIV. — Не волнуйтесь за меня.

Мы помолчали. Краем глаза я заглянул в перископ. Капля пылала. Хаусхоффер чуть повернул голову и долго смотрел остановившимися глазами в блестяще черную, клепаную стену котла. Я не понимал его взгляда.

Казалось, на какое-то время он забыл обо мне.

— А ваши преступления... Боюсь, Трубецкой, здесь ничего нельзя сделать, — тихо проговорил он вдруг, продолжая глядеть на котел. Наполовину опустевшая бутылка косо висела в его бессильно опущенной руке. — Разве что выжечь этот клоповник к дьяволу, во-он он, вентиль продувки. Как это я еще не крутнул...

Я промолчал. Я не хотел прерывать ход его мыслей, сколь бы он ни был беспорядочен. Он знал ответы на все мои вопросы, но я не знал, какие вопросы задавать.

— Человек — лишь часть кристаллической структуры. Относительно небольшая и наиболее динамичная. Когда такой кристаллик начинает особенно сильно вибрировать, почти наверняка он вызовет резонансную вибрацию в изоморфном ему кристалле. Ступак это теоретически предсказал, на этом и строился расчет. В предельно стрессовом состоянии — главным образом имеется в виду стрессовая гибель, — если вибрирующему кристаллику находится близкий по ряду базисных параметров психики аналог, инициировавший вибрацию кристаллик перебрасывает все свои свойства на тот, с которым вошел в резонанс. Поскольку впрыскивание препарата Рашке обеспечило человечеству в котле почти постоянное существование на грани стресса, переброс индивидуальностей должен был идти практически исключительно от них к нам. Гениальный план.

Он вдруг вспомнил о бутылке. Тактично, но очень ненавязчиво протянул ее мне. Я отрицательно мотнул головой. И он тут же как следует отхлебнул.

— Принципиальная схема такова! — возгласил он и чуть покачнулся. — В инкубаторе выращивается человечество, находящееся, в результате тотальной психохимической обработки, в состоянии непрерывной борьбы каждого с каждым и всех со всеми. Под любым предлогом, на любом уровне! Никакие самые логичные и убедительные призывы к миру и сотрудничеству, которые высказывают отдельные невосприимчивые к обработке личности — всегда есть процент людей, не поддающихся действию какого-то препарата, — остаются втуне, ибо медикаментозное вмешательство парализовало определенные центры в мозгах большинства. Наиболее удачные из этих призывов, напротив, сразу используются для провоцирования новых конфликтов. Например: давайте жить дружно. Давайте! Всех, кто мешает нам жить дружно, — на виселицу! Ты, я вижу, не хочешь жить дружно? И ты? На виселицу!

Он умолк, тяжело дыша. На лбу его выступили бисеринки пота. Он явно отвык много говорить. И — явно хотел.

— В таких условиях стрессовая вибрация гибнущих кристаллов становится все более частой, а следовательно, все более частым становится переброс исковерканных индивидуальностей к нам, сюда. И здесь они, естественно, продолжают свою борьбу, ибо сознание их уже сформировано. Борьбу уже совсем непонятно с кем. Хоть с кем-нибудь, кто напоминает тамошнего противника. — Он торопливо отхлебнул. — Правда, возможен и обратный эффект. Ступак о нем не догадывался. Я обнаружил его лишь недавно,

читая их статьи... С легкой руки тамошнего американца Моуди стало модным опрашивать людей, переживших клиническую смерть, об их ощущениях. И, представьте, многие припомнили состояние резонанса со своим здешним психодвойником. Самое смешное... — он хихикнул и тут же пригубил, — самое смешное, они думают, что встречаются с богом! Они называют его «светоносным существом», «лучезарным сгустком доброты» и так далее. Мы настолько отличаемся от них, представьте! Они даже вообразить не могут, что всего лишь на какие-то мгновения сливаются с собой, обретают самих себя, только нормальных, не отравленных! Вот вы — обычный... русский офицер, — патетически произнес он, с явной иронией передразнивая меня, — со своими заботами, хлопотами и недугами. Но если бы ваш тамошний двойник, умирая, срезонировал с вами, а врачи ухитрились бы вернуть его к жизни, он был бы уверен, что здесь виделся чуть ли не с самим Христом! В белом венчике из роз... — с ужасающим сарказмом добавил он на ужасающем русском, и я снова, в который уже раз, не понял, на что он намекает. — Говорят, после таких встреч люди там становятся добрее... уносят что-то отсюда. — Он вздохнул. — Все вообще оказалось много сложнее, чем полагали отцы-основатели. А судя по вашим словам, Трубецкой, по вашей же статистике, может происходить и не полное подавление, и нестыковка, и, главное, вытеснение нормальным кристаллом системы ценностей ненормального в подсознание... Тут я мало что могу сказать. До сегодняшнего вечера я был уверен, что я — единственный, кто вышел оттуда.

Он грустно и как-то смущенно улыбнулся.

— Меня казнили в Моабите в сорок четвертом, — признался он. Так застенчивая девушка могла бы при-

знаться в любви. Я не перебивал. Он помедлил. — Гимлер решил, что отец слишком независим, слишком влияет на фюрера... На отца он руки поднять не решился, но взяли меня, чтобы обуздать отца, если возникнет необходимость... А потом машина заработала сама собой. Отец даже не знал, узнал только в сорок шестом! И покончил с собой... Но здесь — не появился. Видимо, не нашлось аналога. Забавно, ведь он же был и здесь, он сам еще был в Альвице, рожденный в восемьсот шестьдесят девятом Карл Хаусхоффер, здесь он умер тремя годами позже, чем там, — но он не оказался аналогом самому себе. И даже смерти своего малого кристалла не ощутил. Возможно, кончая с собой, отец был слишком спокоен. Все уже давно пережил.

Я молчал.

— Они не поделили станка, Трубецкой! — выкрикнул он и, оторвав руку от пульта, ухватил меня за плечо. — Так всегда у бандитов! Какие бы высокие слова они ни говорили! Это критерий! — Он, спеша, клюнул из бутылки. — Когда два человека отстаивают высокие цели и цели эти различны... если цели действительно направлены к благу, эти люди всегда найдут компромисс. Желание не навредить — заставит! Если же они начинают резать друг друга, потому что каждый именно свою цель считает единственно высокой, — значит, цели их ложь, обман людей, а истинная цель, как у троглодитов: отнять чужую жратву и запихнуть себе в брюхо. — Он перевел дух. — Рашке решил, что получил идеальный испытательный стенд. Он так и не уразумел, что эти пылинки внизу — люди, что они мечтают и страдают, как мы. Хотел попробовать на целой планете то один препарат, то другой... Ступак решил, что получил племенную ферму для выращивания нестигаемых

революционеров, в грош не ставящих ни жизнь врагов, ни жизнь друзей. Он был уверен, что, погибая там на баррикадах, они попрут сюда и уж тут дадут чертей эксплуататорам. Ну а дед... Он решил, что судьба кинула ему шанс стать королем мира. Нужно лишь устроить бойню. Нужно лишь, чтобы как можно больше людей там, — он ткнул в сторону котла и, потеряв равновесие, снова ухватился за мое плечо; нас обоих слегка качнуло, — умирали с тем же криком «Хайль Хаусхоффер!». Тогда они очнутся здесь с тем же криком. Чего проще, имея на контакте двойника за этим вот пультом! Еще в четырнадцатом году молодой генерал, получивший когда-то маленький ящичек в подарок от отца, прославился своими военными и политическими предсказаниями. Германия проиграла. Но Хаусхоффер уже прослыл великим магом. Он нашел и натаскал Гитлера. Он придумал ему свастику, кстати... А, вы же не знаете, что такое свастика...

— Буддийский символ, — осторожно сказал я. — Насколько мне известно, даже буддийские монастыри на картах обозначаются свастикой.

— Да, — задумчиво сказал Хаусхоффер. — Отец дурил их Тибетом, Шамбалой... Ведь он не мог сказать, откуда на самом деле получает информацию! Это казалось даже более удобным — до поры до времени подвергать превратностям политической игры пешку Адольфа, а самому держать все нити. Но опять не получилось. Информация была, а реальная власть ускользала...

Он наконец оторвался от моего плеча и, нетвердо крутнувшись на каблуках, повернулся лицом к котлу и вновь оперся на пульт. Он опьянел. Но я уже знал главное: он не бредил.

— И ведь не только информация, — пробубнил он, и тут я с ужасом и жалостью понял, что он до сих пор

страдает из-за неудачи отца, а следовательно, и своей; и если бы у него были силы, если бы он знал как — он начал бы все сызнова. — И средства воздействия тоже были... ну, хотя бы зонды, при помощи которых следят за событиями там. Последнее время они стали их замечать, правда... они приписывают их, — он уныло хихикнул, — инопланетянам. У-фо! — непонятно выкрикнул он с полным триумфом. — А знаешь почему? — Он горестно замотал головой. — Не удалось — почему? Потому что средство Рашке подействовало слишком хорошо. Тебе даже не представить, русский, какие они там теперь ублюдки, как мелко и гнусно тянут все только на себя, на себя, на себя... Даже Гитлер не сумел их объединить по-настоящему, даже Сталин, все только и смотрели, где бы урвать... а, ты ведь не знаешь, что такое Сталин! — Он уже нетвердой рукой сунул в рот горлышко бутылки, но чуть промахнулся, и струйка коньяка потекла у него по подбородку. — Русский офицер! — с пафосом крикнул он и захохотал. А потом, запрокинув болтающуюся голову, снова отхлебнул, на этот раз более удачно. Вытер губы рукавом свитера.

— И поэтому я теперь только шалю, — сказал он, ухмыльнувшись и подмигнув мне с пьяной хитринкой. Приложил одну ладонь ко рту полурупором, как я давеча у входа в дом, и пробубнил замогильным голосом: — Не надо двигаться. Не надо бояться. С вами говорит представитель галактического гуманоидного центра...

Опустил руку. Снова смущенно и виновато глянул на меня сквозь свесившийся ниже носа клочок редких сивых волос.

— А иногда... — и вдруг с ненавистью пихнул ногою грудку пустых бутылок, и та раскатилась с оглушитель-

ным стеклянным звоном, — иногда так нарежусь за пультом... Потом и не вспомнить, что вытворял. Только из газетных сенсаций иногда вычисляю. Бер-р-мудский треугольник! — непонятно сказал он, будто выругался. И замолчал.

Теперь он замолчал надолго. Я смотрел на его размякшее лицо со слезящимися глазами, и мне было жалко его, и пора бы его отвести спать. Но он стоял понурясь и иногда чуть пошатываясь.

— Русский. Бери его. Может, что придумаешь. А меня от этого... этого инкубатора пламенных борцов за державную незыблемость богоданной власти, за освобождение рабочего класса, за дело Ленина — Сталина, за чистоту арийской расы, за самоопределение маленьких, но гордых народов, за демократию, за американскую мечту... уже тошнит.

В голову мне, упруго извиваясь, вползла ледяная мысль, от которой захватило дух и снова захотелось сесть.

— Послушай, Альберт, — я старался говорить спокойно и очень внятно, — а есть ли гарантия, что мы — не в котле?

Он не шевелился.

— Ты назвал их чистилищем, а нас раем. Но ведь где-то должен, значит, быть и ад. Или, значит, ад — они, а чистилище — мы, но тогда... есть что-то еще выше? И вообще, почему только три ступени?

Он не шевелился. Я уже начал думать, что он не слышит, что он уснул стоя. Но он вдруг рывком, чуть не опрокинувшись на спину, задрал голову, сунул горлышко в рот и, гулко глотая, допил коньяк залпом — а потом, широко

размахнувшись, изо всех сил швырнул бутылку об котел. С оглушительным в спертой тишине подземного зала звоном бутылка взорвалась, и осколки, жестко стуча о препятствия, разлетелись в разные стороны.

— Есть бездны, — хрипло сказал Хаусхоффер, с ужасом уставясь на меня налитыми кровью глазами, — в которые лучше не заглядывать. Понял, русский? Если не хочешь сойти с ума.

3

Расследование было закончено.

Я не нашел их и не убил. И я не знал, как предотвратить новые преступления выходцев из преисподней. Но решать судьбу котла было не мне. Надо было срочно возвращаться и бить в набат...

Но я не возвращался.

У меня было десять дней.

Под руководством Альберта я сидел у перископов, у транслятора зондов, осваивая нехитрую систему управления, и заглядывал, заглядывал в эту бездну. Я должен был хотя бы слегка представлять ее себе — чтобы иметь свое мнение в будущих дискуссиях. Оно будет значить немного — не больше, чем любое иное. Но оно должно быть.

Меня затошнило на третий день.

Но я не мог оторваться. Боюсь, тамошние жители отметили в эти дни резкое увеличение активности инопланетян.

Стыдно сказать: я, не знаю зачем, искал себя.

ЭПИЛОГ

1

Дед Василий, в неизменном латаном бушлате с единственной пуговицей и ватных, какого-то лагерного пошиба штанах, как всегда, сидел на лавочке перед школой, смолил самокрутку и слушал писклявый транзистор.

— Ну все, бля! — с детской радостью приветствовал он меня. — Пиздец Капказу!

— А что такое? — спросил я, глянув на часы. До начала урока оставалось еще с четверть часа; я присел рядом с дедом, достал из кармана сэкономленную позавчера, помятую и сыплющую табачной крошкой «Рейсину», а дед хлебосольно дал мне прикурить от своей, чтоб я не тратил спичку. Хорошая душа.

— Дык хули ж, — объяснил он, когда я раскурил. — Ирак, что ли, Азербиджану в порядке гуманидраной помощи атомную бомбу продал. Армяшки, ясно дело, раскудахтались. Диаспора скинулась и у Кравчука подводку купила с ракетами. На вертолетах сволокли, бля, в Воротан. Плавать она там не может, мелко, но лежит посередь речки и люками шевелит, того и гляди, бля, хуйнет. Шаварнадза сказал, что это, бля, все происки России...

Я попытался затянуться поглубже, но табак лез в рот из сразу отсыревшего и расплзшегося хилого бумажного кончика. Пришлось несколько раз сплюнуть.

— Пальцем подправляй, — посоветовал дед, заинтересованно следящий за моими действиями.

Из приемника сыпалось тупой скороговоркой: «Сараево... Босния... очередная кровавая акция колумбийс-

кой мафии... «красные кхмеры» нарушили перемирие... новые жертвы в Сомали... Ангола... столкновение на демаркационной линии между Чехией и Словакией, есть жертвы... непримиримая оппозиция... очередная вспышка расовых волнений во Флориде... избиение эмигрантов из Турции в Мюнхене... взорван автобус с израильскими гражданами... взорван еще один универмаг в Лондоне...»

Новости.

Подошел Димка, водитель последнего в Вырице грузовика.

— Привет, интеллигенция! — сказал он.

— Здорово! — хором ответили мы с дедом.

— А я вчера тарелку видел, — сообщил Димка, аккуратно оправляя многочисленные молнии на своей куртке. — Вот так вот над Оредежем прошла низехонько и к Питеру усвистала.

— Не пизди, — строго сказал дед. Глаза у него оставались, он даже шею вытянул. — Во, бля, опять летит.

Мы обернулись. Со стороны ленсоветовских позиций, медленно выгребая против ветра, скользил небольшой и аккуратный белый диск. Даже не диск скорее, а что-то вроде двояковыпуклой линзы. По краю верхней выпуклости тесно, один к другому, шел ряд темных кругов — не то иллюминаторы, не то просто узор такой.

— Эх! — в сердцах сказал Димка. — «Стингером» бы ёбнуть!

— Дык что ж ты, бля, зеваешь?

Димка раздосадованно сморщился.

— Третьего дня я свой в Тосно на пару фуфырей «Агдама» махнул. Выпить хотелось — сил нет!

— Выпил? — с живым интересом спросил дед Василий.

— Одну выпил, а в другой, ебеньть, вода оказалась! Я этого предпринимателя, если встречу, — яйца оторву!

— Встретишь ты его, как же, — проворчал дед. — Они по два раза на одном месте не предпринимают.

Тарелка ушла за перелесок.

Радиоприемник сообщал: «...обсуждению повестки дня съезда. По ряду вопросов выявились серьезные разногласия, и депутаты разошлись на обед, так и не придя к единому мнению...»

Прозвенел звонок, и я, отбросив окурок, встал.

— Сейте разумное, доброе, вечное, — сразу сказал Димка, — к вам приползут тараканы запечные... Счастливого вам, Альсан Петрович.

— И вам шесть футов под передними колесами, — ответил я любезностью на любезность.

В школе было малоллюдно. Так, мелюзга бегала кое-где, повизгивая по углам, но ребята постарше были редки. Странно, что вообще еще кто-то ходит. Дел же по горло. Одни пробираются в Пушкин, Тосно, а то и в Любань на толчки. Другие — это уж совсем матерые человечки — совершают рискованные ночные рейды по чужим территориям в Пулкове: снять что-нибудь со склада или из багажного отделения или хлебный фургон перехватить, на худой конец. Третьи честно отрабатывают свое на Оредежском рубеже. Какая уж тут учеба...

Из туалета слышалось истошное дребезжание гитары и пение хором — ребята репетировали, готовились отмечать День независимости. Я чуть запнулся на ступеньке, прислушиваясь. Ага, знаю эту песню, самодеятельная. «Смольный» называется. Не вполне актуально, конечно, ну да что с пацанов взять, если даже большая литература дальше ругани коммуны так и не двинулась? Ребята честно, отчаянно стараясь переорать друг друга, но, как нарочно, не попадая ни в одну ноту, надсаживались на мотив калининской «У вашего крыльца»:

...У вашего дворца
Я вспомнил о марксизме,
У вашего дворца
Я спел «Интернцанал».
У вашего дворца
Мечта о коммунизме
Вновь вспыхнула во мне —
Дворец ее э-эба-а-ал!

Я пошел дальше. Репетировать еще и репетировать.

Сегодня мой восьмой «а» состоял из пяти человек.
Три девочки и два мальчика.

Маша Мякишева, красавица, национальная гордость Вырицы. Последние месяцы она щеголяла в совершенно умопомрачительной паре — брючки полная фирма, курточка всегда застегнута в обтяжку; все знали, что она не потратила ни копейки. На игривые вопросы о происхождении пары Маша, скромно улыбаясь, отвечала: «Нашла». Действительно, она нашла ее в августе на пляже — какая-то дура питерчанка, из последних полоумных дачников, не знающих, какой год на дворе, решила искупаться в романтическом одиночестве, понимаете ли, в рассветной дымке... Маша стала примерять штанцы, а дуру, когда та чересчур развонялась, в сердцах утопила; томик Чейза, лежавший под курточкой, махнула в Павловске на пару гигиенических тампонов, а шмотки взяла себе.

Таня Коковцева, самый веселый человек в классе. Я подсмотрел не так давно, на последней контрольной по алгебре она выведывала у соседей, сколько будет пятью семь, и никак не верила, что целых тридцать пять. Только осведомившись у третьего — вернее, у четвертого, потому что третий сам засомневался и, проявив редкую в наше время порядочность, не взял на себя ответственность подсказывать, — она, покачивая головой с удивле-

нием, записала в тетрадку результат. Но зато три аборта перенесла, похоже, безо всякого вреда для здоровья. Очень надежный товарищ.

Стелла Ешко — ничего не могу о ней сказать, просто ничего. Я не слышал от нее ни единого слова. По-моему, она дебилка, дитя алкогольного зачатия. Из класса в класс ее переводят, выставляя в ведомостях ровную, однородную, так сказать, вереницу троек. Не двойки же ставить; куда ее потом с двойками девать? Как, впрочем, и с тройками? Какая разница?

Ну, и братья Гусевы. Серьезные бойцы. Один из них — не помню уже который — в прошлом году даже на урок пришел с «макаровым».

Я открыл было рот, но Веня Гусев, развалившийся за первым столом левой колонки — руки локтями на стол позади, ноги, одна на другой, выставлены в проход между столами, куртка расстегнута и расперта мощной грудью, — лениво опередил меня:

— Мы, Альсан Петрович, пришли сказать, что больше не намерены посещать ваши уроки.

Я помедлил. Потом сел за учительский свой стол и сказал:

— Хорошо, ребята. Давайте мне тогда дневники, я сразу выставлю четвертные тройки, и покончим с этим.

— Какой вы персик, — сказала Таня. — Можно я вас поцелую?

— Чуть позже, — ответил я. — Делу минута, потехе час — но минута будет первой.

Судя по всему, они были приятно удивлены моей сговорчивостью. Похоже, они готовились к серьезной баталии.

Я выставил тройки, перенес их в классный журнал. Таня, честная девочка, забирая у меня дневник, нахло-

нилась, дружелюбно прижалась бюстиком к моему плечу и с оттягом чмокнула в щеку.

— Только помаду сотрите потом, — сказала она, возвращаясь на свое место.

— Пусть пока поживет, — ответил я. — Мне так больше нравится.

Они стали не спеша собираться. Котя Гусев закинул на плечо ремень своей потертой цилиндрической «Пумы».

— Погодите минутку, ребята, — сказал я. — Теперь, когда все формальности улажены и вы не можете ожидать никакого подвоха с моей стороны, я просто хочу спросить: почему?

— Ой, да на кой ляд нам... — начал было Котя, но Веня оборвал брата.

— погоди, Котька, жопа ты или мужик, — проговорил он. — Человеческий же разговор шкраб предлагает.

Он снова сел. Тогда сели и остальные.

— Кто-то из великих, кто именно, вам лучше знать, сказал: история учит лишь тому, что ничему не учит. Мы склонны полагать это утверждение истинным. Особенно для этой сраной страны, в которой учителя истории и прочих научных коммунизмов из поколения в поколение получали зарплату исключительно за то, что ничего не знали, ничего не умели и только насиловали детям мозги ахинеей.

— Закосили извилину! — подтвердил Котя.

— Единственную? — спросил я.

Маша, самая умная, поняла и хихикнула.

Я обвел их взглядом. Что оставалось отвечать? Он был прав и не прав. Я мог бы сказать, что история учит многим верным вещам тех, кто способен учиться; например, тому, что происходящего сейчас любой ценой

нельзя было допускать, ведь это происходило и прежде и всегда кончалось одинаково — именно вопиющая неграмотность политиков, сопоставимая, пожалуй, лишь с их самомнением («Я-то умнее тех, кто был прежде»), развязывает им их шкодливые руки. Но для пятнадцатилетних происходящее последние пять — семь лет было единственной известной формой бытия, плохо-бедно они приспособились к ней; разрушь эту приспособленность, и они, молоденькие, погибнут. Я мог бы написать на доске самые элементарные формулы, описывающие динамику социальной энтропии, и они доказали бы, как дважды два: чем малочисленнее социум, тем меньше у него вариантов развития и тем, следовательно, меньше шансов выжить — но ребята плохо помнят, сколько будет дважды два. И я спросил только:

— А чему вы хотите учиться?

— Рукопашному бою, — тут же начал загибать пальцы Веня. — Это мы делаем, но нужно больше. Вот недавно афганца одного припитомили, он нас дрессирует...

Ты сказал. Не «учит», не «натаскивает», не «тренирует» — «дрессирует». Ох, история. Кто сказал «Ты сказал»?

— Стрельбе, — загнул второй палец Веня, — это тоже пытаемся, но катастрофически боеприпасов не хватает.

— Взрывное дело надо поднимать, — подал голос Котя.

— Оральный секс освоить как следует, — озабоченно сказала Коковцева.

Котя усмехнулся и со снисходительным превосходством проговорил:

— Тебе бы, Татка, все ебаться.

Она, коротко обернувшись к нему, сверкнула победоносной улыбкой.

— Алгебра нужна, к сожалению, — сказала Мякишева. — А то в духанах любая тварь обсчитает — пернуть не успеешь.

— Да, пожалуй, — задумчиво согласился Веня.

— И ты думаешь, этого достаточно для жизни? — спросил я.

— Для жизни вот как раз это и нужно.

— Этого достаточно для смерти, Веня, — сказал я. — Только для смерти. Сначала, возможно, не твоей. Потом все равно, раньше или позже, — твоей. Этого достаточно только для кратковременного выживания.

— Научный коммунизм это все, Альсан Петрович, — ответил Веня. — На самом деле все просто. Кто выживает — тот и живет. Другого способа жить еще никто не придумал.

Он встал, и сразу, с грохотом отодвигая стулья, поднялись все. Как настоящий лидер, он пропустил всех остальных вперед, а когда кое-как приспособленная под класс комната опустела, снова глянул на меня и ободряюще улыбнулся.

— Вы не огорчайтесь, Альсан Петрович, — сказал он. — Мы вас лично даже уважаем. Но от предмета вашего блевать охота. Раньше хоть раз в генсека установки менялись, а теперь вообще — каждый свое долбит. И ведь всем ясно давно, что других несет по кочкам, потому что для себя, любимого, место чистит. Вон при Мишке Сталина как несли. Сказали народу долгожданную правду! И чего вышло? Опять за этого же Сталина люди мрут. Батя мой летом пошел на демонстрацию за этот сраный СССР — так приложили ему демократизатором по шее неловко, тут же откинул копыта, только и успел сказать: дескать, флаг наш красный подними повыше, пусть видят... А кто видит, за-

чем видит — хрен его знает. Может, богу на небесах расскажет, да и то вряд ли.

Он еще потоптался у двери — поразительно, но он мне почувствовал! Замечательный мальчик все-таки растет.

— До свидания, — сказал он.

— До свидания, Веня, — с симпатией сказал я. — Если в будущей четверти передумаете — я, как юный пионер, всегда готов.

— Да что вы, Альсан Петрович! Зимой тут такое начнется! — И вышел.

Это, судя по всему, была правда. Заложив руки за спину, я неторопливо подошел к окну. В сером свете хмурого позднего утра сквозь голые ветви берез со второго этажа отчетливо просматривалась свинцовая полоса Оредежа и работающие люди на нашем берегу. Картина отчетливо напоминала знакомые по хроникальным фильмам кадры самоотверженного труда советских тыловых женщин в сорок первом году. Рвы, надолбы, огневые точки...

В течение лета железные коготы совхоза «Ленсоветовский», усиленные двумя десятками чеченских киллеров-профессионалов, которых директор совхоза снял в так называемом Санкт-Петербурге, пообещав отдать подконтрольным Чечне перекупщикам весь урожай совхозной капусты, теснили и теснили наших гвардейцев, пока те не откатились до реки. Велика Россия, а отступать дальше некуда — вот он, поселок, родные дома за спиной. Но было ясно, что, как только Оредеж покроется льдом, ленсоветовцы попытаются форсировать рубеж.

Сначала сладкопеец Горбачев во время первого карабахского толчка, вместо того чтобы стараться защитить тех, кто, вне зависимости от политической ориен-

тации, нуждался в защите, начал игру, рассчитывая, будто эта кость в горле двух стран заставит их вечно обращаться к Москве как к арбитру, — и тем продемонстрировал, что центр, начавши терять смысл с удалением пугалища войны, окончательно выродился и кто смел — тот и съел. Потом стало ясно, что государство ни в малейшей степени не отвечает за своих налогоплательщиков, а следовательно, политически не существует, заботясь только о себе, как распоследний ларьковый спекулянт, и предоставляя остальным спасаться кто как может; это называлось долгожданным предоставлением экономической самостоятельности. Потом, пока Борька, подсигивая Мишку, умолял всех брать столько суверенитета, сколько они смогут, окончательно лопнула экономика, и оказалось, получить нечто, необходимое тебе, можно, только выменяв это на нечто, необходимое другим; а для такого фронтового «махания не глядя» как минимум нужно чем-то обладать. А наикратчайший путь к полному обладанию тем, что есть у тебя под руками, уже был указан — самоопределение вплоть до полного отделения. А когда все разом хапнули, что успели, с инфантильно садистским злорадством стараясь еще побольнее ушучить соседей и продемонстрировать свою для них необходимость: а ну-ка попробуйте обойтись без нашей картошки! а вот попляшите-ка без бензина! хрен вам на рыло, а не крепезный лес, если будете плохо себя вести! Севастополь строили запорожские казаки, и баста! — на всех уровнях начался, раскручиваясь день ото дня все свирепее, нескончаемый, чисто империалистический передел мира.

История...

Ежась и слегка даже постукивая зубами от сырого пронизывающего ветра, я пошел домой. Явно собирался

снег. Да он уж ложился сколько раз — и снова таял. Грязь, грязь, грязь...

И дома было не согреться. Разве что допить сэкономленные позавчера полтора грамма суррогатной ларьковой водки.

Медленно расхаживая взад-вперед по комнатухе и глядя на вздутые, отвалившиеся по углам обои, я потягивал из стакана. Жидкость была сладковатой и тошнотворной. И совсем не согревала.

Слишком уж пусто было дома. Сын, солдатик-первогодок, прошлой осенью погиб в Угличе, когда партия имени царевича Дмитрия провозгласила стоицизацию города и попыталась поднять путч; бывший инструктор ярославского горкома Роберт Нечипоренко, ныне президент Ярославской области, относящийся ко всем проявлениям национализма и сепаратизма на своей территории резко отрицательно, решительнейшим образом потопил путч в крови, первым эшелон бросив на убой салажат. А жена ушла еще четыре года назад. Когда у нее обнаружили трихомонады, она заявила, что это я ее наградил; бог его знает, в то лето я действительно потрахивал скучавшую здесь вдвоем с сыном, шахматным вундеркиндом, интеллигентную безмужнюю дачницу, как-то так получилось, но вообще-то, когда я сходил к врачу, с великим трудом не сблевав от разговоров дождавшихся приема юношей и девушек, у меня ничего не нашли — однако я покорно жрал трихопол, от которого почему-то зверски хотелось спать, и жена тоже вроде подлечилась, но через три месяца все, кроме дачницы, повторилось; тут уж она, сказав мне все, что говорят в таких случаях, собрала мои манатки и выперла с квартиры...

Тогда и пропали все бумажки, относившиеся к последней научной работе, которую я пытался вести, — впло-

пыхах я их не забрал, потом, надеясь, что все как-то войдет в колею, и давая супруге время опамятоваться, не спешил приходить за ними. Мне, самонадеянному дураку, казалось, что, пока там сохраняется что-то мое, хоть папка, хоть помазок для бритвы, не все нити порваны, а когда я решил, что выждал достаточно, оказалось, там уже другой мужик и все мои останки давно выброшены... Хотя громко сказано: научная работа. Не для науки — просто для себя пытался ответить на годами мучивший меня вопрос: почему более-менее ровно шедшее в направлении общей гуманизации развитие Европы и России вдруг в семидесятые годы прошлого века резко переломилось, начав давать все более уродливые всплески жестокости, которые и увенчались затем войной, а из-за нее — Октябрем, а из-за него — рейхом, а из-за него — термоядерным противостоянием и так далее? Даже войны стали вестись совсем иначе, даже политические убийства стали иными — не за что-то конкретное, а из общих, из принципиальных соображений, не в живого человека стреляем, а в символ того или этого... Словно дьявол сорвался с цепи.

То ли именно тогда нашли друг друга, как два оголенных провода, надуманное, умозрительное насилие из теоретических марксистских книжек и практическое, сладострастное насилие полууголовников-полупсихов — нашли и начали искрить, поджигая все кругом? То ли в связи с развитием демократий именно тогда впервые в истории социально значимыми стали широкие массы низов, рост значимости которых явно опережал рост их культуры; почувствовав свой новый вес, они, в отличие от прежних времен, перестали стараться подражать элите и подвергли основные ее ценности осмеянию и старательному выкорчевыванию из собственного сознания, а среди этих ценно-

стей были такие веками культивировавшиеся понятия, как честь и уважение к противнику... Не знаю. Ответов были десятки — и ни одного. История...

В дверь уверенно постучали. Не допив, я поставил стакан на стол и пошел открывать.

Там стояли двое крепких мужчин в куртках металлических и с прическами панков.

Внутри у меня все оборвалось. И — очень глупо — стало до слез жалко недопитой водки.

Но допьют уже они.

— Господин Трубников? — сухо и очень корректно спросил один из метанков.

— Да, это я, — безжизненно подтвердил я.

Второй метанк хохотнул:

— Был Трубников, а стал Трупников!

Первый не обратил на него внимания. Отодвинув меня, они вошли. Первый завозился у себя в карманах; второй крендебобелем прошелся по моей каморке. Срисовал стакан; взял, поболтал, приняхался брезгливо и одним махом опрокинул в рот. Первый и на это не обратил никакого внимания. Он наконец добыл свой блокнот, пролистнул несколько страниц.

— На уроках вы несколько раз утверждали, что в осуществлении октябрьского переворота одна тысяча девятьсот семнадцатого года помимо евреев, грузин и латышей участвовали и отдельные представители русской нации?

— Да, — сказал я. — Это исторический факт.

Он сокрушенно покачал головой. Плюнул на палец и пролистнул еще страницу. Они листались не вбок, а вверх.

— Вы выражали также сомнение в возможности построения справедливого общественного устройства в одной, отдельно взятой Вырице?

Так отрещиваться от большевиков и так повторять самые дикие из их околесиц...

— Выражал, — как Джордано Бруно, подтвердил я.

Он запихнул блокнот обратно в карман и сделал рукою безнадежный жест: дескать, раз так, то ничего не напишешь.

— Вы посягаете на две главные святыни народа, — проговорил он с мягкой укоризной. — Вы подрываете его веру во врожденную доброту русского национального характера и его уверенность в завтрашнем дне. Вам придется поехать с нами.

Мы вышли из дома. Из окон глазели, некоторые даже плющили носы о стекла. Молодая мама, указывая на меня пальцем, что-то горячо втолковывала сразу забывшему о своем игрушечном паровозике пацаненку: мол, будешь плохо себя вести, с тобой случится то же самое. Подошли к грузовику. Димка блаженно курил, сидя на подножке; увидев нас, он отвернулся и, стараясь не глядеть на меня, встал, отшелкнул окурок и полез в кабину.

— В кузов, — негромко скомандовал первый метанк.

В кузове мы разместились со вторым — тем, который шутил. Первый сел к Димке, в кабину.

Истошно завывая от натуги, грузовик заколотился по разьеженной колее, расплескивая фонтаны грязи и едва не опрокидываясь на особенно норовистых ухабах. На повороте щедро окатили тетку Авдотью, которая, надрываясь, волокла по кочковатой раскисшей обочине полную денег садовую тележку — судя по направлению, шла в булочную, совершенно зря шла; жижа смачными коровьими лепехами пошмякалась на беспорядочно наваленные друг на друга пачки купюр.

— Авдотья! — крикнул я, полурупором приставив одну ладонь ко рту. — Хлеб уж часа полтора как кончился!

Она всплеснула руками и, будто подрубленная, села наземь.

Приехали на двор за бывшей свинофермой, и я понял, что надежды нет.

Остановились. Я подошел к краю кузова, ухватился было за борт, но шутник негромко позвал сзади:

— Эй!

Я отпустил борт и распрямылся, обернувшись к нему. Он, усмехнувшись, вломил мне в рыло. Вверх тормашками я вывалился через борт кузова и на секунду, видимо, потерял сознание от удара затылком.

Очухался. Завозился, попытался перевернуться на живот. Получилось. Плюясь кровью, начал было вставать на четвереньки; руки скользили в ледяной грязи. Отчетливо помню, как грязь выдавливалась между растопыренными пальцами. Все плыло и качалось. Тут прилетело под ребра. Ботинком, наверное. Свет погас, и воздух в мире опять на какое-то мгновение кончился. А когда я вновь смог дышать и видеть, они уже уминали меня в мешок. Не сказав ни слова, даже не рукоприкладствуя больше, они утопили меня в выгребной яме.

И уже задохнувшись в крошечной тесноте мешковины, залитый хлынувшей внутрь поганой жижей, я понял наконец, почему мир, где я прожил без малого полвека, при всех режимах и женщинах был мне чужим.

2

Еще один обезглавленный гусь взлетел наконец в свое поднебесье.

3

Тоска была такая...

Такая...

Такая тоска.

Хлоп-хлоп-хлоп. Но куда же дальше? Или — есть?

Во рту забух невыносимо отвратительный смешанный вкус гнилой водки и жидкого дерьма.

Я сел на кровати, спустил ноги на ковер. Из судорожно дернувшегося желудка выплеснулось в рот; я едва сдержался, сглотнул обратно.

В спальне было сумеречно и бесцветно. За широким венецианским окном, полускрытым гардинами, мерцал серым мерцанием декабрьский день.

Я вернулся в «Оттон» рано утром. Открытым текстом отбил депешу в МГБ: «Следствие закончено. Опасения не подтвердились. Все еще сложнее. Серьезная проблема для всего мирового сообщества. Требую немедленного созыва Совета Безопасности ООН. Для ускорения процедуры прошу ходатайствовать перед государем о споспешествовании. Трубецкой. Отель «Оттон», Мюнхен, Германская империя».

Затем отправил аналогичное сообщение патриарху.

Затем поднялся к фон Крейвицу и, взяв с него слово чести молчать, пока я не сделаю доклада в СБ, рассказал обо всем.

Фон Крейвиц долго посвистывал сквозь зубы, потом с сильным акцентом сказал: «Эт-то чудовишно!» — и, с благодарностью пожав мне руку, тут же ушел, чтобы связаться с Берлином и предложить поддержать инициативу России о срочном созыве СБ.

Добравшись наконец до своего номера, я принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный — и завалился спать. В Альвице я почти не спал, некогда было.

И, несколько мгновений и впрямь побыв для Трубникова светоносным существом, проснулся в отчаянии и тоске.

Люди, люди, что же вы творите...

В дверь постучали, и я вскочил. На какой-то миг мне почудилось, что это метанки.

От резкого движения желудок снова сделал лихой кувырок.

Я набросил халат и вышел из спальни в гостиную. Сказал:

— Прошу!

Дверь тактично отворилась наполовину, и служащий отеля, улыбаясь до ушей, произнес, просунув в щель голову и подносик:

— Корреспонденция вашей светлости!

Все уже знали. Я размашисто подписал депеши подлинной фамилией, и за три часа, пока я спал, усилиями, видимо, почтмейстерши вестибюля весь персонал был осведомлен, что в их отеле остановился инкогнито, под видом корреспондента «Правды», русский князь.

— Благодарю. Положите на стол, — сказал я, закуривая. Но от дыма еще сильнее затошнило. Я поспешно загасил сигарету. Не садясь, стал разбирать почту.

Да, служащим было от чего прийти в ажитацию. Сам государь уведомлял меня о том, что подписан приказ о моем награждении Андреем Первозванным, и присовокуплял несколько теплых поздравительных фраз. И добавлял, что, вполне полагаясь на мое чувство ответственности, он, не ожидая рассказа о деталях дела, уже переговорил с премьером и с председателем Думы, и они втроем, снесшись с генсеком ООН, так убедительно с ним побеседовали, что тот обещал постараться организовать заседание СБ уже послезавтра.

«Рад за вас, — писал патриарх, — и присоединяюсь ко всем поздравлениям, которыми, вероятно, вас уже засыпали. С нетерпением жду вашего выступления в ООН. Надеюсь, что все ваши действия, в том числе и будущие, послужат образцом коммунистической этики. Надеюсь на скорую личную встречу».

А дальше шел обширный факс от Лизы; она предпочла презреть условности и отбить текст открыто, чем писать письмо, которое тащилось бы до Мюнхена не меньше суток и наверняка не застало бы меня здесь. Думаю, факс вызвал особый интерес служащих отеля. Но нам уже ничего не было страшно.

«Сашенька, родненький, здравствуй, как я рада! Наконец-то от тебя весточка, а то мы уж извелись. Спасибо Ивану Вольфовичу, сразу мне позвонил. А у нас тут тоже шурум-бурум. Станислава немного не доносила, первые роды, да еще в таком возрасте (только ты не прими эти слова за намек, что она для тебя старовата), — как бы по простоте вернула она, — и позавчера родила двойню, мальчика и девочку. Танцуй и задирай нос. Было довольно тяжело, но обошлось. Вчера мы с Поленькой их навещали. Такие хорошенькие! И, честное слово, вылитый ты, мне даже завидно. Саша, может, мы тоже еще кого-нибудь родим? Я с готовностью. Дом о четырех углах строится, пусть будет четыре. Или у тебя четвертый уже есть, только мы со Станиславой не знаем? Шучу. Ты же мне все-все рассказал, правда? Поля так серьезно пыталась за младенчиками поухаживать и поиграть и смотрела, как Станислава кормит. Но мы, конечно, пока ей не говорим, что это твои. Тут еще предстоит как-то разбираться. Как и с их фамилией. А эта чудачка знаешь что придумала? Она их назвала твоим и моим именем. Хочу, говорит, чтобы вы и в будущем поко-

лении были неразлучны. Завтра их выпускают домой. А сейчас, прости, больше не могу писать — побегу к ней сказать, что ты нашелся, она ведь тоже места себе не находила и вдруг тоже захочет тебе черкнуть пару строк. Целую, Сашенька. Жду не дожусь. Поговорить не с кем, и снишься ты мне все время, даже просыпаюсь от того, что стонать начинаю. Возвращайся скорее. Жена. P.S. Тебя уже неделю дожидается письмо из Бразилии. Я его положила тебе посреди стола и каждый день сдуваю пыль. Надеюсь, это не мина?»

И сразу же, за следующей строкой, но другим почерком — чуть неровным, явно рука еще не тверда: «Саша, любимый, здравствуй. Я всегда знала, что все у тебя будет хорошо и замечательно, поэтому иногда даже противно было видеть, как вы волнуетесь и конспирируетесь. Впрочем, поздравляю тебя — а ты поздравь меня. Я так благодарна тебе за них. На всю жизнь. Такой счастливой я никогда не была. Ну разве что когда ты меня в первый раз обнял-поцеловал, но и то меньше, уж извини. Ждем». Сначала она написала «Жду», потом зачеркнула жирно, двумя чертами, но именно так, чтобы легко было прочитать это «Жду», а сверху написала «Ждем». Я усмехнулся, чувствуя, что едва не плачу от избытка чувств. Все-таки она немножко позерка.

Я читал — и тошнота унималась, и мертвый Грубников понемногу оживал и становился мной.

Что же вы делаете, люди. Друзья... господа, товарищи... братья и сестры... господа, даже слов в этом ящике не осталось не заблеванных, не сочащихся кровью!

С письмом в руке я подошел к окну.

Ограниченный набережными, укутанный скверами, тек Изар. Дыбились Альпы вдали. И хрупкий серпик месяца

едва заметно млеет в бледном небе зимнего дня. Скоро — звезды.

Прекрасный, безграничный, зовущий мир — а вы, не слыша зова, умираете в этом окаянном сундуке! Идите к нам! Ведь не исчадия же ада вы — вы добрые, заботливые, смелые, даже честные иногда, я видел, только вы все отравлены, господа, от североамериканского президента до афганского душмана, у вас все смещено, нацелено не на то; и потому идет впустую, а то и во вред. Но не одни же маньяки прилетают сюда — а Хаусхоффер, а Трубников, а бесчисленные иные, о которых мы не знаем ничего именно потому, что они не стали убивать, а начали жить с нами, как мы. Значит, в этом нет ничего невозможного!

Я вновь стал перечитывать письмо. И от преданных слов, таких разных у разных людей, во мне крепла и крепла уверенность, которая только и дает силы жить, — божественная уверенность в том, что все мы — все — будем вместе долго-долго. Будем жить долго-долго. Быть может, как всегда заверяет Лиза, — вечно.

Завтра они выходят. Заседание СБ — в лучшем случае послезавтра. Успею проскользнуть. Хотелось бы сегодня, конечно, потолковать за рюмочкой с фон Крейвицем, отличный мужик оказался. Но, что называется, там магнит попритягательней.

Тяжелый ковер глушил шаги. Беззвучно, как божий ангел, я подошел к телефону и снял трубку.

— Бары... пардон. Фройляйн! Когда у вас ближайший рейс на Петербург?

Люблю.

*Декабрь, 1992
Комарово*

**КАКОЕ ВРЕМЯ —
ТАКОВЫ ПРОРОКИ**

1

Научная фантастика в собственном смысле этого словосочетания возникла совсем недавно. Жизнь призвала ее к существованию, когда начала набирать обороты промышленная революция, и мало кому понятная индустрия принялась заглатывать и переваривать множество людей — практически неграмотных, со страхом и подозрительностью к этой индустрии относящихся. Мир менялся, а массовое сознание катастрофически не поспевало за этими переменами и не принимало их. Научно-популярной литературы в то время не существовало. Навыков к общеобразовательному чтению — тем более. В этих условиях оказалась чрезвычайно плодотворной идея создания беллетристических произведений, где на витки по возможности занимательного действия нанизывались бы сюжетно мотивированные изложения тех или иных научных и технических сведений и доказывалась бы, опять-таки сюжетными перипетиями, их нестрашность и даже бытовая полезность.

Потребность в популяризации основ научно-технических достижений возникает, когда культурный уровень большинства населения еще чудовищно низок, практически — феодален, но нужды промышленной революции уже подталкивают это большинство к начаткам ес-

тественных знаний и минимальной тренировке ума, минимальному привыканию к механизации жизни. Для Франции, например, этот период пришелся на вторую четверть XIX века (классическим примером писателя, удовлетворившего этот никем не названный, но от того не менее ощутимый социальный заказ, является Жюль Верн), для России — главным образом, на время первых пятилеток.

Главными героями таких произведений становятся не люди (хотя Жюлю Верну или Александру Беляеву в своих наиболее художественных произведениях удавалось создавать запоминающиеся человеческие образы), но много-много разрозненных научных и технических данных. Сюжеты и персонажи диктуются не человековедческой задачей, не эмоциональной авторской потребностью, а являются лишь средствами сшить эти разрозненные данные воедино и продемонстрировать их прагматическую ценность и результативность. Поэтому громадную роль начинает играть фактор облегченной, даже инфантильной занимательности, развлекательности сюжета.

Как только совершается культурная революция, популяризаторская роль научной фантастики отмирает. Строго говоря, она остается нужной только младшим школьникам, да и то совсем не в той мере, что прежде. Да и то наиболее ленивым из них; тем, кому скучно читать настоящую научно-популярную литературу.

Когда-то, много веков назад, бытописательская литература, уделяя психологии людей минимальное внимание, чуть ли не сводилась к описанию нарядов, обрядов, насечек на рукоятках мечей и узоров на попонах — но закономернейшим образом переросла эти рамки, как только возросли и трансформировались духовные потреб-

ности общества. Точно так же фантастика переросла популяризацию, которая, в сущности, призвала ее на свет в модификации «научной фантастики». Сызнова навязывать ей эту роль так, как это происходило еще совсем недавно, — то же самое, что, скажем, всю так называемую реалистическую литературу загонять в рамки этнографических зарисовок. Тогда, например, от «Анны Карениной», трясая неумолимыми редакторскими ножницами, пришлось бы требовать, чтобы она не с одним Вронским изменила своему старику, а проехала бы, меняя любовников, по всей России, дабы занимательный сюжет дал возможность неназойливо ознакомить читателя с бытом и нравом российского народа в различных губерниях, в столице и в провинции, на хуторе близ Диканьки и на острове Сахалин...

Однако с отмиранием призвавшей ее на свет популяризаторской функции НФ не умерла. Ибо очень быстро выяснилось, что сюжеты, главным объектом которых является воздействие научно-технических новаций на повседневную жизнь, позволяют авторам показывать не только локальные изменения и улучшения этой жизни, но и, что гораздо интереснее, тотальные, глобальные ее изменения. Показывать, как под воздействием науки и техники трансформируется общество в целом. Показывать общества, возникшие как следствие прогресса — и людей, возникших как следствие появления этих обществ. Уже Жюль Верн нащупал это — вспомним «Пятьсот миллионов бегумы», где сталкиваются два совершенно разных мира, проросших из одной и той же новой техники, различно ориентированной по целям и задачам применения. Но на качественно иной уровень поднял этот прием Уэллс. Его «Сон», его «Освобожденный мир», его

«Люди как боги» стали невиданными до той поры образцами утопий, сконструированных не просто по принципу «во как здорово!», а как варианты будущего, закономерно и сознательно созданного людьми из настоящего. Но, начав брать в качестве места действия целиком преобразованные общества, фантастика неизбежно вынуждена была отказаться от детальной проработки каждого из научных достижений и каждого привносимого им в мир изменения — и с этого момента перестала быть научной и начала становиться метафоричной.

Уэллс сделал еще одно открытие, чрезвычайно ценное для формирования арсенала приемов фантастики. Он впервые по-настоящему всерьез и по-настоящему художественно показал, что воздействие науки на человечество совсем не обязательно будет положительным. Все зависит от целей, для достижения которых используются новые, искусственно созданные средства. Все зависит от состояния общества, в котором возникают те или иные новации. Так родился жанр антиутопии. И если, скажем, в «Войне в воздухе» крах человечества связывался с конкретным техническим достижением, то в знаменитой «Машине времени» он описывался как результат пошедшего «не в ту степь» прогресса в целом. Антиутопии практически сразу абстрагировались от научных частных и от промежуточных стадий трансформации общества из того, где живут читатели, в то, где живут персонажи. Началось описание самого результата — и людей, действующих внутри него.

Как только объектом фантастики стали не **ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВ**, а **ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ МИРЫ**, виток спирали оказался полностью пройден, и, уже на новом уровне, вооруженная беспрецедентным

арсеналом приемов создания разнообразнейших сцен для действия, фантастика безвозвратно ушла из той области литературы, где толковали о том, что бы надо и чего бы не надо изменять, и вернулась в ту великую область, где толкуют о том, как бы надо и как бы не надо жить.

Сказать, что после этого она встала в ряд с такими произведениями, как великие утопии средневековья (теперь воспринимаемые, скорее, как антиутопии) или положительными и отрицательными мирами Свифта, значит почти ничего не сказать. Во-первых, и сами эти произведения лежат в русле древнейшей традиции, загадочным образом присущей нашему духу. Дескать, стоит только убедительно и заманчиво описать что-либо желаемое, как оно уже тем самым отчасти создается реально, во всяком случае, резко повышается вероятность его реального возникновения в ближайшем будущем; а стоит убедительно и отталкивающе описать что-либо нежелаемое, как оно предотвращается, ему перекрывается вход в реальный мир. Мы тащим эту убежденность еще из пещер, где наши пращурьы прокалывали черточками копий нарисованных мамонтов, уверенные, что это поможет на реальной охоте завтра, и твердо верили, что стоит только узнать подлинное имя злого духа и произнести его, окаянный тут же подчинится и станет безопасен. Когда Брэдбери произнес свою знаменитую фразу «Фантасты не предсказывают будущее, они его предотвращают», он совсем не кокетничал; более или менее сознательно он имел в виду именно это шаманство и заклинательство. Но, коль скоро предполагается, что фантастике доступно ПРЕДОТВРАЩАТЬ то, что автор считает плохим, ровно с той же степенью вероятности можно предположить, что ей доступно и СОЗИДАТЬ то, что автор считает хорошим, не так ли?

А во-вторых, апофеозом этой традиции для европейской культуры явились такие произведения, как Евангелия и Апокалипсис. Книга о царствии небесном и о том, как жить, чтобы в него войти, — и книга об аде конца света и о том, как жить, чтобы через него пройти.

2

И вот тут придется поговорить уже о религии.

История развития религий — в огромной мере есть история развития составляющих их основу потусторонних суперавторитетов. А эти последние развиваются — во всяком случае, до сих пор развивались — едва ли не в первую очередь по своей способности считать «своими» как можно больше людей, все меньше внимания обращая на их племенную, национальную, профессиональную, классовую и даже конфессиональную — до обращения — принадлежность. Дело в том, что этика, обеспечивающая ненасильственное взаимодействие индивидуумов в обществе, была доселе только религиозной — скорее всего в нашем культурном регионе она уже и может быть только религиозной. Почему нельзя дать в глаз ползущей из булочной бабушке и отобрать у нее свежкупленный черствый батон? Ни логика, ни здравый смысл не дают на этот вопрос ответа. Но если большинство людей начнет вытворять все, что разрешает здравый смысл, общество быстро превратится в ад. Ибо здравый смысл есть не более чем срабатывающий на сиюминутном, бытовом уровне инстинкт самосохранения. Спасает от такого ада лишь не обсуждаемое, с молоком матери впитанное ощущение, что бить бабушек в глаз нехорошо. Но, собственно, каким образом такой запрет впи-

тывается с молоком матери? И даже если запрет впитался, вдруг человек, повзрослев, от большого ума все ж таки задастся вопросом, что такое «нехорошо»? Тут-то и нужен ориентирующий, дающий критерий нравственной оценки действий суперавторитет. Запрет бить бабушек — иррационален, он не от мира сего, он как бы противоречит здравому смыслу. Значит, и поддерживающий его суперавторитет неизбежно должен быть иррационален, внелогичен. И чем сложнее становятся требования этики, чем более они расходятся с требованиями функционирующего вне добра и зла прагматизма — тем более суперавторитет должен становиться не от мира сего. Верую, ибо абсурдно.

На родоплеменной стадии — это первопредок, напридумывавший массу всякого рода табу: то нельзя, это нельзя... Но только по отношению к людям, то есть членам рода. Остальные двуногие и людьми-то не называются, обозначаются совсем иными словами. Но по отношению к своим — многое нельзя. Нельзя, потому что запретил великий предок. А совершишь, что нельзя — такого перцу предок задаст из того, потустороннего мира!.. свету не взвидишь! Бог в это время еще не спаситель, а только наказыватель. Он не зовет вверх, а лишь ставит в строй и командует: левой! правой! охоться! паши! делись! И невдомек дикарям, что именно так, стреноживая эгоизм этикой, срывает на высшем, уже не сиюминутно-ситуационном, а долговременно-социальном уровне, нащупанном после многовековых проб и ошибок, все тот же инстинкт самосохранения. Раз человек не способен жить вне общества, значит, общество должно жить, а коли так, человеку в обществе многое нельзя. Но это мы словами формулируем; в основе же поступков лежат не слова, и даже не соображения, а главным образом

переживания, которые всегда предметны: по отношению к тому, и к тому, и вот к этому конкретному человеку — ко всем, кто ощущается, как входящий в общество, как «свой» — многое нельзя.

Однако стоит обществу усложниться настолько, что представители различных племен начинают взаимодействовать более или менее постоянно, архаичные племенные суперавторитеты выходят в тираж, ибо вместо того, чтобы склеивать массу трущихся бок о бок индивидуумов в совокупность этически взаимозащищенных единиц, дробят их на «своих» и «чужих». А это чревато взаимоистреблением. Жизнь зовет новых, интегрирующих богов. И они приходят. Постепенно появляются и завоевывают мир этические религии, для которых «несть ни эллина, ни иудея». Критерием «своего» делается братство уже не по крови, а по вере — и, таким образом, братства размыкаются и перестают быть жестко и навечно отграниченными друг от друга. Теперь вход в братство открыт каждому. И возникает новый мощнейший манок — посмертное спасение. Но зато «нельзя» становится гораздо больше, потому что интегральный Бог превращается из наказывателя, главным образом, в спасителя. Наказание остается лишь как нежелательный, вспомогательный, побочный момент его деятельности. Бог, в отличие от первобытных божков и предков, тянет человека возвыситься над самим собой. Он ориентирует не на давно уже существующий реальный общий распорядок, нарушения которого однозначно греховны, но на обобщенный и в то же время каждым индивидуально переживаемый идеал, которого практически невозможно достичь, но к которому обязательно с максимальным личным напряжением стремится. И за это напряжение воздастся вам.

Потребность в очередном скачке такого же рода возникла как следствие секуляризации и затем обвальная атеизации европейского общества в XVIII и в особенности в XIX веках. Выбив авторитет Христа из-под морали, развитие культуры фактически сделало мораль недееспособной, превратило ее в набор мертвых словесных штампов, совершенно беззащитных перед издевательствами живущих здравым смыслом прагматиков. Это поставило общество перед ужасной перспективой, сформулированной Достоевским: если Бога нет, то все дозволено. Позволить этой перспективе реализоваться культура, безусловно, не могла.

Вне зависимости от желания тех или иных тогдашних философов, разрабатывавших те или иные учения, ни один из них не мог пройти мимо этой проблемы. Сознательно или нет, они просто не могли не попытаться отыскать некий новый суперавторитет, который, став для каждого уверовавшего в него человека ценностью большей, нежели собственное «я» с его разгульными и бессовестными запросами, подкрепил бы мораль и сделал ее заповеди непререкаемыми, не подверженными индивидуалистическому размыванию и искажению.

И разумеется, появились другие — те, кто искал суперавторитет именно в изолированном «я», вырвавшемся из пут этики, и сознательно атаковал интегрирующие суперавторитеты, объявляя веру в любой из них унижительной, словно рабыи цепи, словно костыли, на которых покорно ковыляют те, кто не хочет даже попробовать ковылять без них. «Я» действительно в ту пору вырвалось — и не могли не появиться гении, ополоумевшие при виде забродившего по Европе призрака индивидуальной свободы, которые постарались возвести это

«я» на пьедестал. Мораль для них превратилась в как можно более полную реализацию личной воли того, кто достаточной волей обладает.

Именно в это время европейская цивилизация выдвинула совершенно новую концепцию истории. Согласно ей, история не есть топтание на месте или бег по кругу, но поступательный и в значительной степени управляемый процесс восхождения из мира менее совершенного в мир более совершенный. Не стоит сейчас касаться вопроса о том, верна ли вообще эта концепция. Для нас сейчас важно лишь то, что именно она позволила начать отыскивать качественно новые, секуляризованные суперавторитеты, объединяющие людей в способные к беспредельному расширению братства по совершенно новому принципу. Суперавторитеты эти — модели посюстороннего будущего.

Стоит предложить некий вариант будущего общественного устройства, с той или иной степенью научно-образной убедительности доказать его возможность и желательность — и, буде найдутся люди, для которых это будущее окажется эмоционально притягательным, которые захотят общими усилиями попытаться достичь его, все они окажутся братьями по этой новой вере, дающей, как и всякая чисто религиозная вера, столь необходимый индивидууму надындивидуальный смысл бытия. И если брат поведет себя по отношению к брату аморально, суперавторитет накажет: желаемое всеми братьями будущее может не сбыться.

Очень показательно, что эти, так сказать, религии третьего уровня возникли именно в христианском регионе, с одной стороны, знавшем только сверхъестественную опору морали, а с другой — докатившемся до массового безбожия. Дальнему Востоку новая секуляризованная

этика была ни к чему, она испокон веков там существовала, разработанная еще конфуцианством, и опиралась на двуединый посюсторонний суперавторитет государство/семья. Мусульманскому региону секуляризованная этика тоже была не нужна — там не произошло обвальской атеизации. А вот европейская цивилизация оказалась в безвыходном положении; кружить по плоскости стало уже негде, пришлось вспрыгивать на новую ступень — а там, разумеется, поджидали новые проблемы. Как и при всяком качественном скачке, предвидеть их заранее было невозможно. И тем более невозможно было разработать заблаговременно методики их разрешения.

Кстати, и серьезная фантастика тоже практически исключительно детище христианского культурного региона. По-моему, это не может быть простым совпадением.

Прекрасно прослеживается связь этики с суперавторитетами даже на таком простеньком примере, как категорический императив. Не делай никому того, чего не хочешь себе, — ведь это краеугольный камень любой этики, и все мы его помним. Но в канонических текстах мировых религий, насколько я могу судить, фраза, где он формулируется, никогда не оставляет его в изоляции, не провозглашает в голой незащитности и бездоказательности. Делается иначе.

«Не делай человеку того, чего не желаешь себе, и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье». Конфуций, «Луньей».

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12.

Даже ислам, насквозь, казалось бы, простеганный угрозами в адрес иноверцев, благоговеет перед тою же самой

истиной. «Не злословь тех богов, которых призывают они опричь Аллаха, дабы и они, по вражде, по неразумию, не стали злословить Аллаха». Коран, сура «Скот», стих 108.

Как сплетены простенькая, но абсолютно интегральная, общечеловеческая истина категорического императива и суперавторитеты, присущие только данной цивилизации! В христианстве — закон и пророки. Уже здесь, в одной этой фразе, похоже, заключена неизбежность распада на католическую и православную ветви и соответственно на евроатлантическую и византийско-восточнославянско-советскую цивилизации. На чем сделаешь акцент — на том и будет держаться главный регулятор совместного существования. Закон — и получишь в итоге правовое общество, ибо в нем, в законе — религиозном ли, светском ли — гарантия того, что тебе никто не сделает того, чего ты не хочешь себе. Пророки — получим общество, где главным хранителем и защитником этического императива, главной его опорой служит харизматический лидер. А затем тот или иной подход стремительно пропитывают культуру, формируют ее под себя, ибо без оглядки — пусть и бессознательной, только в ощущениях — на эту истину в обществе и шагу не ступишь...

Казалось бы, и конфуцианство чревато подобной же двойственностью. Семья или государство? Государство или семья? Но идеологи имперского Китая ухитрились преодолеть это противоречие, срастив то и другое воедино; государство есть лишь очень большая семья, семья есть минимально возможное государство. И тогда обе ипостаси суперавторитета не раздирают императив, а, наоборот, поддерживают с двух сторон, под обе ручки.

А вот в исламе — полная теократия. И конечный субъект, и конечный объект этического императива — по ту сторону обыденной реальности.

Какие разные культуры и народы! Но в какой-то момент все, все приходили к универсальному принципу ненасильственного взаимодействия индивидуумов в обществе: если хочешь, чтобы тебя не резали, прежде всего не режь сам. А потом этот принцип возводился в ранг священного посредством жесткой увязки его с основным для данной цивилизации суперавторитетом. И дальше начиналась взаимная энергетическая подпитка. Выстраданная десятками поколений поведенческая истина, прагматичная и земная в самом лучшем смысле этих слов, с полной очевидностью доказывала доброту и справедливость суперавторитета, то, что он плохого не посоветует. А суперавторитет освящал простенькую бытовую истину с горних высей, с полной очевидностью доказывая, что ни в каких рациональных оправданиях и подпорках она не нуждается, она — свята и вечна, как Поднебесная, Христос, Аллах...

Два члена этих драгоценных формул становились парой ангельских крыл, согласными взмахами несущих общество над кровавым, брызжущим отравленными стрелами, греческим огнем, «эрликонами» и «стингерами» варевом сведения счетов всех со всеми. И какие устойчивые, несмотря на все превратности истории, цивилизации возникали!

Конечно, они не становились раем. Полностью гарантировать, что человек не станет совершать действий, способных причинить кому-то вред, может только заблаговременный расстрел. Но взаимонакачка императива и суперавторитета делала возможным статистическое преобладание социально ориентированных поступков над асоциально ориентированными, этически ориентированных над ориентированными эгоистически — а большего от коллектива человек и требовать нельзя, состоит ли

он из двух единиц, или из двадцати миллионов... Потому что только оно, это преобладание, способно сделать коллектив устойчивым — а следовательно, сделать вероятной его положительную перспективу.

3

Марксизм, хоть и принято считать его экономическим учением, был, как мне представляется, не вполне осознанной, но исторически самой значимой попыткой нащупать ответ на вопрос, поставленный самим развитием европейской культуры: почему, РАДИ ЧЕГО люди должны любить друг друга не во Христе, а просто так, в реальной посясторонней жизни. Другое дело, что Маркс в своих теоретических построениях тоже не смог обойтись без деления людей на «своих» и «чужих», проведенного по классовому принципу, — и, стоило дойти до дела, до конкретной политики, это привело к возникновению кровавой каши, весьма напоминающей кровавую кашу первых веков христианства, когда различные христианские секты ожесточенно грызлись друг с другом, насмерть воюя в то же самое время со всем языческим миром.

Нет, правда, знакомая ведь картина — абсолютная нетерпимость, безудержная тяга к идеологической и политической экспансии, безоговорочное и поголовное объявление всех предшествовавших богов злобными демонами-искусителями, программное разрушение их храмов и даже статуй, развратность и продажность руководства... Тупость, озверелость и растленность, а иногда и явная психическая неполноценность религиозных руководителей и их приверженцев были тогда настолько оче-

видны, что всерьез компрометировали человеколюбивые заветы основателей и казались для многих современников неоспоримыми свидетельствами ущербности самой религии. Император Юлиан Отступник даже попытался аннулировать христианство, будто его дюжина придурков с похмелья выдумала, и вернуться к богам предыдущих ступеней. Увы, никому не дано повернуть вспять колесо истории...

Коммунизм споткнулся и шумно хряснулся на возведенной в ранг священного долга вседозволенности во имя реализации своей модели посюстороннего грядущего, на аморальности по отношению к классовым врагам. И тем не менее построение бесклассового общества долго оставалось, а для многих и сейчас еще остается, чрезвычайно притягательным религиозным идеалом.

Другую исторически чрезвычайно значимую модель сконструированного будущего предложил нацизм. Одно время модно было к делу и не к делу долдонить, что коммунизм и нацизм суть близнецы-братья. Это верно в том смысле, что нацизм политически возник и не без влияния коммунизма, и как реакция на брошенный коммунизмом вызов. Это верно в том смысле, что для реализации и той, и другой модели были созданы чудовищные тоталитарные машины. И все же есть весьма существенная и, возможно, принципиальная разница.

В нацизме предметом религиозного поклонения является собственная нация, а сутью предлагаемой модели будущего — ее очищение от «чужих» по крови, по возможности сдобренное мировым или хотя бы региональным господством. Это старая, как мир, идея, питавшая любую агрессию спокон веков, только доведенная до абсурда. Поэтому нацистское общество замкнуто, изолировано, как

первобытное племя. Для коммунизма же нет ни эллина, ни иудея — и поэтому вход в религиозное братство всегда открыт, достаточно лишь уверовать в бесклассовую утопию. Нацизм предлагает постоянное для всего обозримого будущего противостояние расы господ и расы рабов, разделенных более или менее многочисленными прослойками так ли, сяк ли пораженных в правах получеловеков, недочеловеков, фольксдойчей каких-нибудь, или военных пенсионеров... Коммунизм, прошедший через горнило экспроприации экспроприаторов, теоретически должен был вскорости утвердить в человецех основанное на равенстве благоволение во веки веков. Именно поэтому коммунизм оказался притягательнее и жизнеспособнее нацизма. Именно поэтому коммунизм, пока практическая реализация его догм не бросила его в пропасть резни, столь часто удостоивался сравнений с христианством, чего нацизму не выпадало никогда. Именно поэтому в шестидесятых годах, когда коммунизм попытался порвать — и на некоторое время довольно убедительно сделал вид, что и впрямь порвал, — с ГУЛАГом, на его религиозных идеях смогло вырасти поколение шестидесятников, которое при всех своих недостатках, при всей своей внутренней раздвоенности и даже разорванности было, вероятно, самым порядочным, самым бескорыстным и добрым, самым творческим из всех поколений, родившихся при советской власти. И выросло оно, между прочим, не без влияния основанных на коммунистических идеалах блестящих литературных утопий, до сих пор не утративших своей художественной ценности — таких, как романы и повести Ефремова и Стругацких. Ни подобных утопий, ни подобных людей нацизм не дал и не мог дать.

Зато и та, и другая модель, лишённые христианской возможности манить загробным спасением, прекрасным

ПОТУСТОРОННИМ грядущим, совершенно в равной мере и буквально наперебой призывали жить во имя внуков и правнуков, во имя прекрасного ПОСЮСТОРОННЕГО грядущего. Манок не хуже первого: один играет на инстинкте самосохранения, другой на инстинкте продолжения рода, а это два самых мощных инстинкта, как нельзя лучше годящиеся для того, чтобы на физиологическом уровне подпереть предъявляемые суперавторитетами моральные требования.

4

Фантастика, следуя своим собственным, литературным законам развития, занялась описанием трансформированных прогрессом миров именно в ту пору, когда заменой прежней религии для очень многих стала вера в ту или иную модель будущего. И получилось так, что именно фантастика оказалась максимально эмоциональным и образным, метафоричным, абстрагированным от конкретики переходных периодов из реального бытия в мир иной — а как раз этим требованиям и должны отвечать сакральные тексты — описательством этого самого мира иного. А потому она неизбежно стала единственным видом литературы, способным удовлетворить потребность в живописании суперавторитетов секуляризованного сознания. По всем своим параметрам, по всем изначальным свойствам, вне зависимости от желания конкретных авторов и того, насколько они понимали происходящее, фантастика была на это обречена.

В предисловии к переизданию «Возвращения» Стругацкие писали: «...Мы вовсе не хотели утверждать, что имен-

но так все и будет. Мы изобразили мир, каким мечтаем его видеть, мир, в котором хотели бы жить и работать, мир, для которого мы стараемся жить и работать сейчас». Однако великие братья умели изобразить желаемое так убедительно, так заманчиво, что громадное большинство их читателей заражалось желанием именно таким видеть мир, желанием жить именно в таком мире, и ни в каком ином. Стругацкие вполне отдавали себе в этом отчет. Предисловие завершается словами: «Если хотя бы часть наших читателей проникнется духом изображенного здесь мира, если мы сумеем убедить их в том, что о таком мире стоит мечтать и для такого мира стоит работать, мы будем считать свою задачу выполненной». И она действительно оказалась выполненной, в этом нельзя сомневаться. Но разве можно назвать вдохновенную попытку убедить людей мечтать о мире ином, том, которого нельзя ни увидеть, ни пощупать, ни вообще убедиться, возникнет он когда-нибудь, или нет, и все-таки ради его обретения напряженно трудиться в мире этом — разве можно назвать ее иначе, как распространением веры?

В «Часе Быка» Ефремов из придуманного им грядущего объяснял реальное настоящее так: «Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха...». Что это, если не мольба, не крик души верующего, под влиянием личного воспитания сформулированный писателем как точное достижение будущих строгих общественных наук?

По сути дела, беллетризованное описание желательных и нежелательных миров есть не что иное, как молитва о ниспослании чего-то или обережении от чего-то. Эмоции

читателей здесь сходны с эмоциями прихожан во время коллективного богослужения. Серьезная фантастика при всей привычно приписываемой ей научности или хотя бы рациональности является самым религиозным видом литературы после собственно религиозной литературы. Является шапкой-невидимкой, маскхалатом, в котором религия проникла в мир атеистов, нуждающихся тем не менее в оправдывающем этику суперавторитете и в объединительной вере и получающих их в виде вариантов будущего, которого МЫ хотим и которого МЫ не хотим. Фантастика — единственное прибежище, где так называемый атеист может почувствовать себя в соборе (но не в толпе) и помолиться (но не гневно заявить справедливые претензии); атеистов же среди нас, как ни крутите, немало.

Вообще говоря, изначально словесность была именно фантастикой. Мифы, ритуальные песнопения, заклинания и прочие продукты тогдашнего творчества призваны были не описывать мир, а объяснять его и воздействовать на него. Они оперировали не индивидуальными переживаниями, а коллективными целями и стремлениями. Так называемый реализм возник только тогда, когда разрушилась первобытная нерасчлененность людского коллектива, а индивидуальные мысли и чувства стали значимыми, следовательно — интересными. Античные трагедии — самый яркий тому пример; в фокусе едва ли не любой из них находился конфликт личности и общества, личного и общественного. Светский роман с его вниманием к индивидуальному смог возникнуть в средние века только благодаря тому, что диалог с массовыми страхами и чаяниями давно и надолго взяла на себя религия. Но с размыванием религиозности возникла новая литература: фантастика, на какой-то момент волею судеб оказавшаяся научной, но быс-

тро переставшая ею быть, и сосредоточившаяся, как в изначальные свои времена, не столько на индивидуальных переживаниях, сколько на коллективных представлениях о том, что для коллектива плохо и что — хорошо. В СССР, где небеса особенно яростно опустошались государством, а индивидуум особенно яростно впрессовывался в коллектив, заклинательные, магические свойства научной фантастики проявились особенно ярко.

Отсюда — совершенно специфическая, удивительная роль, которую играла у нас в стране НФ в шестидесятых и семидесятых годах; возможно, она еще сыграет ее в будущем.

Поначалу главным аффектом было ожидание рая. Ожидание страстное, нетерпеливое, активное. Вошедшее в плоть и кровь православной культуры упование на скорое пришествие царствия небесного, трансформированное европейской доктриной обретения этого царствия в посясторонней жизни и помноженное на советскую яростную надежду построить его быстро, своею собственной рукой. Вот оно, в двух шагах, общество хороших людей, которым никто и ничто не мешает быть хорошими и становиться еще лучше — ни аппарат подавления, ни преступность, ни война.

Но быстро выявилась фатальная слабость мира, который живыми, заманчивыми образами овеществлял желание реальных людей жить лучше и становиться лучше. Что нужно перешагнуть, чтобы сделать эти два шага? Что за порог? Что за бездну? Ведь очевидно же, что мир реальный и мир изображенный отличаются друг от друга качественно, принципиально, и даже люди, населяющие текст, вопреки стругацковской максиме «почти такие же», тоже отличаются от реальных качественно: они лишены комплексов, агрессивности, лени, косности...

Здесь, между прочим, явственнейшим образом просматривается водораздел двух культур. В западной фантастике для изображения светлого будущего, как правило, достаточно простого количественного увеличения уже существующих благ и удобств. Там иная сказка: нет таких неприятностей и бед, против коих не выступил бы простой славный американский парень. Поднапрягшись как следует, даже, возможно, получив пару раз по сопатке и даже — страшно подумать о таких лишениях! — как-то утром не сумев обеспечить любимой девушке, стоящей с ним плечом к плечу, горячего душа и мытья головы правильным шампунем, он обязательно ликвидирует спровоцированное той или иной внешней силой локальное ухудшение мира, который в целом-то НЕ НУЖДАЕТСЯ ни в каких принципиальных улучшениях. Только если мир изменен качественно, простой славный парень ничего не может поделать (смотри, например, «1984»). Качественные изменения существующего мира всегда к худу. У нас же улучшение мира мыслилось только качественным; о количественном улучшении уже существующего не думалось. Это было прежде всего неинтересно. Блёкло. И не в традиции культуры.

Формально все это было еще допустимо. Методику движения ногами на протяжении вышеупомянутых двух шагов четко обозначила Партия в своей грандиозной программе, так что господа литераторы могли о переходном периоде не беспокоиться. Объектом переживания эти два шага поначалу и не могли стать. Вся Программа сводилась к вековечной фразе «По щучьему велению...» Что было переживать, кроме отчаянного желания оказаться наконец по ту сторону нескончаемого мгновения, на протяжении которого щука исполняет свой магический взмах хвостом? И это казалось естественным, потому что, каким бы новым и умным ни считали тогда жанр НФ, он прекрасно

уложился в традиционные мифологемы; в сказание о граде Китеже, например. Поднырнуть под мерзость неодолимой реальности, а через промежуток времени, сколь угодно короткий или сколь угодно долгий — ведь в озере время останавливается, как в коллапсаре, — когда беды отступят, всплыть обновленными, и все-таки «почти такими же»...

Но искренне переживающие люди в озере долго не могут. Дышать нечем. Абстрагироваться от переходного периода уже не удавалось; он начинал вызывать беспокойство, то есть сам становился объектом переживаний.

Конечно, уже были Солженицын и Сахаров, уже были Новочеркасск и Чехословакия. Но — для немногих. А на рубеже 70-х уже и массовое сознание той части интеллигенции, которая сохранила способность болеть за страну, стало медленно поворачиваться в этом направлении. Именно тоска по социальному идеалу неизбежно начала вызывать ненависть к тем силам, к той системе, которые, как казалось, только и не дают идеала достичь. Те, кто не уверовал в светлое будущее, прекрасно мирись с реальностью. А вот иные...

Ефремов пишет «Час Быка».

Уникальный, удивительный по эмоциональной убедительности и привлекательности XXII век Стругацких трансформируется. Будущее из «Жука» совсем не манит; из утопии оно превратилось едва ли не в антиутопию. А «Волны» в открытую демонстрируют: лишь те достойны счастья и свободы, кто перерастает этот тварный мир, мир живущих в реальности тварей, и взмывает в горние выси... На человеке как существе, способном жить в раю, способном создать рай себе и ближним своим, поставлен был крест.

Светлое будущее окончательно вернулось туда, откуда оно веком раньше пришло в литературу, — на Голгофу, а потом за облака.

5

На фантастике это сказалось не лучшим образом. Будущее исчезло, исчезли варианты предлагаемого, вернее, вымалываемого бытия или, наоборот, бытия, от которого хотят уберечь. Следовательно, исчез тот интегральный секуляризованный суперавторитет, который, всерьез-то говоря, только и придавал высокий смысл этому виду литературы, заведомо обедненному возможностями раскрытия индивидуальной психологии и стилистического экспериментирования. В такой обедненности совсем нет криминала. Ведь не ждем же мы достоевской развихренности вывихнутых чувств или постмодернистских изысков от, к примеру, Нагорной проповеди?

Но именно такая облегченность, помноженная на сохранившуюся еще с популяризаторских времен традицию занимательного, бойкого сюжета, сделала фантастику в рыночных условиях одним из самых кассовых видов литературы. И эту облегченность, иногда замешенную на том, что когда-то большевистские литпрокуроры и литдрессировщики называли «ложной многозначительностью», приходится искусственно поддерживать, чтобы не вылететь в тираж — вернее, из тиража.

Издается фантастики теперь куда больше, чем в ее золотую пору. И художественные ее достоинства по сравнению с золотой порой в среднем возросли — ведь у словесности есть свои законы развития, подчас не связанные, или по крайней мере мало увязанные, с развитием содержательных элементов. Но, поскольку без какого-то суперавторитета фантастика существовать не способна, а суперавторитет светлого будущего умер, на его место полезла вся бесовщина, какая только была наработана древними

культурами до расцвета великих этических религий и до какой только способна дотянуться эрудиция автора.

В западной фантастике последних десятилетий — десятилетий поступательной стабильности — совсем не случайно нет утопий, то есть описания миров, качественно улучшенных относительно реального мира. Зато вплоть до 70-х годов было множество антиутопий, связанных с качественным изменением реальности. Эти изменения мыслились лишь негативно, в виде глобальных катастроф, в том числе глобального торжества коммунизма, фашизма или чего-либо подобного. Качественное изменение реальности для западного человека всегда к худу. А у нас — наоборот: возник целый ряд утопий, связанных с качественным улучшением реального мира, и множество антиутопий, построенных как количественное наращивание, сгущение реальности — доведение до абсурда милитаристических, тоталитарных тенденций и т. д.

Чрезвычайно популярный ныне жанр фэнтези появился и пережил на Западе пик популярности именно тогда, когда опасности, грозившие миру атлантического процветания, резко ослабели. Даже антиутопии пошли на убыль. Молиться вместе стало НЕ О ЧЕМ.

И потому пришло время писать НИ О ЧЕМ.

У нас же ситуация сходная, но полярная. Светлое или мрачное будущее вернулось туда, откуда оно пришло в литературу: в мир иной, духовный. В мире сем мы сейчас уже ничего сообщать не хотим. Сообщать мы даже ничего не НЕ ХОТИМ.

А потому и у нас молиться вместе стало не о чем.

К слову сказать, это ведь относится не только к тому роду литературы, который принято именовать фантастикой, и даже, собственно говоря, не только к литературе — но уж к литературе как таковой во всяком случае. И не зря

наибольшим успехом и известностью на Западе из современных российских литераторов, фактически представляющих там всю нашу словесность разом, пользуются наиболее видные ниоchemисты — Ерофеев, или, скажем, Пьецух, или Пелевин... Отдав в свое время дань огульному охаиванию — иначе и не скажешь, елки-палки! — всего, что в стране их проживания — и опять-таки иначе не скажешь! — не относится к их собственному «я» (которое, при всех его признаваемых авторами милых недостатках, на столь гнетущем фоне сразу начинало выглядеть просто-таки алмазным — что и требовалось доказать!), они, всяк по-своему, ударились в явные глюки, когда социальная проблематика (сиречь борьба с советской властью) приелась...

Писать ни о чем — это значит и не о светлом или темном в душе человеческой, и не о светлом или темном посястороннем мире. Не о Боге и Сатане небесных, и не о Боге и Сатане земных. И потому сначала на Западе, а потом и у нас на их место полезла нечисть.

Пошла ожесточенная схватка даже не за сюжеты, не за идеи — за сцены. ЗА АНТУРАЖ. За присвоение, воровство культурного субстрата, который был выработан и отработан века назад, от которого все культуры мира, кроме старательно цепляющихся за свою первобытность диких и жестоких культов, давно отказались — но который можно успеть ухватить и использовать первым. Откуда бы еще, из какой древней религии спереть и заставить прыгать по страницам бесенят поэзотичнее? А уж на оригинальном-то фоне простится любая смысловая и духовная банальность...

Здесь и бесчисленные персонажи скандинавских саг и придуманные им под стать божки, которых скандинавы за предхристианские века своего существования придумать не успели. Здесь и индуистские пьяные и озверелые вершители судеб, здесь и исламом усвоенные, но

явно доисламские ифриты и джинны. Здесь и китайский религиозный синкретизм, попытками авторов обогатить его еще и собственными теософскими конструкциями окончательно превращенный в винегрет. Здесь и родные наши лешие, кикиморы, бабки-ежки...

Да кого только не повылезало в качестве носителей силы и смысла, водителей людей, дарителей и навязывателей целей для подвигов! В «Солярисе» Лем прекрасно сформулировал: «Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ему ее навязывает время, в которое он родился. Человек служит этим целям, или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне». И вот теперь в качестве объектов бунта или поклонения фэнтези предлагает лишь допотопные идолища. И поскольку персонажи частенько против идолищ бунтуют и их побеждают, гордится тем, что в наше смутное время одна лишь сохранила способности к богоборчеству. Но ведь бога победить не так трудно — когда ты сам его придумал попротивнее да погаже или стибрил, скажем, у каннибалов Центральной Африки или у друидов. Этические религии победили эту пакость давным-давно, и с гораздо большей пользой для человечества.

Фэнтези сделала даже не один, а два шага назад. Суперавторитеты, исторически предшествовавшие суперавторитетам моделей посястороннего будущего — то есть, скажем, те, которые так помогли Булгакову написать «Мастера», для нее мракобесие. Но на самом-то деле штука в том, что они для фэнтези просто слишком серьезны. Ведь на этом уровне не в силе Бог, но в правде — и о чем тогда писать? Мускулистый меченосец (АКМоносец, бластероносец), объявленный наконец-то появившимся в российской литературе сильным активным героем грозит, не ровен час, снова превратиться в рефлектирующего интеллигентишку,

объявленного символом трижды проклятых шестидесятих годов. Отчего же они так ненавидимы, эти годы?

Оттого, что это годы краткого апофеоза веры третьего уровня — еще существовавшей, но уже не отягощенной сознательным пролитием крови иноверцев. Верующий может понять и пожалеть неверующего. Неверующий на такое не способен никогда. Он обязательно будет смеяться над верой, стараться унижить ее и с пеной у рта доказывать, что он свободен и горд, а верующий — унижен и связан, слеп и зашорен; будет, не понимая смысла цитаты ни на волос, повторять: «Они же сами говорят, что они рабы Божьи, а я не хочу быть рабом!» Ему обязательно надо победить верующего духовно — хотя бы в собственных глазах. Потому что подсознательно он завидует тому, что верующий никогда не бывает одинок и всегда имеет цель. Завидует осмысленности и изолированности его бытия. В Европе прошлого века вполне всерьез возникали целые философии, в которых суперавторитетом объявлялось индивидуальное «я», ничего нового тут нет; и результаты воздействия таких философий на большие массы людей уже хорошо известны.

Отсюда — вопиющий этический плюрализм. Сектантство. Ибо ни одной интегрирующей идеи у этого типа литературы не осталось. И кстати, отсюда же полноводная струя антиинтерпретаций мечтостроительских и грезискательских произведений предыдущей эпохи — а иногда заодно и ценностей христианства; полноводная струя попыток ввести их образы в реальность и тем показать их убожество и нежизнеспособность. Сходное стремление привело когда-то к написанию «Дон-Кихота»; но нынешние гордые и свободные слишком озлоблены на веру — а многие просто-напросто еще и в детской обиде на нее за то, что, как выяснилось доподлинно за последние пятнадц-

цать лет, она очень даже может обмануть, — чтобы оказаться в состоянии хотя бы ненароком отразить невероятно сложную и подчас действительно трагичную диалектику взаимодействия реальности и идеала. Филистерская страсть к осмеянию и опрощению всего, что не укладывается в рамки обыденного существования, зачастую уподобляет соотношение между профанациями и объектами профанаций, скорее, соотношению между Евангелиями и «Забавным евангелием» Лео Таксиля, творившего свою пошлятину, кстати, тоже в обстановке повальной секуляризации, в пресловутой Европе пресловутого XIX века.

Фэнтези идет путем наименьшего сопротивления и еще по одному параметру. Присущее всей фантастике свойство конструирования миров дает ей возможность конструирования мира ПОД ГЕРОЯ — так, чтобы поелику возможно облегчить этому герою его задачу. Не только божки придумываются так, чтобы их приятно и легко было ниспровергать. Вся физика, вся метрика мира, все его константы и атрибуты придумываются исключительно так, чтобы характер героя, его способности, его идеи обеспечили ему конечную победу после ряда как можно более увлекательных промежуточных телодвижений. Цель и средства меняются местами; это как если бы даже не Anne менять любовников, руководствуясь задачей прокатить ее по возможно большему количеству российских градусов и весей для ознакомления читателя с местной этнографией, но, напротив, психологию и физиологию Аннушки, равно как и местную этнографию, придумывать исключительно так, чтобы добиться возможно большего количества совокуплений на печатный лист.

Но, если не шутейно, таким образом молчаливо признается, что мир реальный действительно обречен быть и оставаться во власти Князя Тьмы, и с ним даже возиться-

то, даже упоминать-то его не стоит. Победа положительного героя — каким бы, в меру своих представлений о положительном, ни рисовал его автор — оказывается возможной лишь в мире качественно измененном. Опять мы сталкиваемся с неизбывным стремлением качественно менять миры. Но в фантастике шестидесятых это делалось для того, чтобы сделать мир для лучшей жизни. А теперь — чтобы сделать мир для лучшей драки. В самом замечательном случае — чтобы сделать мир, который всеми своими свойствами доказывал бы суперавторитетность главного героя. Старик Ницше благодарно кланяется из своей сифилитической могилы!

Конечно, среди работающих в области фэнтези мастеров, как и среди абсолютно всех групп людей, встречаются умные и милые люди, и тексты у них — соответственные. Но именно эти-то тексты, вышедшие на качественно новый по сравнению с шестидесятыми годами художественный уровень, совершенно нечувствительным образом приближаются к соответствию тогдашним моральным догматам.

И конечно, в демократическом обществе должны уживаться и хлысты, и трясуны, и обычные верующие. Но в данном случае речь идет о том, что обычных уже почти не остается, и, более того, они-то и оказываются ненормальными, белыми воронами среди бесчисленных свидетелей Иеговы, святых последнего дня и прочих, несть им числа...

Другой широко используемый паллиатив, который сумела выработать фантастика, когда умер великий посюсторонний суперавторитет, рожденный на грани веков, — это так называемая альтернативная история. Что было бы, если?.. Если бы Германия победила СССР во Второй мировой войне? Если бы не было Октябрьской революции? Частным случаем этой механики являются параллельные миры — та же Земля с тем же человечеством, но их не-

сколько, и у каждой — своя история, отклонившиеся одна от другой неведь когда и почему. И между ними, обеспечивая раскрут сюжета, начинается, например, некое взаимодействие... Не скрою, мне, как историку, этот подход интересен и близок, но, как правило, роль суперавторитета в подобных текстах начинает играть историческая случайность. А она, как всякая случайность в природе, вне добра и зла. Каждая случайность — сама по себе, и человек перед нею — никто, и звать его никак. Кинули — выпутывайся. Будто бы как в жизни — с той лишь разницей, что, коль скоро вбрасывание в ситуацию происходит вне добра и зла, ровно так же происходит и выпутывание. И лишь сам выпутывающийся, в меру своих индивидуальных представлений о допустимом и недопустимом для человека поведении, привносит в процесс выпутывания свою индивидуальную меру добра и зла. А в литературе процесс вбрасывания производится лишь с ЯКОБЫ присущей реальной жизни внеэтичной жестокостью, а на самом деле вполне с человеческим садизмом, так, чтобы с первой же страницы поядреной ущучить персонажей, ведь тогда будет интереснее читать — и процесс выпутывания происходит аналогично. И волосы встают от обилия замученных и искалеченных для забавы.

Однако если возникает попытка ввести историческую случайность в сетку этических координат, то сразу снова получается мракобесие, ибо предполагается, что случайности бывают плохими и хорошими, для человека и против человека. Но тогда кто в состоянии это сразу, сверху, однозначно определить? Опять лишь горние персонажи этических религий. И тогда опять получится серьезно и тяготно, потому что не в силе Бог... и далее по тексту.

Говорят с легкой руки мудрецов бородатых, что история повторяется в первый раз в виде трагедии, в другой раз — как фарс. Один раз человечество уже проделало путь от

язычества к мировым религиям и далее к вере в светлое посястороннее будущее — которая, что самое-то замечательное, верам второго уровня сама по себе отнюдь не враждебна. Наоборот, язычество враждебно и тому, и другому, потому что для него нет будущего, есть только бесконечно длящееся настоящее, в котором надлежит руководствоваться неизменным здравым смыслом; ведь больше нечем. Не даром так много стало текстов, где перемешиваются реалии прошлого и настоящего; зачастую такое смешение служит самым мощным в этих текстах эстетическим средством, на котором только и держится все остальное. С художественной точки зрения это даже бывает ярко и смешно. Но со смысловой-то — это не более чем более или менее осознанная капитуляция перед мрачной иллюзией, что исторического движения нет.

Процесс восхождения от культа идолищ и бесов в реальной истории был объективно обусловлен. И описанный здесь культурный сброс тоже не злой дядя нарочно придумал, он тоже оказался обусловлен объективно — возможно, отчасти потому, что в начале XX века значимые части человечества слишком забежали вперед, слишком рьяно принялись за самопереконструирование — пришлось откатиться; а вместе с человечеством и, как и свойственно литературе, дальше, чем оно, откатилась фантастика. Но, думаю, восхождение снова неизбежно. А оно скажется и на литературе.

Другое дело — хватит ли на это времени. Ведь здравый смысл, неморальное потребление мира, пренебрежение мракобесными запретами, для которых, казалось бы, нет никаких разумных оснований, уже загнали человечество в капкан экологического кризиса...

Июль, 1998
Санкт-Петербург

Содержание

ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»

5

КАКОЕ ВРЕМЯ —
ТАКОВЫ ПРОРОКИ

317

Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около **50 издательств** и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию **более 10 000 названий книг** самых разных видов и жанров. Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов. В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших **фирменных магазинах:**

В Москве:

- Звездный бульвар, д. 21, 1 этаж, тел. 232-19-05
- ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 299-66-01, 299-65-84
- ул. Арбат, д. 12, тел. 291-61-01
- ул. Луганская, д. 7, тел. 322-28-22
- ул. 2-я Владимирская, д. 52/2, тел. 306-18-97, 306-18-98
- Большой Факельный пер., д. 3, тел. 911-21-07
- Волгоградский проспект, д. 132, тел. 172-18-97
- Самаркандский бульвар, д. 17, тел. 372-40-01

мелкооптовые магазины

- 3-й Автозаводский пр-д, д. 4, тел. 275-37-42
- проспект Андропова, д. 13/32, тел. 117-62-00
- ул. Плеханова, д. 22, тел. 368-10-10
- Кутузовский проспект, д. 31, тел. 240-44-54, 249-86-60

В Санкт-Петербурге:

- проспект Просвещения, д. 76, тел. (812) 591-16-81
(магазин «Книжный дом»)

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж.

Справки по телефону (095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Литературно-художественное издание

**Рыбаков Владимир
Гравилет «Цесаревич»**

Художественный редактор О.Н. Адашкина
Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Е.А. Лазарева

Подписано в печать 04.11.00.
Формат 84×108¹/₃₂. Усл. печ. л. 18,48.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 2635.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000 г.

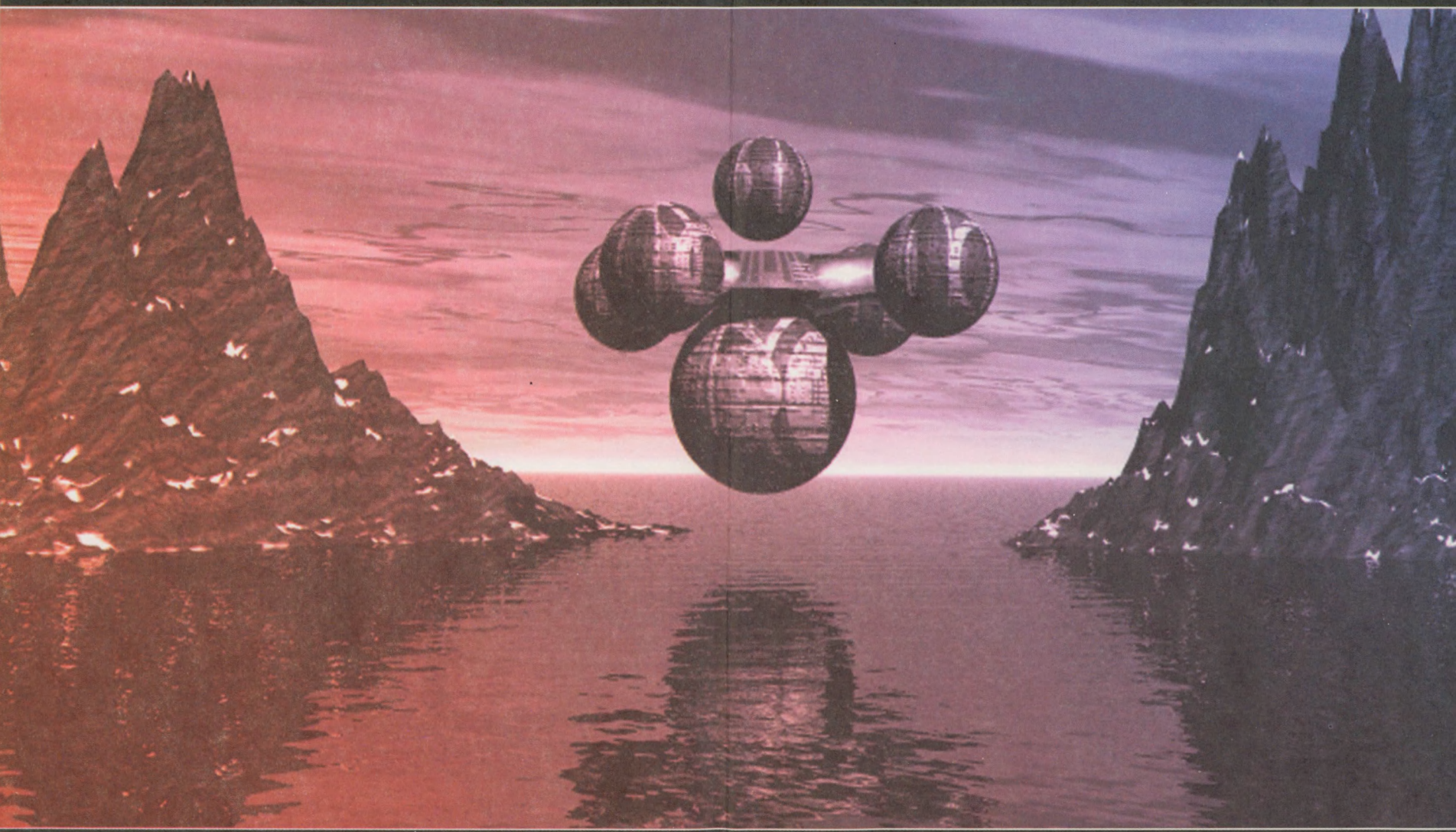
ООО «Издательство АСТ»
Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000 г.
674460, Читинская область, Агинский район,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



ISBN 5-17-004135-7



9 785170 041350



ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. Не в «королевстве датском», но в благополучной, счастливой Российской конституционной монархии. Что-то случилось — и продолжает случаться.

И тогда расследование нелепой, вроде бы немотивированной диверсии на гравилете «Цесаревич» становится лишь первым звеном в целой цепи преступлений. Преступлений таинственных, загадочных.

И тогда ответы на вопросы оказываются много невероятнее самих вопросов. И все сильнее трещат пока еще не очень видные швы России, в которой НЕ БЫЛО большевистского переворота. Только вот — НЕ БЫЛО ЛИ? Или?.. Ведь никто не знает, снится ли Чжуан-цзы, что он — бабочка, или бабочке, что она — Чжуан-цзы? Возможно, именно таков настоящий ПРИНЦИП БАБОЧКИ?

ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»

ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ЛАБИРИНТ



ЗВЕЗДАНЫЙ